АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XIII

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1964

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *А. И. Ефимов, Н. И. Конрад* (зам. главного редактора), *М. В. Панов, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. С. Чикобава*

Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1964

В. В. ВИНОГРАДОВ

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

1

Выражения «культура языка», «культура речи» еще не стали у нас научными терминами. В них вкладывается весьма разнообразное содержание, лишенное внутреннего структурного единства. В осмыслении и применении этих выражений очень наглядно и непосредственно обнаруживаются личные, субъективные или групповые оттенки понимания слова «культура». Кроме того, субъективная и социально обусловленная многозначность представлений о культуре и культурности в данном случае осложняется противоречивой нестротой суждений о соотношении языка и речи. Ведь даже в научной теории современного языкознания понятия «языка» и «речи» в их взаимоотношении и взаимодействии не могут считаться вполне точно и четко дифференцированными, хотя общей концепцией Ф. де Соссюра дан сильный толчок к последовательному разграничению соответствующих сфер словесных образований и построений. Впрочем в бытовом употреблении выражения «культура языка» и «культура речи» выступают чаще всего как полные синонимы.

В зависимости от применения их — к индивидуальной речевой практике, к уровню владения средствами языка со стороны того или иного лица или к состоянию речевой жизни коллектива, к степени осуществления норм «правильности и чистоты речи» обществом в целом и разными его слоями — выражения «культура языка» и «культура речи» имеют отпечаток оценки способов и тенденций индивидуального или социального группового употребления языка. Впрочем индивидуальная оценка в сфере культуры речи всегда в той или иной мере опирается на лингвистические вкусы и языковые нормы социальной среды. Например, писатель Лев Успенский, автор интересной книги «Слово о словах», стремится привлечь внимание наших современников к стилистическим уродствам надписей — печатных и письменных — в общественных местах, на этикетках товаров, на дверях, на стенах и т. д. Тут оказывается много нелепого и безграмотного: «база по торговле дикорастущими сухофруктами», «оплачивать за доставку», «просьба соблюдать чистоту в этот ящик» и др. под. Л. Успенский настойчиво убеждает бороться с такими искажениями печатного и письменного русского слова, порождаемыми «человеческой небрежностью, невежеством, безалаберностью»[1]. В «Алма-атинской правде» сообщалось, что в Алма-Ате «на почтовых ящиках города нередко можно прочитать: Для писем и газет злая собака» (это, очевидно, предупреждение почтальону)[2].

У блюстителей чистоты русского языка вызывает также большое смущение профессионально-условная жаргонная манера «обезличения»

[1] Л. Успенский, Граждане, ючайте, «Лит. газета», 31 X 1959.
[2] А. Еремин, Патентованные ошибки, «Алма-атинская правда», 9 VIII 1960.

названий людей, метонимическое представление или изображение их в форме предметов профессионального интереса. Например, в жаргоне медицинских работников обозначения больных: «инородное тело», «там сидят два панариция» (т. е. больных панарицием — гнойным воспалением пальца), «сколько у нас сегодня желудков?» и т. п.; в парикмахерской — диалог: «Ну, у тебя все?» «Нет, вон еще рубль сидит!» (покраска ресниц стоит один рубль)[3].

В романе Владимира Фоменко «Память земли» едва ли можно признать удачным и стилистически оправданным употребление наречия *вожделенно* (ср. у Пушкина: «Миг вожделенный настал») в таком контексте:

— «Да чего там с тем вином чертоваться?

— Дарья Черненкова подскочила, двинула по столу к Орлову полную до краев, плеснувшуюся кружку водки. — Пейте! Я баба, и то сколько выпила!

— Сколько же? — брезгливо морщась от водочного запаха, спросил Орлов.

— А я и не сосчитаю! Нема же высшего образования! — смеялась Черненкова рыжими, золотыми глазами.

— Легче ты с водкой, Даша, — стоя за ее спиной, шопотом просил муж-бухгалтер. — Тебе ж дитё кормить.

— Нехай. Оно у нас казачье, трехпробное, — басом хохотала Дарья, совала кружку Орлову.

— Ну!

— Товарищ Орлов! За нашего жениха выпейте, — просительно прижимал Фрянсков руку к лацкану пиджака. — Это же спирт, медицина.

— А то величать будем, тогда гроши выложите! — загудели, подталкивая друг друга женщины и, решительные, вожделенно оглядывая статного Орлова, начали обступать его»[4].

В «Литературной газете» (12 III 1960) демонстрируется такая цитата из книги Н. Лучинина «Будни прокурора» (Краснодарское книжное издательство. Редактор В. Ярынкин): «Лавров проанализировал состояние законности и преступности в городе», «...чтобы они почувствовали ответственность за раскрываемость преступлений». Ср. другие, не менее показательные примеры бюрократического стиля из того же сочинения: «К этим делам очень давно не прикасалась человеческая рука, не говоря уже о приложении разума» (стр. 24); «...доложил дело об обнаружении трупа» (стр. 237); «Коли человек совершил преступление, перед судом он должен предстать во всей полноте» (стр. 30); «Заметив Лаврова, секретарь горкома подал головой знак приветствия» (стр. 84); «Усердное умывание водой даже в самое холодное зимнее время вошло у него в привычку» (стр. 12)[5].

В связи с вопросами культуры речи обычно ставится и вопрос о жаргонном словоупотреблении, о «модных» словах, о мещански-манерном способе выражения. Вот маленький фельетон из газеты «За коммунизм». Девушки рассматривают иллюстрированный журнал. «Одна из девушек, показывая подруге фотографию, громко сказала:

— Ужасальная физика.

— Можно оборжаться, — взглянув на снимок, с довольным видом ответила другая.

---

[3] И. С. Болотовский, По-русски ли они говорят?, газ. «Советская Татария» (Казань), 20 I 1961.

[4] «Новый мир», 1961, 6, стр. 14.

[5] См. также: Е. Александров, Б. Цацко, Этапированный прокурор, «Литература и жизнь», 10 X 1958.

— Ты посмотри, посмотри... Как он зафигачил игрушку! Мама просто офонарела... Меня как будто обухом ударили по голове» [6].

Можно привести и еще очень много других иллюстраций, характеризующих тот комплекс внутренних речевых признаков и внешних речевых проявлений, которые обычно подбираются для описания отрицательных явлений, требующих общественной борьбы за культуру речи. Но все это не подводит непосредственно к глубокому объективно-историческому раскрытию понятия «культура языка» или «культура речи».

2

Представляется более целесообразным обратиться к попыткам научно-лингвистического разъяснения содержания проблемы «культура языка» или «культура речи».

Характерно описание содержания понятия «культура речи», предложенное отделом школ в газете «Советская Абхазия»: «Культура речи — это не ораторское искусство, не красноречие, а умение выражать свои мысли четко, точно, грамматически правильно, без лишних слов, в вежливой форме, в надлежащем тоне» [7].

Но часто культуру речи и культурность речи понимают шире, возвышенней и гораздо более неопределенно. М. Агафонова в саратовской газете «Коммунист» пишет: «Культурной обычно считают такую речь, которая о т л и ч а е т с я н а ц и о н а л ь н о й с а м о б ы т н о с т ь ю, смысловой точностью, б о г а т с т в о м я з ы к а, логической стройностью и грамматической правильностью, выразительностью и художественной изобразительностью» [8].

Есть и такое определение культуры речи, которое стремится охватить все стороны и средства словесной практики, в том числе и применение образно-эмоциональных средств языка: «Культура речи — это правильное использование богатств общенародного языка для точного, доходчивого и выразительного изложения мыслей» [9]. В этом определении самым туманным и неопределенным является содержание фразы: «п р а в и л ь н о е использование богатств общенародного языка...».

Нет нужды составлять полный каталог таких «определений». Ясно одно: прежде всего необходимо глубоко понять и активно воспринять структурные нормы и формы современного языка в их внутреннем единстве, необходимо овладеть системой языка во всех ее пластах или «ярусах» — звуковом, грамматическом и словарном, фразеологическом — и определить тенденции ее всестороннего развития. В основе всех разновидностей форм и стилей современной русской речи лежит единая структура русского языка с ее функциональными вариациями.

Для подъема общественной культуры речи необходимо широкое общенародное распространение научных сведений не только о законах и правилах русского языка, но и о путях его развития, о продуктивных способах образования новых слов, о живых разных типах их сочетаемости, о новых контекстуально-смысловых оттенках разных фразеологических оборотов и т. п. и особенно о разных стилях языка и жанрах речи. Ведь развитой литературный язык представляет собой сложную систему стилей, обладающих разными средствами выражения — соотносительными и нередко синонимическими.

---

[6] Д. В а с и л ь е в «Модные» слова, «За коммунизм» (г. Жуковский), 21 III 1961.

[7] В. Д а н к е в и ч, Любить и беречь родную речь, «Советская Абхазия» 28 VI 1961.

[8] М. А г а ф о н о в а, Поговорим о культуре речи, газ. «Коммунист», 18 II 1961.

[9] В. Ф. Ш и ш о в, О культуре речи человека, газ. «Знамя труда», (Коканд), 29 X 1959.

Неуменье использовать стилистические богатства языка отражается и на целесообразности новообразований, и на силе мысли, и на действенности выражения.

Все эти обстоятельства помогают осознать причины и условия, под влиянием которых вопросы культуры языка и речи до сих пор все еще вращаются в сфере словесно-идеологического или словесно-эстетического дилетантизма.

Так, странно было бы в настоящее время читать такие сетования В. Ф. Гладкова: «Народные массы нашей страны в культурном отношении за годы героических пятилеток поднялись на небывалую высоту, появилась новая, сильная, многочисленная интеллигенция, книга и газета стали у всех насущной потребностью, наука проникла глубоко в массы рабочих и колхозников. А наряду с этим язык многих наших интеллигентов странно пестрый, подчас далекий от грамматических и орфоэпических норм, словно люди не имеют понятия о произносительных законах русского языка и пренебрегают грамматикой. В газетах и книжках встречаются малограмотные обороты речи, диалектизмы, неразборчивость в выборе слов и безразличие к смысловой точности. А о красоте и выразительности слова и говорить не приходится».

И тут же дальше: «Тягостно читать книжки некоторых наших молодых писателей: слепой, газетный язык, обилие цифр, процентов, деталей машин, отвалов руды, угля, подробных описаний ухода за скотом и т. д. и т. п., но человека нет — это безликая рабочая сила. Цифры убедительны в статистике, но в художественной литературе они душат образ»[10].

3

Понятие «культура языка» (и «культура речи») должно быть осмыслено в двух разных планах: объективно-историческом и нормативно-стилистическом, или инструктивно-регулятивном. Только выяснение и раскрытие научно-теоретических лингвистических основ этого понятия может освободить конкретные и общие суждения по вопросам культуры языка, общественно-практическую деятельность в этой сфере от того пуристического субъективизма и вкусового дилетантизма, которыми напитаны или пропитаны почти все современные русские работы, посвященные знахарскому лечению «живого как жизнь» русского языка.

Интерес к проблемам культуры языка особенно сильно возрос у нас в советскую эпоху. Эти проблемы сначала связывались очень тесно с более общими задачами так называемой «языковой политики» в связи с бурно развивавшимися процессами становления и развития новых национальных литературных языков народов Советского Союза.

Термин «языковая политика» с 20-х годов нашего столетия приобретает у нас очень большую популярность. Им обозначалось, с одной стороны, целенаправленное вмешательство общества в стихийный процесс языкового развития, а с другой стороны — организованное руководство этим процессом. Характерна помещенная во втором сборнике «Языкознание и материализм» (1931 г.) статья проф. Л. П. Якубинского «Ф. де Соссюр о невозможности языковой политики».

Любопытно, что и пражские структуралисты, исходившие, в основном, из идей Ф. де Соссюра, все же пришли к убеждению о возможности и даже необходимости сознательного воздействия на развитие языка. По их мнению, «развитие литературного языка предполагает и увеличение роли сознательного вмешательства» в речевую жизнь. Это вмешательство — согласно тезисам Пражского лингвистического кружка — «проявляется

[10] Ф. Гладков, О литературе, М., 1955, стр. 109—110.

в различных формах реформаторских попыток (в частности, пуризма), в лингвистической политике и в более ярко выраженном влиянии лингвистического вкуса эпохи (эстетика языка в своих последовательных изменениях)»[11].

Сюда, естественно, относятся проблемы нормализации языка и связанная с научным пониманием их общей направленности оценка всяких новообразований и отклонений от литературных норм в речи и в языке. Поэтому выдвигается как одна из важнейших задач современной науки о современном языке всестороннее изучение и определение «принципов сотрудничества и взаимозависимости социально стимулированного и системно обусловленного в языке», как выразился М. В. Панов в статье «О развитии русского языка в советском обществе (К постановке проблемы)»[12]. Гораздо раньше замечательный русский лингвист, ученик акад. Л. В. Щербы проф. Е. Д. Поливанов в статье «Историческое языкознание и языковая политика»[13] призывал — в связи с проблемами нормализации и общественного регулирования процессов развития языка — к созданию «общего учения о механизме языковой эволюции». Именно в плане научной теории о закономерностях развития системы того или иного живого языка и должны оцениваться новые явления в языке и отклонения от установившихся норм. В № 4 «Вопросов культуры речи» (1963 г.) помещена любопытная статья В. П. Григорьева «Культура языка и языковая политика», в которой справедливо говорится о некоторой далекости языкознания от жизни в силу отсутствия общей теории языковой эволюции. «Между тем, „живой как жизнь" язык развивается вместе с „живой, закономерно развивающейся действительностью" (М. Горький), и языковеды, если они не хотят вечно оставаться в роли пассивных констататоров языковой стихии, должны научиться делать обоснованные прогнозы, давать целенаправленные рекомендации, создавать надежный лингвистический компас...» (стр. 13).

В этом контексте очень своевременно вспомнить и рассмотреть с позиций актуальных задач настоящего времени одну из первых советских книг, пытавшуюся подробно и своеобразно — не только в практическом, но и теоретическом аспекте — осветить проблемы русской речевой культуры: книгу покойного профессора Г. О. Винокура «Культура языка».

4

Проф. Г. О. Винокур связывает изучение вопросов культуры языка с задачами прикладного языкознания, с задачами практической стилистики. «Наша речь всегда должна быть известным образом п о с т р о е н а. Она есть объект культурного п р е о д о л е н и я, нуждается в некоторой стилистической о р г а н и з а ц и и». В связи с этим «и возникает та культурная проблема, рассмотрение которой должно составить задачу прикладного языковедения: удобнее всего ее охарактеризовать, как проблему к у л ь т у р ы я з ы к а. Поскольку мы говорим о языке как о некоторого рода организованном построении, как об активности, проблема культуры языка сводится к тому, чтобы овладеть принципами различных типов и жанров речи в рамках заданной социальной традиции...

Речь устная и письменная, ораторская и разговорная, канцелярская и поэтическая, митинговая и парламентская, докладная записка или указ, беседа с приятелем и дипломатический обмен любезностями, язык

[11] См. «Тезисы Пражского лингвистического кружка» в кн. «История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях», ч. II, М., 1960, стр. 77—78.

[12] ВЯ, 1962, 3, стр. 14.

[13] Сб. «За марксистское языкознание», М., 1931.

в прозе и в стихах — все эти языковые задания, вместе с прочими бесчисленными явлениями, которые можно продолжить в каждом из этих видов и подвидов, требуют своих средств выполнения и своей „техники". Этим средствам и их применению и учит практическая стилистика, иначе „прикладное языкознание, или sui generis лингвистическая технология"»[14].

«Очевидным условием возможности культуры языка является, во-первых, высокая лингвистическая сознательность говорящих, а во-вторых, — тесно связанная с этим любовь к языку» (стр. 41). «Сами по себе лингвистические знания не могут воспитать лингвистического вкуса и лингвистической дисциплины, если они не предваряются культурностью говорящего. Культурность в общем смысле этого слова и является необходимым предварительным условием сознательной любви к языку» (стр. 41—42). С другой стороны, «культура языка в подлинном смысле невозможна без действительного и — в тенденции — исчерпывающего знания о языке, т. е. о тех его средствах, которые находят свое своеобразное применение в зависимости от внутренней телеологии того или иного социально-речевого задания (разрядка моя. — *В. В.*). Именно так и распадается наша практическая стилистика: на учение о средствах языка и учение о языковых заданиях, с точки зрения разнообразного применения языковых средств в каждом из них» (стр. 42). Кроме орфоэпии, «здесь пытливому и заинтересованному вниманию должны раскрыться все так называемые тайны слова, т. е. механизм грамматических отношений в языке с его различными функциональными назначениями и словарные богатства языка с их возможностями семантической нюансировки» (стр. 44). По мнению Г. О. Винокура, именно грамматической стилистике принадлежит первенствующая роль в деле лингвистического воспитания и поднятия языковой культуры, хотя важны и «словарно-семантические отношения» (стр. 46).

«Изучение грамматической стилистики и должно создавать навыки к установке на организующие моменты языкового выражения, научить внимательному отношению к элементам построения речи» (стр. 47).

Итак, для Г. О. Винокура «культура языка» должна, опираясь на прямое и подлинное знание языка и путей его движения, указывать истинные тенденции или способы насаждения лингвистической культурности и развития языкового самосознания и отметать, отвергать все то, что противоречит нормам языка и развитому лингвистическому вкусу, «чувству соразмерности и сообразности» (пользуясь определениями А. С. Пушкина).

В связи с этим нельзя не обратить внимания на одно обобщение Г. О. Винокура: «Язык есть культурная традиция: основные схемы этой традиции, ее крайние границы могут очевидно измениться только с изменением самой культуры» (стр. 117). Проблема культуры языка неотрывна от вопроса о языковой политике. «Вопрос о возможности языковой политики сводится в сущности к вопросу о возможности сознательного, активного и организующего отношения общества к языку как социальной традиции» (стр. 140). «Языковая политика есть не что иное, как основанное на точном, научном понимании дела руководство социальными лингвистическими нуждами» (стр. 143). «Рост языка, как важнейшего орудия нашей культуры, его развитие должны известным образом регулироваться в зависимости от практических культурных нужд общества» (стр. 245).

Любопытно, что сближая вопросы культуры языка с «практической стилистикой» или «технологией речи», Г. О. Винокур иногда от норматив-

[14] Г. Винокур, Культура языка, 2-е изд., М., 1929, стр. 40—41.

но-воспитательной точки зрения переходит к точке зрения исторической. Вот иллюстрация: «История русской культуры знает эпоху, когда поэтическое творчество было ярким знаменем социальной культурно-лингвистической работы, проводником стилистического самосознания в повседневную жизнь и культурный быт» (стр. 277). Это — «эпоха Пушкина». Тогда с необыкновенным напряжением и подъемом развивался «свободный общественный интерес к языку как орудию культурной жизни и творчества» (стр. 278), к проблемам правильности и чистоты языка, к его нормам и допускаемой им свободе индивидуальных отклонений.

Таким образом, в круг проблематики культуры языка входят или граничат с ним следующие задачи.

1. Изучение норм языка на всех уровнях языковой системы в их отстоявшихся формах, противоречиях и вновь развивающихся тенденциях; следовательно, явления нормализации должны исследоваться не только в историко-результативном, но и в динамическом аспекте.

2. Изучение стилей языка и стилей речи в их соотношениях и взаимодействиях. Для глубокого понимания стилей языка в их соотношениях должны быть определены структурные типы основных стилевых систем языка в орфоэпическом, грамматическом и лексико-фразеологическом аспектах, должны быть описаны и исследованы их связи и взаимопроникновения. Для описания движения и взаимодействия стилей речи должны быть охарактеризованы и сопоставлены разные типические или типологические композиционные формы речевых построений с определением стилистических границ употребления слов, выражений, конструкций и диапазона их колебаний.

3. Необходимо на основе всей полноты современной речевой жизни в ее соотношении с системой языка, с нормами ее структуры и ее модификаций определить доминирующие тенденции языкового развития, непрестанно проверяя их на вновь возникающих речевых явлениях.

4. Наука о культуре языка или культуре речи представляет собою теоретическую и практическую дисциплину (или сферу исследований), смежную со стилистикой языка и стилистикой речи, обобщающую их положения и выводы как с целью живого, оперативного воздействия на дальнейшие процессы развития языка, так и с целью определения основных эстетических норм, форм и тенденций связи литературной речи с движением стилей художественной литературы.

5

С точки зрения этих принципов и тенденций должны объективно-исторически анализироваться личные или общественно-групповые оценки разнообразных речевых явлений, характеризующих или иллюстрирующих состояние культуры языка в ту или иную эпоху или в той или иной функционально-языковой сфере. Вот три очень далекие одна от другой иллюстрации.

1. Известный поэт-декадент К. Д. Бальмонт, ставши эмигрантом, распространил приемы и нормативы своего субъективного индивидуально-художественного стиля не только на все разновидности русской литературно-художественной речи советской эпохи, но и на специальные научные стили. К. Д. Бальмонт, выражая свое отношение к русскому литературному языку советской эпохи и его изменениям, писал:

«Послѣ благозвучныхъ словъ и словосочетаний..., послѣ благочестивыхъ именъ созидателей единственнаго по звучности языка Великой Россіи, любезнаго своей нѣжной и мощной гармоніей даже тѣмъ чужестранцамъ, которые, не зная его, но съ дѣтства привыкши къ своему красивому,

и звучному языку, естественно воспріимчивы къ музыкальному благозвучію языка чужого, — Французы, Испанцы, Итальянцы инстинктивно благосклонны къ Русскому языку и часто, вовсе его не понимая, плѣняются имъ, — жутко прикоснуться слухомъ и глазомъ къ сумасшественному состоянію родного языка и къ умалишенному его начертанію. Откуда вот это: „...чтобы ощутить индивидуальное и творческое в словоупотреблении поэта, надо владеть общими с ним лексемами литературной речи. Лексема по аналогии с фонемой и морфемой — это семантическая единица говора, как осознаваемая хотя бы потенциально совокупность значений и их оттенков, связанных с известным сигналом, словом... Такой метод стилистики я называю ретроспективно-проекционным... Принцип морфологической схематизации, лежащий в основе ретроспективно-проекционного метода исторической стилистики, должен корректироваться, с одной стороны, ясным разумением исторической перспективы, с другой, предварительным функционально-имманентным изучением языковой деятельности исследуемых писателей..." [15]. Пресвятой Николай угодникъ, помоги мнѣ! Вывези меня на Купринскихъ пѣгихъ лошадяхъ изъ царства нежитей и адского окруженія!

Этотъ сатанинскій наборъ словъ, притязающій быть научнымъ и въ самоослѣпленіи полагающій являть изъ себя словосочетаніе языка Русскаго, оттуда же, гдѣ, Россія превратилась въ РСФСР, а потомъ обернулась в СССР, гдѣ, протестующе манифестируя тріумфъ коммунистической идеи и манифестаціей пропагандно гипнотизируя весь комплексъ цивилизаціи, солидаризируются ВЦИК, ЧК, Сорабис, Рабфаки, Центротук и Комсомол.

Да, приведенный мною отрывокъ о методѣ стилистики взятъ мною изъ очерка профессора Виноградова „Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума", помѣщенного въ сборникѣ „Русская Речь", изданномъ въ нынѣшнемъ году въ Петербургѣ, подъ редакціей профессора Л. В. Щерба.

Я не знаю, хороши или плохи очерки этихъ профессоровъ. Знакомый словесникъ, зная, что я размышляю о русскомъ языкѣ и что я очень люблю Протопопа Аввакума, далъ мнѣ эту книгу. Я хотѣлъ бы ее прочесть, и готовъ гнѣваться на себя, что прочесть ее не могу.

Но увы, это не рисовка, это такъ, это безусловная невозможность. Я читаю, либо съ полною свободой, либо съ достаточной легкостью, прозу и стихи на десяти иностранныхъ языкахъ, но я не умѣю читать русскія книги, написанныя на иностранномъ нарѣчіи, самое имя коего мнѣ неизвѣстно и которое мнѣ отвратительно своей беззаконной безъимянностью. Убогій наборъ будто научныхъ словъ, мною приведенный и ставшій непреоборимою для меня преградой между мной, Русскимъ поэтомъ, и между Виноградовымъ, современным Русскимъ ученымъ словесникомъ, есть къ сожалѣнію достаточно общепринятый языкъ, обычный въ книгахъ русскихъ ученыхъ. Но это не русскій языкъ, это — воровской шурумъ-бурумъ старьевщиковъ, у которыхъ въ обширной торбѣ много настоящаго добра, но, говоря лишь о словѣ, лишь о святынѣ языка, всего больше — старыхъ поношенныхъ негодныхъ тряпокъ, затасканныхъ кафтановъ съ чужого плеча.

Хранители сокровища портят сокровища. Пастухи, призванные пасти неоцѣненное стадо, добротности единственной и численности несосчитанной, суть не пастыри, а волки въ овечьей шкурѣ. Но развѣ можно обворовывать и забрасывать грязью и соромъ и шелухой и неуклюжими обломка-

[15] Цитата взята из статьи В. В. Виноградова «О задачах стилистики. Наблюдения над стилем „Жития протопопа Аввакума"», сб. «Русская речь», 1, Пг., 1923.

ми чужого мертваго дерева нашу честь, наше достоинство, нашу жизнь, нашу душу, залогъ самаго бытія нашего на Землѣ, Русскій языкъ?»[16].

Едва ли в данном случае необходимы социологические и литературно-лингвистические комментарии. Тут резко дает себя знать классовый антагонизм в понимании и оценках путей развития русского литературного языка в Советской России и в эмиграции — за рубежом.

2. Полный контраст с взглядами К. Д. Бальмонта на пути движения русского литературного языка в советскую эпоху представляют суждения А. М. Горького, касающиеся урегулирования процессов развития стилей современной литературной русской речи и относящиеся к оценке прибоя волн социально-диалектной и профессиональной речи к общей системе литературного языка.

А. М. Горький всегда отделял вопрос о немотивированных нарушениях или разрушениях литературно-языковых норм от вопроса об эстетических функциях и эстетической ценности обращения, осложнения стиля «не литературными словечками». В письме к И. А. Груздеву (9 I 1926 г.) он писал (по поводу стиля рассказов, повестей и романов в № 3 альманаха «Ковш»): «Погоня за новыми словечками, неумеренное употребление местных словарей, местных языкоблудий на меня лично наводят тоску... В этом стремлении украсить рассказ не литературными словечками, — кроме засорения языка хламом, — чувствуется мещанская эстетика, желание изукрасить икону фольгой, бумажными цветочками и „виноградом“. Это — плохо»[17].

У А. М. Горького к тому времени сложились очень ясные и твердые представления как о нормах русского литературного языка советской эпохи, так и о нормах языка русской советской художественной литературы. В письме к Вен. Каверину (13 X 1923 г.) Горький так писал об этом: «У всех вас — неладно с языком. Федин пишет: „...жутко ей *от носящейся* в снежных саванах головы вихрастой“, нелепо связывая и путая два глагола *носиться* и *относиться*. Погоня за образом приводит его к таким неудачам: „Золотые языки свечек метались, как привязанные на цепь звери“. Он употребляет такие сочетания слогов, как „и-их-ли“. И вообще с русским языком обращаются зверски. Шагинян Мариэтта сочиняет: „подливку, настоенную на сковородках“, у нее „литература, общественность, даже наука, в чем нельзя сомневаться, объединились с небывалым подъемом“, а „комендант закусил рюмку водки маслиной, проколотой вилкой“. За ее роман „Перемена“ ей следовало бы скушать бутерброд с английскими булавками»[18].

В письме к К. Федину (Сорренто, 13 XII 1924 г.) Горький высказывал свои критические суждения о языке романа Федина «Города и годы» (Л., Госиздат, 1924): «...позвольте указать на некоторые неточности языка, например: стр. 13, „треснутый“ лист железа, 71-я „непохитимый патент“, 309 „колче холод“ — это все сомнительно, 326 „визжал как зарезанный“ — визжать зарезанному не полагается, недорезанному — да. От этих шатких словечек лучше избавиться...[19].

---

[16] К. Д. Бальмонтъ, Русскій языкъ (Воля как основа творчества), «Современные записки», 1924, XIX, стр. 226—227.

[17] И. Груздев, Мои встречи и переписка с М. Горьким, «Звезда», 1961, 1, стр. 144—145.

[18] «Литературное наследство», 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка, М., 1963, стр. 178—179.

[19] В последующих изданиях К. А. Федин, оставив «треснутый лист железа» и «непохитимый патент», выражение «еще колче холод» заменил словами: «еще больше колется холод». В другом месте (сцена казни Лепендина) К. А. Федин изменил конец фразы и вместо «визжал как загрызанный пес» поставил «визжать», отбросив последние три слова (у Горького дано ошибочно: «визжал как зарезанный...»).

Есть у вас и такая фраза, в точках: „В умятый снег вросли тупоносые круглые валенки, — неподвижны парни, молчаливы".

От этих неуклюжестей в новой книге вы избавились, язык ее богаче, красивей и точнее, и вообще она звучит более „культурно", чем множество других современных книг, более „европейски"» [20].

Совершенно ясно, что в этой очень внимательной и суровой критике сказываются общие требования А. М. Горького к стилистике современного русского литературного языка как базе развития стилей советской художественной литературы.

3. Не менее сложную, требующую основательного культурно-исторического обсуждения задачу ставит перед лингвистами К. Паустовский, привлекая внимание к особой, чрезвычайно важной сфере прикладного языкознания — к сфере преобразования топонимики.

В «Книге скитаний» К. Паустовский (гл. «Речка Вертушинка») пишет: «Названия — это народное поэтическое оформление страны. Они говорят о характере народа, его истории, его склонностях и особенностях быта.

Названия нужно уважать. Меняя их в случае крайней необходимости, следует это делать прежде всего грамотно, со знанием страны и с любовью к ней. В противном случае названия превращаются в словесный мусор, рассадник дурного вкуса и обличают невежество тех, кто их придумывает.

Нельзя называть города так неблагозвучно, что людям в них неприятно жить.

Примеров можно привести много.

Вместо того, чтобы город, где жил украинский писатель Иван Франко, назвать просто и хорошо „Франко", неуклюжий переименователь сообразил дать ему непроизносимое имя „Ивано-Франковск".

Коктебель в Крыму (кстати, красивое и легкое имя) переименовали в Планерское. Прежде всего это неграмотно. Если исходить от слова „планер", то нужно говорить „планерное", а не „планерское". И что за окончание — Планерск-о-е? К чему оно относится, это прилагательное „планерское", повисшее без существительного? Это, очевидно, тайна даже для тех, кто так казенно назвал это удивительное по своей суровой красоте место.

Сравнительно недавно в Крыму без всякой огласки и без согласования с населением, а значит, и без согласия населения, поспешно переименовали почти все города, села и поселения, за исключением приморских.

В новых названиях нет и намека на природу или историю Крыма. Новейшая карта Крыма пестрит топорными, безличными, а то и просто нелепыми названиями.

Например, в Крыму, где нет и сроду не было земляники, появилось название: „Земляничное". Что земляничное? Мыло? Или мороженое? Или варенье?

Исчезли имена, связанные с жизнью в Крыму многих наших великих людей. Этот случай с переименованием свидетельствует об отсутствии первичной культуры, пренебрежении к народу, к стране и, конечно, об отсутствии выдумки и воображения» [21].

В сущности, К. Паустовский с глубокой болью отмечает здесь одну характеристическую черту современной советской речевой жизни — широкое распространение канцелярски-бюрократических шаблонов выражения и обозначения. Ее иногда рассматривают и как болезнь речи. Недаром К. И. Чуковский назвал ее *канцелярит* (конечно, не по связи с ми-

[20] Там же, стр. 480—481.
[21] «Новый мир», 1963, 11, стр. 82—83.

нералогическими и техническими терминами: александрит, малахит и т. п., а по сопричастности медицинским терминам: бронхит, гастрит, трахеит, бурсит, плексит и т. п.).

6

Как видно из предшествующего изложения, проблематика, связанная с изучением культуры языка, вовлекает в свой круг исследования не только оценку отдельных явлений, относящихся к разным областям и сферам употребления современного языка, но и общую характеристику «речевой жизни» общества того или иного периода, той или иной эпохи. С этой точки зрения изучение проблем культуры языка составляет важную органическую часть истории литературного языка и истории стилей художественной литературы.

1. Например, исследование стилистической реформы Н. М. Карамзина должно опираться на широкое воспроизведение картины функционирования разных сфер литературного языка в докарамзинский период, на характеристику состояния речевой жизни общества в это время. А. Старчевский в своей монографии «Николай Михайлович Карамзин» писал, что до 40—50-х годов XVIII в. «составился язык деловых бумаг, или язык ф о р м е н н ы й, на котором, разумеется, изъяснялись тогда и в домашнем быту государственные сановники, чиновники и другие лица»[22]. На этом языке лежал отпечаток латинского, украинско-польского и отчасти немецкого влияния. «Этот форменный язык мало-помалу сделался также языком высшего круга и, следовательно, образцовым: к нему начали привыкать все, и считали особенным образованием и благовоспитанием выражаться вроде Тредьяковского» (стр. 83). По словам А. Старчевского, несмотря на влияние литературно-языковой деятельности Ломоносова и Сумарокова, более значительные изменения в стилистике русского литературного языка наступили лишь при Карамзине: «Карамзин, владея от природы эстетическим чувством, начал выражаться в разговоре и письме как можно проще, короче, не употребляя ни церковнославянских слов, ни немецких оборотов» (стр. 84), хотя сначала у него и в большей степени встречались архаизмы и канцеляризмы старого слога.

Современники Карамзина — из лагеря его поклонников и сторонников — оценивали его деятельность в области русского литературного языка и русской литературной стилистики как деятельность преобразовательную, реформаторскую[23]. Сподвижник Карамзина И. И. Дмитриев находил в языковой реформе Карамзина осуществление «обдуманной системы»: «Вникая в свойство языка и в тогдашний механизм нашего слога, он находил в последнем какую-то нестроту, неопределенность и вялость или запутанность, происходящие от раболепного подражания синтаксису не только славянского, но и других древних и новых, европейских языков, и по зрелом размышлении пошел своей дорогой и начал писать языком, подходящим к разговорному образованного общества с е м и д е с я т ы х годов, когда еще родители с детьми, русский с русским не стыдились говорить на природном своем языке»[24]. Таким образом, по мнению И. И. Дмитриева, Карамзин признал источником обновления литературно-книжных стилей разговорную речь культурных слоев русского дворянского общества 70-х годов XVIII в., общества, еще не зараженного галломанией и не превратившего свой обиходный, «светский» язык в смесь французского с нижегородским.

[22] А. С т а р ч е в с к и й, Николай Михайлович Карамзин, СПб., 1849, стр. 83.
[23] «Московский Меркурий», 1803, декабрь, стр. 190.
[24] И. И. Д м и т р и е в, Взгляд на мою жизнь, М., 1866, стр. 86.

Такого рода суждения современников о состоянии «речевой жизни» общества нуждаются в конкретном историческом освещении — в аспекте культуры речи соответствующего этапа литературного развития.

Вообще необходимо отметить, что при построении истории литературного языка как у нас, так и за рубежом недостаточно точно и ясно разграничиваются функциональные стили языка и стили, жанры, типы литературной речи. Отсюда возникают, например, поверхностные и непродуманные суждения о процессах развития литературных языков, которые принадлежат проф. А. В. Исаченко, Б. Унбегауну и др.[25].

2. Включение в сферу литературно-языкового изучения проблем культуры речи в объективно-историческом плане ведет к существенным изменениям принципов построения как истории литературного языка, так и истории стилей русской художественной литературы.

Так, своеобразными чертами характеризуется речевая культура русского общества пушкинской поры, первых десятилетий XIX в. В этом отношении очень характерно такое замечание П. А. Вяземского:

«Мне часто приходило на ум написать свою „Россиаду“ не героическую, не в подрыв херасковской, не „попранну власть татар и гордость низложенну“ (боже упаси!), а Россиаду домашнюю, обиходную, — сборник, энциклопедический словарь всех возможных руссицизмов, не только словесных, но и умственных и нравных, т. е. относящихся к нравам; одним словом, собрать все, что удобно производит исключительно русская почва. Как была она подготовлена и разработана временем, историею, обычаями, поверьями и нравами исключительно русскими.

В этот сборник вошли бы все поговорки, пословицы, туземные черты, анекдоты, изречения, опять-таки исключительно русские, не поддельные, не заимствованные, не благо- или зло-приобретенные, а родовые, почвенные и невозможные ни на какой другой почве кроме нашей. Тут так бы Русью и пахло — хотя до угара и до ошиба, хотя до выноса всех святых! Много нашлось бы материалов для подобной кормчей книги, для подобного зеркала, в котором отразился бы русский склад, русская жизнь до хряща, до подноготной. А у нас нет пока порядочного словаря и русских анекдотов»[26].

В другом месте той же «Старой записной книжки» П. А. Вяземский пишет:

«В Москве много ходячего остроумия, того ума, qui court la rue, как говорят французы.

В Москве и вообще в России этот ум не только бегает по улицам, но вхож и в салоны; зато как-то редко заглядывает он в книги. У нас более устного ума, нежели печатного» (стр. 164).

Вот сделанные Вяземским записи бытового острословия Карла Брюлова:

«Брюлов говорил мне однажды о ком-то: Он очень слезлив, но когда и плачет, то кажется, что из глаз слюнки текут».

...«В Петербург приезжала англичанка, известная портретистка. Спрашивали Брюлова, что он думает о ней.

— Талант есть, — сказал он, — но в портретах ее нет костей: все одно мясо» (стр. 275).

Прйсоединим еще характерные записи П. А. Вяземского:

«Кем-то было сказано: „стихи мои, обрызганные кровью“. — „Что ж

---

[25] См., например, доклад проф. Б. Унбегауна на V международном съезде славистов в Софии о понятии литературного языка, статью проф. А. В. Исаченко в сб. «Вопросы теории и истории языка. Сб. в честь проф. Б. А. Ларина». Л., 1963, и др.

[26] П. В я з е м с к и й, Старая записная книжка, Л., 1929, стр. 28.

кровь текла у него из носу, когда писал он их?" — спросил Дмитриев» (стр. 102).

«В какой-то элегии находятся следующие два стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной:

Все неприятности по службе
С тобой, мой друг, я забывал.

Пушкин, отыскавши эту элегию, говорил, что изо всей русской поэзии эти два стиха самые чисто русские и самые глубоко и верно прочувствованные» (стр. 82).

З. Вяземский считал, что в отличие от Ивана Долгорукого, Державина и Крылова, в которых выступала «народность житейская», в Пушкине «более обозначалась народность историческая». «Немного парадоксируя, Пушкин говаривал, что русскому языку следует учиться у просвирен и у лабазников, но, кажется, сам он мало прислушивался к ним и в речи своей редко простонародничал» (стр. 279).

Друг Пушкина и отчасти его издатель-редактор, поэт и литературный критик пушкинской поры, профессор-литературовед П. А. Плетнев сообщал акад. Я. К. Гроту: «Пушкин бесился, слыша, если кто про женщину скажет: „она тяжела", или даже „беременна", а не брюхата — слово самое точное и на чистом русском языке обычно употребляемое. Пушкин тоже терпеть не мог, когда про доктора говорили „он у нас пользует". Надобно просто: *лечит*»[27].

Любопытен близкий по содержанию рассказ о речевых склонностях Пушкина, помещенный В. И. Шенроком в «Материалах для биографии Н. В. Гоголя» (I, стр. 362—363). Однажды в гостях у Плетнева «Е. А. Карамзина выразилась о ком-то: „она в интересном положении". Пушкин стал горячо восставать против этого выражения, утверждая с жаром, что его напрасно употребляют вместо коренного чисто русского выражения: „она брюхата", что последнее выражение совершенно прилично, а напротив неприлично говорить „она в интересном положении"».

Стилистическая оценка этих слов со стороны Пушкина не была в то время общей или даже широко распространенной. Например, П. А. Вяземский свободно употреблял выражения и «в интересном положении», и «беременна» («беременная»). Так, он в «Старой записной книжке» отмечает: «Говорили об интересном и несколько двусмысленном положении молодой ***... „А муж ее, — сказала одна из ее приятельниц, — так глуп, что он даже не слыхал, что жена его беременна"» (стр. 226).

7

Не надо думать, что проблемы культуры языка или культуры речи (так, как они здесь представляются или изображаются) целиком совпадают с задачами и принципами стилистики литературной речи. Основная суть вопроса именно в том, что изучение культуры языка распространяется и на те социально-стилистические сферы речевого общения, которые в данный момент еще не включены в канон литературной речи и в систему литературных норм. Вот конкретная иллюстрация из истории речевой культуры. Иртеньев, герой повести Толстого «Юность», так отзывается о речи студентов-разночинцев: «Они употребляли слова: *глупец* вместо *дурак*, *словно* вместо *точно*, *великолепно* вместо *прекрасно*, *движучи* и т. п., что мне казалось книжно и отвратительно непорядочно. Но еще более возбуждали во мне эту комильфотную ненависть интонации,

[27] «Переписка Я. Грота с П. А. Плетневым», III, СПб., 1896, стр. 400.

которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова: они говорили *ма́шина* вместо *маши́на*, *деятельность* вместо *де́ятельность*, *на́рочно* вместо *наро́чно*, *в камине́* вместо *в ками́не*, *Шекспи́р* вместо *Шексп́ир* и т. д. и т. д.... Они выговаривали иностранные заглавия по-русски... *Подлец*, *свинья*, употребляемые ими в ласкательном смысле, только коробили меня и мне подавали повод к внутреннему подсмеиванию, но эти слова не оскорбляли их и не мешали им быть между собой на самой искренней, дружеской ноге». И там же: «Наше понимание было совершенно различно. Была бездна оттенков, составлявших для меня всю прелесть и весь смысл жизни, совершенно непонятных для них, и наоборот» (гл. XLIII).

Та же чуждость Л. Н. Толстому словесной эстетики и речевой культуры разночинно-демократических кругов еще ярче сказалась в стиле комедии Толстого «Зараженное семейство» (1856—1857 гг.), направленной против Чернышевского и его сторонников. Эта пьеса построена на социально-речевых сопоставлениях, контрастах и каламбурно-комических столкновениях. Семинарская и нигилистическая манера речи противопоставлена народной речи няни. «Следы специальной работы Толстого над изучением жаргона новых людей»,—писал Б. М. Эйхенбаум во второй книге своей замечательной монографии «Лев Толстой»,—сохранились в черновых рукописях в виде листка, на котором выписаны характерные выражения, вроде: *не гуманно*, *устой жизни*, *присущий молодому народу*, *общественная среда* и пр.[28]. Основные персонажи пьесы, являющиеся представителями «новых людей», говорят этим специфическим, сгущенным жаргоном, часто утрированным до крайности и тем самым превращающим комедию в фарс. Дудкина говорит языком книжных цитат: «Вольный труд не может быть убыточен, это противно всем основным законам политической экономии», «Прогресс неудержимо вносит свет в самые закоснелые условия жизни» т. д. Студент Твердынский (из духовного звания) говорит «семинарским языком, окрашенным особой лексикой»: на вопрос «Где Петрушка» он отвечает: «шествует»; на вопрос «Что делали» отвечает: «рыболовство учиняли»; статью называет «невредной» (так же — «девица невредная»); к ученику своему обращается: «Прибышев младший, шествуйте» или «Ну-с, Прибышев младший, упитались? Шествуемте». Венеровский, представитель именно «новых людей» («мы люди новые», — говорит он в беседе с помещиком), говорит языком передовой интеллигенции — языком «Современника», языком Чернышевского. Эти жаргоны перемешаны и утрированы в языке пятнадцатилетнего Петруши, который на требование отца, чтобы он поцеловал руку у матери, отвечает: «Разве что-нибудь произойдет от того, что я буду прикладывать оконечности моих губ к внешней стороне кисти матери?». Здесь, мимоходом, высмеяно характерное для нигилистов (ср. у Тургенева) увлечение естествознанием, приводящее к подобным «научным» определениям самых обыкновенных явлений.

Каждый персонаж комедии представляет собой определенную и замкнутую языковую систему или «маску»; на контрастах этих словесных масок построен самый сюжет комедии, в фабульном отношении мало подвижный. Некоторые выражения ведут прямо к Чернышевскому и являются пародией на его язык. Дудкина и Твердынский употребляют слово «заложение» («Честные и либеральные заложения моей натуры»), которое фигурировало еще в повести Григоровича «Школа гостеприимства», как слово Чернушкина[29], Венеровский, говоря с Любочкой, употребляет вы-

[28] См.: Б. Эйхенбаум, Лев Толстой, кн. вторая —60-е годы, Л. — М., 1931, стр. 214—215.

[29] Ср. у Д. В. Григоровича в «Школе гостеприимства» при изложении речей Чернушкина (пародии на Чернышевского): «Чернушкин ясно высказал свое презрение к

ражения «миленькая» или «моя миленькая» («вы очень умны, миленькая») — слово, которое коробит Любочку: «Не говорите: миленькая. Так нехорошо»; это слово постоянно употребляет в романе Чернышевского Лопухов, называя жену «миленькая», а она его — «миленький»[30].

«Зараженное семейство» — пародия на «Что делать?» и на язык тогдашней передовой разночинской интеллигенции.

8

Одной из характерных черт в развитии разных функциональных сфер русского устного речевого общения в советскую эпоху является наряду с широким распространением элементов канцелярского, официально-делового или документального стиля немотивированное применение письменно-книжных оборотов и конструкций, выходящих за границы своих стилистических норм. И. Грекова в рассказе «Дамский мастер» изображает молодого парикмахера Виталия, который, не закончив школу, по собственной инициативе и программе занимается пополнением своего образования.

Вот своеобразные особенности его книжного, литературно не вполне обработанного стиля

«— Мне школу не удалось закончить. Жизнь предъявила свои требования, Отец у меня сильно пьющий и мачеха слишком религиозная. Чтобы не сидеть у них на шее, мне не удалось закончить свое образование, я, в сущности, имею неполных семь классов, но окончание образования входит в мой план. Пока не удается заняться этим вплотную из-за квартирного вопроса, но все же я повышаю свой уровень, читаю разные произведения согласно плану...»[31]. «...я иногда интересных девушек позволяю себе обслуживать без всякой материальной точки зрения... У солидной клиентуры уже и волос не тот, и форма лица не так выражена, и к тому же она требует себе определенную прическу, а не ту, которую я как мастер ей предлагаю. С другой стороны, много занимаясь с девушками, я рискую не заработать себе на жизнь» (стр. 108). «Я интересовался Галей как подходящим материалом для прически, у нее живой волос, упругий и хорошо принимает форму под любым инструментом. Я пробовал на ней различные типы бигуди. А теперь я ее голову исчерпáл, мне это уже неинтересно, я должен развиваться дальше, не могу же я всегда работать над одним типом волоса» (стр. 115).

«Выбирая себе клиентуру, я всегда смотрю: могу ли я в данном случае почерпнуть для своего развития, а не то чтобы обслуживать сплошь и каждую» (стр. 117).

9

Из изложенного следует:

1. Изучение проблем культуры речи имеет огромное и не только практическое, но и научно-теоретическое и историческое значение в области языкознания.

литературе вообще, к литераторам в особенности, припомнив тут же (мысленно, разумеется) кое-какие щелчки, полученные им в свое время от разных литераторов; он объявил наотрез, что не признает ни одного из них, потому что ни в одном не нашел серьезных дельных заложений; пораженный отсутствием этих заложений в литераторах, он написал статью о необходимости серьезных заложений в беллетристических писателях...» (см.: Д. В. Григорович, Полн. собр. соч. в 12 томах, VII, СПб., 1896, стр. 288).

[30] Б. Эйхенбаум, указ. соч., стр. 214—216.

[31] «Новый мир», 1963, 11, стр. 96.

2. Субъективно-эстетический и субъективно-идеологический дилетантизм в оценке и освещении вопросов культуры русского языка — явление временное, обусловленное потребностями современного советского общества, но без обращения к научной теории языка обреченное на бесплодие.

3. Неотложной задачей советского языкознания является исследование теоретических основ культуры языка и культуры речи.

4. Для этого необходимо раскрытие и обобщение закономерностей и тенденций развития современного русского языка на базе изучения всех сторон системы русского языка в ее функционально-стилистических вариациях.

5. Исследование вопросов культуры языка тесно связано с задачами и содержанием стилистики языка и стилистики речи. Эти явно отстающие сферы изучения современного русского языка должны привлечь интенсивный исследовательский интерес специалистов-русистов.

6. В этом кругу исследований целесообразно сочетать осуществление практических задач — подготовку словарей современного русского языка, нормативно-стилистических, синонимических, фразеологических, словообразовательно-инструктивных и т. п. — с разработкой широких теоретических проблем в области построения описательных грамматик нового типа, воспроизведения лексико-семантической системы современного языка, системы его стилей и т. д. Для решения этих задач должны быть использованы все живые и продуктивные методы современного языкознания — качественные и количественные, структурные и внутренние, семантические и др.

7. Изучение проблем культуры языка должно быть также обращено в сторону наблюдений и разысканий в области речевой жизни русского общества и его разных слоев в разные периоды жизни и культурной истории народа. Эти наблюдения и разыскания существенно обогатят историю русского литературного языка и историю стилей русской художественной литературы.

№ 3 1964

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

О ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ И ИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Современные языковеды очень часто обвиняют младограмматиков в атомизме при исследовании языковых явлений, в пренебрежении к языковой системе и даже игнорировании самого факта системности. Подобного рода нападки, однако, не совсем справедливы. Младограмматикам действительно было чуждо понимание системы языка в том смысле, в каком ее трактуют, скажем, структуралисты, но это не значит, что младограмматики вообще игнорировали понятие системности: например, им было нечуждо понятие инвентарной системы. Реконструируя вокализм и консонантизм индоевропейского праязыка, младограмматики часто стихийно реконструировали систему фонем предполагаемого языка и давали полную картину их фактической противопоставленности. Затем они прослеживали исторические судьбы каждого элемента этой системы в отдельности, наблюдая их рефлексы в родственных языках. Тот же в сущности прием применялся и при исследовании истории происхождения грамматических форм. Этот прием не лишен рациональности, хотя и нуждается в некотором усовершенствовании; необходимо заметить, что его продолжают применять и в настоящее время в новых работах по истории различных языков [1].

Этим, конечно, вовсе не доказывается, что самой проблемы преодоления атомизма младограмматиков вообще не существует. Как методологическая проблема общего языкознания она несомненно существует и ее необходимо решать. Однако мы должны сделать заявление, которое может показаться парадоксальным,— современный структурализм не создает достаточных условий для преодоления атомизма младограмматиков. Структуралисты, как известно, полностью отреклись от диахронического изучения языка и ограничились его изучением только в синхронном плане. Тем самым был снят сам вопрос о преодолении атомизма младограмматиков при изучении истории языка, поскольку такая задача вообще не ставилась.

Правда, некоторые сторонники структурализма начинают иногда обращаться к проблемам истории языка, применяя к ним различные структуралистские подходы. Особенно показательным в этом отношении является доклад Е. Куриловича на IX международном лингвистическом конгрессе «О методах внутренней реконструкции», в котором ставилась задача доказать преимущество структуралистского подхода к изучению истории языка по сравнению с приемами младограмматиков. Рассматривая так называемое германское передвижение согласных, Е. Курилович пытается объяснить механизм возникновения этих явлений следующим образом. Сравнительная грамматика индоевропейских языков устанавливает, например, что в германских языках индоевропейские *p*, *t*, *k*

[1] В числе таких работ можно назвать: B. Collinder, Introduktion till de uraliska språken, Stockholm, 1962; V. Pisani, Glottologia indeuropea, Torino, 1961.

превратились в сильные аспираты, а *b*, *d*, *g*—в соответствующие слабые глухие. В настоящее время целью подобного сравнения должна быть не просто констатация того, что лат. *t* соответствует герм *þ*, а лат. *d* — герм. *t*. Самое существенное здесь состоит в том, что фонемы, втянутые в это изменение, были коррелирующими фонемами (*t* : *d* и т. д.). В некоторых позициях, например в начале слова, они противопоставлялись как глухой звонкому. В некоторых других позициях, по-видимому в абсолютном исходе слова, это различие было нейтрализовано в пользу глухого члена (*d* > *t*).

Германское передвижение согласных представляет, таким образом, изменение корреляции *t* (немаркированная) : *d* (маркированная). Маркированная фонема *d*, обремененная нейтральной функцией, становится немаркированной. Отождествление первоначального и.-е. *d*, например в *dekm* «десять», с нейтрализованным *t* в (*e*)*st*(*i*) «есть» — (*ni*)*sd*(*os*), нем. *ist, Nest* влечет за собой маркирование (the marked character) исконного и.-е. *t*, т. е. изменение старой корреляции. Отсюда последующее превращение *t* в аспирату. Далее совпадение исконных и.-е. *bh*, *dh*, *gh*, с *f*, *þ*, *h* (из p^h, t^h, k^h) в известных акцентуационных условиях привело к появлению герм. *b*, *d*, *g*, находящихся в настоящее время в отношениях фонематической корреляции с *f*, *þ*, *h*.

Следовательно, германское передвижение согласных включает две идентификации, а не четыре отдельных закона (*t* > *þ*; *d* > *t*; *dh* > *d*; *þ* > *d*) (закон Вернера).

Никакие другие объяснения, например увеличивающаяся интенсивность артикуляции и т. п., не ведут к пониманию лингвистической сущности этих изменений. Единственным заслуживающим внимания фактом является изменение внутренних отношений элементов. Внешние стимулы этих изменений являются также внешними и по отношению к системе фонем. Рассматривая их, мы оставляем язык sensu stricto и обращаемся уже к экстралингвистическим факторам. Ясное отграничение поля лингвистического исследования при этом утрачивается. Весь вопрос состоит в том, где остановиться при объяснении германского передвижения согласных. По мнению Е. Куриловича, поле лингвистического исследования должно быть ограничено лингвистическим аспектом данного изменения, т. е. изучением фактического состояния системы до и после изменения. Изменение должно быть представляемо как изменение системы. Поэтому необходимо обращать внимание прежде всего на факты нейтрализации, идентификации и возникновения новых фонематических оппозиций[2].

Вышеописанный прием представляет известный шаг вперед по сравнению с подходом младограмматиков, поскольку исследователь в данном случае действительно оперирует понятием системы и пытается объяснить германское передвижение согласных как результат изменений внутрисистемных отношений. Однако было бы большим преувеличением утверждать, что этот прием основывается на всестороннем учете комплекса связанных между собой языковых явлений. Прежде всего необходимо отметить, что этот комплекс намеренно укладывается в прокрустово ложе системности. Исследователь имеет перед собой систему противопоставленных друг другу элементов, фонем. Движущей силой их изменения объявляется первоначально частичная их нейтрализация на каком-то участке, вызывающая изменение характера первоначальной корреляции фонем и появление новых фонем. Вот довольно несложный механизм всех этих изменений. В силу каких причин происходит нейтрализация, с какими

[2] J. Kuryłowicz, On the methods of internal reconstruction, «Preprints of papers for the IX international congress of linguistis», Cambridge (Mass.), 1962, стр. 471.

другими явлениями она связана, почему появляются новые фонемы именно этого качества, а не другого — на все эти вопросы вышеописанный структуралистический подход не дает ответа. Что касается остальных примеров, приводимых в докладе Е. Куриловича, то системный подход там часто осуществляется недостаточно последовательно. Для установления относительной хронологии языковых явлений рекомендуется принимать во внимание такие факты, как первичные и вторичные функции, производные формы и т. д.

Все это лишний раз свидетельствует о том, что структурализм не создал гармоничного учения о системе применительно к различным сферам языка. Поэтому вопрос о системном подходе к изучению истории языка нельзя, по нашему мнению, считать окончательно решенным.

В настоящей статье не ставилась задача доказать целесообразность системного подхода к языку при изучении его истории. Этот вопрос довольно сложен и требует специальной разработки. Нам хотелось бы доказать целесообразность учета причинной связи между языковыми явлениями. Существование причинных связей между языковыми явлениями, признание которого не ново для лингвистической науки, не всегда в достаточной мере учитывается, однако, при изучении истории языка. Более полное раскрытие комплекса причинных связей языковых явлений несомненно может способствовать более точному представлению о самом механизме исторических изменений.

Не имея намерения дать исчерпывающее изложение этой большой проблемы в данной журнальной статье, ограничимся только рассмотрением основных положений, представляющихся особенно важными. Эти положения следующие.

1. Каждое явление в языке в известной мере связано с другим явлением или с целым рядом явлений, и его существование всегда поддерживается совокупностью связей с другими явлениями. При исследовании языковых явлений очень важно установить эти связи.

2. Характер связей между языковыми явлениями исторически изменяется. При изучении истории происхождения языковых явлений необходимо определить, чем были порождены эти явления и в каких отношениях они находились с другими явлениями в период их возникновения.

3. Изменение языкового явления часто оказывается следствием изменения поддерживающих его других явлений.

При изучении комплекса причинно связанных между собой явлений необходимо абстрагироваться на время от понятия системности. Это нужно делать не потому, что язык не является системой, а потому, что многие причинно связанные между собой явления остаются за пределами современных структуралистских систем. Эти явления необходимо рассмотреть сначала только в одном плане: причина + порожденное ею следствие.

Рассмотрим несколько наиболее простых примеров причинно-следственной связи в языке. В целом ряде языков (русский, некоторые тюркские, южноалбанский и др.) произошло оглушение конечных звонких; ср. русск. *дуп* (вместо *дуб*), *сут* (вместо *суд*), татар. *qys* «девушка» (вместо *qyz*), южн.-алб. *burk*[3] «тюрьма», сев.-алб. *burg* и т. д. Оглушение конечных звонких стало здесь возможно только при сохранности в этих языках падежных окончаний; ср. русск. *дуба*, *суда*, татар. *qyz-nyң* «девушки», южн.-алб. *burg-u* «тюрьмы» и т. д. В аналитических языках подобное явление или невозможно или по меньшей мере возникновение его очень затруднено.

[3] Орфографически *burg*.

Превращение *z* в *r* фактически является результатом усиления спирантизации и обычно сопровождается появлением в языке новых спирантов. Таким образом, ротацизм *z* обусловлен определенным процессом. Конечно, можно найти такие случаи, когда, несмотря на появление значительного количества новых спирантов, *z* все же не превращалось в *r*. Так, например, обстояло дело в греческом языке. Некоторые древнегреческие придыхательные смычные и простые смычные уже в среднегреческом превратились в спиранты: *ph* > *f*; *kh* > *x*; *th* > *θ*; *b* > *v*; *d* > *ð*. Что касается *z*, то он, очевидно, в это время имел такое качество, которое ему мешало превратиться в *r*. Возможно, что до этого *z* действительно, как некоторые предполагают, звучал как *dz* и сам позднее превращался в *z*.

Специфическая интонация и мелодика любого языка мира находится в прямой зависимости от произносительных особенностей звуков данного языка. Практика преподавания иностранных языков, вероятно, не знает таких случаев, когда звуки иностранного языка произносились бы абсолютно правильно при несоблюдении особенностей интонации и мелодики чужой речи. В то же время усвоение правильной интонации и мелодики речи невозможно при неправильном произношении звука.

В тюркских и отчасти в финно-угорских языках глагол занимает конечное положение, что обусловлено действием закона порядка слов — «определение + определяемое». В чистых агглютинативных языках причастия, способные выступать в роли определений, согласно господствующему в этих языках закону «определение + определяемое» естественно стремятся предшествовать своему определяемому. Поэтому личная глагольная форма, не способная выступать в роли определения, оттесняется на самый конец предложения.

Одной из отличительных особенностей финского языка является то, что долгие согласные могут быть фонемами; ср. *mutta* «но» и *muta* «грязь», *lautta* «плот» и *lauta* «доска», *kukka* «цветок» и *kuka* «кто», *lume* «наваждение» и *lumme* «кувшинчик», *seppä* «кузнец» и *sepä* «это». Это свойство финского языка связано с тем, что в начале слова в финском языке могут быть представлены только глухие согласные, а использование звонкости согласных как смыслоразличительных средств в абсолютном начале слова практически исключено. Поэтому финский язык вынужден был использовать в качестве смыслоразличительного средства долготу согласных. Вместе с тем финский язык в роли смыслоразличительных средств также широко использует долготу гласных; ср. фин. *käry* «гарь, чад» и *kääry* «сверток», *hara* «борона» и *haara* «ветвь, сук», *kulo* «лесной пожар» и *kuulo* «слух», *tuli* «огонь» и *tuuli* «ветер». Таким образом, широкое использование долготы как средства смыслоразличения находится в финском языке в прямой зависимости от наличия глухого начала слова.

Существование носового *o* во французском языке поддерживается существованием других носовых гласных. Наличие звонких аффрикат в каком-либо языке всегда поддерживается наличием звонких смычных, существование звонких согласных обычно поддерживается существованием соответствующих глухих согласных.

Past continuous tense типа *I was speaking* «я говорил тогда» поддерживается в английском языке наличием Present continuous tense типа *I am speaking* «я говорю в данный момент». Существование системы тонов в некоторых языках, например во вьетнамском, китайском и др., всегда связано с наличием очень большого количества омонимов.

В ненецком языке существует два времени — неопределенное время и прошедшее время. Формы неопределенного времени могут иметь значение и настоящего времени, и прошедшего. На первый взгляд, может пока-

заться непонятным, для какой цели предназначено прошедшее неопределенное время и чем поддерживается его существование, если в языке уже имеется прошедшее время. Существование этих двух временных форм поддерживается видовыми различиями. «У глаголов, действие которых мыслится как длящееся, формы неопределенного времени имеют чаще значение настоящего... Напротив, формы неопределенного времени, образованные от глаголов кратковременного или мгновенного действия, имеют значение прошедшего времени»[4]. Таким образом, неопределенное время в тех случаях, когда оно обозначает прошедшее, выражает действие, достигшее предела. Прошедшее время чаще всего обозначает действие, не достигшее предела. Наличие этого видового значения поддерживает существование неопределенного времени в ненецком языке.

В современном латышском языке имеется девять типов склонения имен существительных. Существование этих типов поддерживается в конечном счете наличием в латышском языке грамматического рода.

Древнегреческий язык характеризуется большим количеством инфинитивов. Каждое время в древнегреческом могло иметь особую форму инфинитива. Такое количество инфинитивов находилось в прямой зависимости от очень распространенного в древнегреческом языке оборота accusativus cum infinitivo.

Одной из наиболее типичных особенностей агглютинативных языков является сильно развитый способ суффиксального формо- и словообразования. Значение одного суффикса может уточняться путем присоединения к нему других суффиксов, в результате чего возникают целые гирлянды суффиксов. Развитие падежных окончаний в агглютинативных языках обнаруживает те же самые черты. Многие падежные окончания в агглютинативных языках являются комплексами различных падежных суффиксов. Так, например, окончание аппроксимматива *-lań-* в коми-зырянском языке составлено из трех суффиксов *-l-*, *-a-*, *-ń-*, окончание дательно-направительного падежа *-qa*, *-γa-*, (*-ke-*, *-ge-*) в кыпчакской группе тюркских языков составлено из двух падежных суффиксов и т. д. [5].

В некоторых тюркских языках начальный *l* окончания мн. числа *-lar* ассимилируется полностью или частично предшествующим согласным основы слова; например: казах. *žoldas* «товарищ» — *žoldastar* «товарищи» (ср. в турецком *yoldaş* «попутчик» и *yoldaşlar* «попутчики»).

Наличие или отсутствие начального *l* аффикса в тюркских языках находится в прямой зависимости от количества заимствованных арабских и персидских слов на *l*. Начальный *l* аффикса обычно ассимилируется в тех языках, в которых или вообще нет арабских и персидских слов, начинающихся на *l*, или такие слова имеются в очень незначительных количествах (якутский, ойротский, хакасский, казахский, киргизский и т. д.).

Гидронимы, созданные носителями финно-угорских и тюркских языков, имеют характерную для них структуру. Они обычно состоят из двух частей. Первая часть обычно представлена прилагательным или существительным, вторая часть — существительным со значением «река»; например: фин. *Kemijoki*, *Oulujoki*, *Kalajoki* и др., коми *Juśva*, *Sośva* или *Izju* и *Rasju* и др., марийск. *Muzeyer*, *Lawraeyer* и др., тюрк. *Aq idel* и др. Такая структура гидронимов обусловлена отсутствием в этих языках грамматического рода и связанного с ним изменения прилагательных.

Можно предполагать, что в уральском языке-основе и тюркском языке-основе в начале слова могли встречаться только глухие согласные. В то

[4] Н. М. Терещенко, Очерки грамматики ненецкого (юрако-самоедского) языка, Л., 1947, стр. 185.

[5] Окончание латива на *-qa-*, *-ke-* и т. д. составлено из окончания латива на *-q(k)* и окончания латива на *-a(e)*.

же время при сравнении звуковых систем современных тюркских и уральских языков бросается в глаза, что звуки *r*, *l*, *m* и *n* в начале исконно тюркских слов не встречаются, тогда как в таких языках, как финский, ненецкий, коми, мордовский, мансийский и т. д., эти звуки в начале слова употребляются довольно часто. Если плавные и носовые обнаруживают свойства звонких согласных, то нет ничего удивительного в том, что в тюркском языке-основе они не могли встречаться в начале слова. Чем же тогда обусловлено иное поведение плавных и носовых в уральских языках? Это объясняется тем, что в уральском языке-основе в начале слова могли находиться звонкие спиранты типа δ, которых не было в общетюркском языке. Таким образом, начальные плавные и носовые *r*, *l*, *m*, *n* в уральских языках поддерживались начальными звонкими спирантами типа δ. Существование δ подтверждается такими соответствиями, как фин. *tuomi* «черемуха», сев.-лапл. *duobtâ*, южн.-лапл. *fuome*, эрзя-морд. *l'om*, коми-зыр. *l'om-pu* [6].

Причинно-следственные связи наблюдаются не только в области средств материального выражения. Они существуют и в области развития значений. Значение оптатива может превратиться в значение будущего времени, поскольку действие, выражаемое оптативом, фактически проецировано в план будущего. Локативное значение может превратиться в комитативное по причине известной близости понятий местонахождения и соположения, ср. русск. *сидит у меня* и *сидит со мной*. Причинно-следственные связи могут существовать между значением и определенными способами его выражения.

В ряде языков аналитического строя значение принадлежности описывается при помощи предлогов типа франц. *de*, голл. *van*, идиш *fun*, норв. *af*, греч. *ἀπό* (спорадически) и т. д. Нетрудно заметить, что все эти предлоги имеют аблативное значение (движение от чего-нибудь). Отсюда следует вывод, что так называемые элативные предлоги типа лат. *ex* «из», нем. *aus*, норв. *fra*, греч. *ἐξ* и т. д. оказываются непригодными для этой цели. Аналогичное явление наблюдается и в тех случаях, когда родительный падеж заменяется отложительным падежом. Так, например, обстояло дело в балтийских и славянских языках, где родительный падеж от основ на *-o* заменялся отложительным падежом; ср. литов. *vyro*<**vyrõd* «мужчины» и русск. *раба*<**rabõd*. В пермских языках родительный падеж в некоторых случаях также заменяется отложительным падежом, ср. коми-зыр. *bośta voklyś portfelsõ* «беру портфель брата». Этот падеж имеет аблативное, но не элативное значение.

Аналитические времена, образуемые при помощи вспомогательных глаголов, обозначают не простое абстрактное отношение действия к определенному плану, а соотношение, имеющее определенную качественную характеристику. Перфект обозначает действие, завершившееся в прошлом, но оставившее после себя результат; плюсквамперфект обозначает действие, не вообще происходившее в прошлом, а предшествовавшее другому действию, и т. д. Отсюда можно сделать вывод, что наиболее удобным способом выражения действий, имеющих дополнительную характеристику, являются различные аналитические формы.

В целях большей простоты изложения выше рассматривались парные языковые явления, с тем чтобы показать, как существование одного явления поддерживается существованием другого явления. В реальной языковой действительности одно явление часто имеет ряд следствий, появление которых даже может хронологически не совпадать. Так, например,

[6] B. Collinder, Comparative grammar o the Uralic languages, Uppsala, 1960, стр. 62.

в чисто агглютинативных языках одним из следствий действия закона порядка слов «определение + определяемое» является суффиксальный способ формообразования и словообразования. Широкое применение этого способа создает в свою очередь морфологическую пассивность начала слова. В чисто агглютинативных языках в начале слова вообще нет никаких значимых морфем. Если нет значимых морфем, то, следовательно, нет в начале слова и стечения согласных, поскольку в агглютинативных языках граница раздела морфем обычно проходит между двумя согласными, если таковые в слове имеются.

С морфологической пассивностью начала слова в некоторых агглютинативных языках связана также известная фонологическая пассивность начала слова. Есть целый ряд агглютинативных языков, имеющих так называемое абсолютно глухое начало слова (т. е. в начале слова не может быть звонких согласных). К таким языкам относятся многие финно-угорские и некоторые тюркские языки. Не может быть сомнения в том, что абсолютно глухое начало слова является одним из следствий агглютинативного строя, поскольку это явление встречается только в агглютинативных языках и связано в первую очередь с морфологической пассивностью начала слова. При наличии морфологической пассивности заметно снижается необходимость смыслоразличения в плане чисто фонологическом. Предпочтение отдается глухим согласным как фонологически менее выразительным. Основной фокус фонемной вариативности в агглютинативных языках этого типа переносится в середину слова, на стыки морфем.

С абсолютно глухим началом слова тесно связана и другая особенность. В языках, имеющих абсолютно глухое начало слова, особое развитие получают сонанты, иными словами — плавные и носовые. Частотность таких слогов, как *tet*, *kek*, *pep*, *ses*, очень невелика, но частотность слогов типа *ter*, *tel*, *ten*, *tem*; *ker*, *kel*, *ken*, *kem*; *per*, *pel*, *pen*, *pem*; *ser*, *sel*, *sen*, *sem* и т. д. достигает очень высокой степени. Высокой степени частотности также достигают сочетания сонантов со звонкими согласными типа *rd*, *ld*, *nd*, *rg*, *nʒ̑*, *nč* и т. д. (все это может быть проверено эмпирически). Наличие абсолютно глухого начала слова очень часто связывается с ударением на первом слоге и с наличием долгих гласных, которые в известной степени компенсируют фонологическую пассивность начала слова.

Чувашский язык приобрел абсолютно глухое начало слова под влиянием марийского субстрата [7]. Звонкие согласные в начале слова в чувашском языке стали невозможными. Эта особенность в свою очередь вызвала в чувашском языке целый ряд других изменений. В чувашском языке возникла тенденция к устранению неудобопроизносимых и фонологически мало выразительных слогов типа *tel*, *kek*, *pep*, *ses* и т. д. и к увеличению роли сонантов на стыках морфем. В этих целях в чувашском увеличился количественный объем плавных за счет превращения *l* особого типа в *l* простое. В других тюркских языках это *l′* превратилось в *š*; ср. чув. *śul* «год», татар. *jäš* «возраст», чув. *xĕvel′* «солнце», татар. *qojaš*, чув. *alak* «дверь», татар. *išək* и т. д. Кроме того, *z* в чувашском языке превратился в *r*; ср. татар. *bəz* «лед», чув. *păr*, татар. *jəz* «сто», чув. *śĕr* и т. д. Другим следствием возникновения абсолютно глухого начала слова явилась сонаризация интервокальных глухих смычных спирантов; ср. татар. *saqal* «борода» — чув. *suɣal*, татар. *alaša* «лошадь» — чув. *laža* и т. д. Интересно отметить, что в хакасском в положении между гласными употребляются обычно звонкие согласные; например: *aba* «медведь», *ada* «называй», *aʁa*

[7] Автор предполагает, что первоначально глухое начало слова в чувашском было некогда нарушено вторичным возникновением начальных звонких.

«дед по отцу», *тöге* «бревно», *тибе* «верблюд» [8]. Хакасский язык, так же как и чувашский, имеет абсолютно глухое начало слова.

В уральских языках встречаются конструкции, где глагол, который логически должен был бы управлять местным падежом, сочетается не с этим падежом, а с направительным; ср. коми-зыр. *Колхозникъяс чукöртчисны выль клубö* «Колхозники собрались в новом клубе (буквально: в новый клуб)», марийск. *Кож вуеш пыжашым оптен* «Свила гнездо на вершине (буквально: на вершину) ели», эрзя-морд. *Озавтынь умарина садс* «Посадил яблоню в саду (буквально: в сад)», фин. *Vihollinen häipyi rämeikköön* «Неприятель скрылся в болоте (буквально: в болото)», эст. *Vahetekile oli juba kogunenud terve meeskond* «На средней палубе (буквально: на среднюю палубу) уже собралась вся команда», манс. *Тав ворн культыс* «Он остался в лесу (буквально: в лес)», ненец. *Клубан малейна* «Мы собрались в клубе (буквально: в клуб)» и т. д. На первый взгляд кажется невозможным связать эти явления с другими особенностями грамматического строя уральских языков. Между тем это явление связано с сильно развитой в уральских языках тенденцией к очень детальному обозначению различных особенностей протекания глагольного действия. В уральских языках могут обозначаться такие особенности протекания глагольного действия, как многократность, мгновенность, мгновенность действия, связанная с его акустическим восприятием, слабая интенсивность, маломерность, регулярность совершения действия, начинательность и т. д. В конструкциях типа коми-зыр. *Вöjи тyö* «Он утонул в озере (буквально: в озеро)» выражается не только факт совершения действия, но одновременно его способ — движение в определенную среду и исчезновение в ней. Позднее это сочетание превратилось в своеобразный способ выражения законченности действия. С этой тенденцией соотносится такое явление грамматического строя уральских языков, как обилие лативов, или направительных падежей. В отличие от инессива, лативы связаны с выражением характеристики действия, например: *идет в лес*, *идет по направлению к лесу* или *до опушки леса* и т. д. С особенностями обозначения характеристики глагольного действия связано также довольно широкое распространение в уральских языках (особенно в древних) так называемого пролатива (падежа, обозначающего движение вдоль чего-либо, например: коми-зыр. *мунö вöрöд* «идет по лесу»).

В татарском языке существуют увулярные согласные q, γ, l. Употребление этих согласных тесно связано с гармонией гласных. В исконно татарских словах эти согласные употребляются только в словах, содержащих гласные заднего ряда. В словах с гласными переднего ряда соответственно употребляются k, g, l'. То обстоятельство, что употребление согласных q, γ, l и k, g, l' тесно связано с гармонией гласных, имеет целый ряд следствий. Согласные q, γ, l и k, g, l' как смыслоразличители в татарском языке, например, оказываются малопригодными. Представим теперь положение, существовавшее в тюркском языке-основе. Характерным для тюркского языка-основы было абсолютно глухое начало слова. Это значит, что в начале слова могли быть только глухие согласные q, k, t, p, s. Внутри и в конце слова могли встречаться q, γ, k, g, t, d, δ, p, b, s, z, $š$, l, l', r, m, n. Если учесть, что q, γ, l и k, g, l' были мало пригодны как смыслоразличители, а b, d, z, r, l, n и m не могли встречаться в начале слова, и это также ограничивало их употребление как смыслоразличительных средств, то можно сделать вывод о том, что консонантизм тюркского языка-основы обладал довольно ограниченными смыслоразличительными возможностями. Выходом из этого кризиса было превращение древних p

[8] Н. П. Дыренкова, Грамматика хакасского языка, Абакан, 1948, стр. 13.

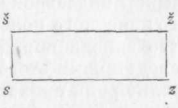
и *t* в начале слова в некоторых случаях в *b* и *d*. Таким образом, в татарском появились слова с начальным *b* типа *bir-* «давать» (из **per-*), *bəz* «лед» (из **puz*), *bil* «талия» (из *pel*), *dürt* «четыре» (из *tört*) и т. д. Создалась возможность таких противопоставлений, как *paj* «доля, часть» и *baj* «богатый», *bar* «иди» и *par* «пара», *bət* «бедро, ляжка» и *pət* «идол», *köl* «пепел» и *göl* «цветы». Это в свою очередь вызвало частичную аффрикатизацию *j*, что также увеличило общее количество смыслоразличительных средств: ср. татар. *čir* «болезнь» и *ǯir* «земля», *čit* «чужой» и *ǯit* «достигни» и т. д.

Взаимосвязь явлений исторически может изменяться. В татарском и башкирском языках древние гласные *u*, *ü* и *i* превращались в редуцированные гласные *ə̂*, *ə̄* и *ə*, ср. турец. *kuş* — татар. *qəš* «птица», турец. *tut* «держи» — татар. *tə̂t*, турец. *üč* «три» — татар. *ə̄č*, турец. *küč* «сила» — татар. *kə̄č*, турец. *bir* «один» — татар. *bər*, турец. *biz* «мы» — татар. *bəz* и т. д. Редукция древних *u*, *ü* и *i* была в известной степени связана с другим также типичным для татарского и башкирского языков явлением — сужением древних *o*, *ö* и *e* в *u*, *ü* и *i*; ср. турец. *jol* «путь» — татар. *juл*, турец. *ot* «огонь» — татар. *ut*, турец. *göz* «глаз» — татар. *köz*, турец. *dört* «четыре» — татар. *dürt*, турец. *beş* «пять» — татар. *biš*, турец. *et* «мясо» — татар. *it* и т. д.

Таким образом, эти два фонетических явления имеют одну общую причину — уменьшение энергии при произнесении гласных *o*, *ö*, *e*, *u*, *ü*, *i*. Произношение широких гласных, очевидно, требует большой затраты произносительной энергии, а при произношении более узких гласных эта затрата уменьшается. Поэтому гласные *o*, *ö*, *e* только сузились, но не превратились в редуцированные. Гласные *u*, *ü*, *i*, произносимые с меньшей затратой энергии, превратились в редуцированные.

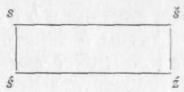
Вопреки мнению Е. Куриловича, не рекомендующему при изучении языковых явлений прибегать к экстралингвистическим факторам, необходимо отметить, что аналогичный процесс превращения гласных *u*, *ü*, *i* в редуцированные имел место в горномарийском и, по-видимому, в пермских языках, которые могли оказать на татарский язык известное влияние. В настоящее время этот фактор уже не действует. Гласные не сужаются и не превращаются в редуцированные. Однако носители татарского языка склонны произносить русск. *директор* и *поход* как *дирихтар* и *пахут*. Такая тенденция в настоящее время всецело определяется системой, отличительной особенностью которой является отсутствие гласных *e* и *o* русского типа.

В современном марийском языке имеются спиранты *s*, *z*, *š* и *ž*. Соотношение этих спирантов можно представить в виде четырехугольника

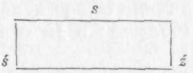


В исконно марийских словах *z* в начале слова не встречается: его позиция ограничена интервокальным положением; то же самое можно сказать и в отношении *ž*. Такая ясность распределения заставляет сделать вывод о том, что наличие *z* и *ž* в марийском языке находится в прямой зависимости от наличия *s* и *š*.

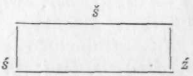
Факты истории марийского языка позволяют установить, что *s* и *z* возникли из *ś* и *ź*. Что же заставило *ś* и *ź* измениться в *s* и *z*? Некогда в марийском языке этот четырехугольник имел другое содержание:



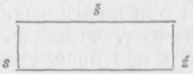
По неизвестной причине *š* совпал с *s*:



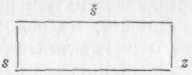
Ослабление дифференциальных признаков на одном участке ведет к неустойчивости системы: *s* под влиянием *ś* и *ź* изменился в *š*. Эти изменения не привели к устранению нарушенной симметрии:



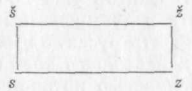
В марийском языке возникла потребность иметь новый *s*, и прорыв произошел на наиболее слабом участке, занимаемом *ś*, поскольку *ś* обладал наибольшей артикуляционной близостью к *s*:



Превращение *ś* в *s* вызвало соответственное изменение *ź* в *z*:



Превращение *š* в интервокальном положении в *ž* создало вполне симметричную современную систему:



Если в языке происходит утрата одного или нескольких поддерживающих явлений, то позиция поддерживаемого явления значительно ослабляется, и оно становится уязвимым для возможных исторических изменений. Усвоение коми языком индоевропейского порядка расположения глагола и утрата им своего конечного положения привели к сильному ослаблению действия прежнего закона порядка слов — «определение + + определяемое». Прямыми следствиями этого ослабления явились такие явления, как сильное уменьшение роли причастий и деепричастий в предложении, постпозиция слов и конструкций, выполняющих роль обстоятельств, возможность постпозиции родительного падежа и т. д. В свою очередь, исчезновение грамматического рода в английском привело к ликвидации различных типов склонения, существовавших в англосаксонском языке. В настоящее время значительно ослабла тенденция к обозначению языковыми средствами различных оттенков Aktionsart, типичная для древних финно-угорских языков, а многочисленные суффиксы, употреблявшиеся для этой цели, в основной своей части стали омертвелыми или непродуктивными. Ослабление этой тенденции вызвало в некоторых

финно-угорских языках также неустойчивость конструкций с лативом типа *Vōji tyō* «Он утонул в озере», например: мокша-морд. *Чумаков шачь Карасаевка велеса* «Чумаков родился в деревне Карасаевка», где вместо ожидаемого латива (*вели*) употреблен локатив (*велеса*).

Можно предполагать, что семантический объем и стилистическая окраска русского прилагательного *красивый* в севернорусских говорах древней поры была примерно такой же, какой она является в говорах Средней России. С появлением в этих говорах прилагательного *баской* семантический объем прилагательного *красивый* значительно сузился, и оно стало более стилизованным, ср. *баской парень*, но *красивый вид*, *красивый закат*. С распространением среди населения норм литературной речи прилагательное *баской* приобретает особую стилистическую окраску признака просторечия и нелитературной нормы; *красивый* становится более употребительным и вместе с тем теряет в известной мере присущую ему стилистическую окраску.

Учет комплекса связанных между собой языковых явлений может принести значительную пользу при исследовании истории языка. Изучение системы связанных между собой языковых явлений имеет большое значение для определения относительной хронологии возникновения языковых явлений.

В современном коми языке существует два типа *l*—*l* палатализованное (например: *vyl'* «новый», *ul'* «сырой», *kul'* «бес, черт») и так называемое среднеевропейское *l* (*lomtyny* «топить»; *lym* «снег» и т. д.). В древности в языке коми существовало *l* велярное (типа русского *л*), которое в конце закрытого слога и в абсолютном исходе слова превратилось в *v*: ср. коми-зыр. *nyv* «девушка», удм. *nyl*, коми-зыр. *kyv* «язык», удм. *kyl*. Этимологически *l* среднеевропейское и *l* велярное могут восходить к общефинно-угорскому *l*; ср. коми-зыр. *lov* «душа, дух», манс. *lil*. Это явно свидетельствует о том, что образование велярного *l* в языке коми представляет явление более позднее, возникшее в определенных фонетических условиях. Ему предшествовало *l*, которое имело иное качество. Скорее всего, оно было среднеевропейским *l*. Возникает другой вопрос: было ли такое произношение *l* исконным? Можно предполагать, что среднеевропейское *l* было явлением вторичным, поскольку оно тесно связано с наличием в языке коми так называемых альвеолярных аффрикат *č* и *ǯ*. Таким образом, можно воссоздать общую картину развития *l* в коми языке.

1. Общефинноугорское *l*.

2. Среднеевропейское *l*, вызванное появлением альвеолярных аффрикат *č*, *ǯ*.

3. Частичное изменение среднеевропейского *l* в велярное *l* в конце закрытого слога.

4. Превращение велярного *l* в *v* с частичным сохранением *l* среднеевропейского.

5. Современное среднеевропейское *l*, сосуществующее с палатализованным *l'*.

Начальному *j* некоторых тюркских языков соответствует в современном чувашском *ś*; ср. турец. *jol* «путь» — чуваш. *śul*. Схематически общий ход развития *j* можно изобразить как $j > ǯ > ś$. Вместе с тем возникает довольно трудный вопрос, превращалось ли древнее *j* в чувашском сначала в *ǯ*; если такое изменение происходило, то затем вследствие ослабления смычки через промежуточную ступень *ź* этот звук превратился в *ś*. Начальный *ǯ* в чувашском языке мог существовать только при одном условии, если в начале слова могли встречаться те или иные звонкие согласные; при наличии глухого начала слова возникновение начального *ǯ* было невозможно.

Ответ на этот вопрос может быть довольно простой. В тех языках, где существует абсолютно глухое начало слова, начальный *j* вообще не подвергается никаким изменениям, в том числе и аффрикатизации. Классическими примерами в этом отношении могут служить такие языки, как финский, хантыйский, мансийский и марийский.

В некоторых восточносамодийских языках — нганасанском, энецком и камассинском — звонкие согласные в начале слова возможны (см. нганас. *basa* «железо», *be'* ~ *bed* «вода», энецк. *bi'*~*bido* «вода»; *biu* «пять», камас. *bŭ* «река», *de'*~*dep* «давать» и т. д.). Начальный *j* в этих языках изменяется и напоминает палатализованный *d'*; например: камас. *d'aγa* «река» и ненецк. *jaγa*. В истории венгерского языка древний начальный *j* тоже подвергался аффрикатизации; например: венг. *gyalog* (*d'ălog*) «нога», фин. *jalka*, марийск. *jal*. Звонкие согласные в начале слова в венгерском языке также возможны; ср. венг. *gomb* «гриб», *bor* «вино».

Если бы в чувашском не было слов, начинающихся со звонкого согласного, то начальный *j* не мог бы измениться в *ǯ*. То же самое в равной мере относится и к хакасскому языку, где при наличии абсолютно глухого начала слова существует начальный *č*, соответствующий начальному *j* других тюркских языков, ср. хакас. *čaxsy* «хорошо», татар. *jaxšy*; хакас. *čüs* «сто», турец. *jüz*; хакас. *čurt* «жилище», татар. *jort* «дом»; хакас. *čox* «нет», турец. *jok*. Хакасскому *č* в этих словах исторически предшествовал *ǯ*. Доказательством того, что здесь был *ǯ*, а не иной звук, может служить факт превращения древнего *č* в хакасском языке в *s*; ср. хакас. *syx-* «выходить», турец. *čyk-*, хакас. *syda-* «терпеть», татар. *čydau* «терпеть» и т. д. Если бы в момент перехода древнего *č* в *s* в таких словах, как *čaxsy* «хорошо», *čox* «нет» и т. д., уже существовал *č*, то он также перешел бы в *s*. Это значит, что в подобных словах существовал не *č*, а иной звук. Возможно, здесь был представлен *ǯ*, который не мог превратиться в *s*. Начальный *ǯ* мог появиться из древнего *j* только в том случае, если в хакасском в начале слова могли быть звонкие согласные. Поэтому вопреки широко распространенной теории о первичности глухого начала слов в хакасском и чувашском языках можно утверждать, что глухое начало в этих языках представляет собой явление вторичное. Чувашский и хакасский языки некогда имели в начале слов звонкие согласные типа *b*, *g* и т. д., хотя в тюркском языке-основе было абсолютно глухое начало слова.

Вместе с тем возникает вопрос о наличии звонких согласных в начале слова в пратюркском языке. М. Рясянен утверждает, что в древнетюркском языке в начале слова встречались только *q-*, *k-*, *t-*, *b-* и *s-* (? *š-*), внутри и в конце слова — *-q-*, *-γ-*, *-k-*, *-g-*, *-t-*, *-d-* (*-δ-*), *-p-*, *-b-*, *-s-*, *-z-*, *-š-*[9]. Постулируемое им наличие в начале слова из всех звонких одного лишь *b* представляется, однако, слишком аномальным: среди языков мира, неизвестен такой, где бы в начале слова мог быть только один звонкий согласный. Более достоверным будет предположение, что в древнетюркском языке в начале слова не было звонких согласных. Об этом также свидетельствует отсутствие в начале слова плавных и носовых *m*, *n*, *r* и *l*, которые в сочетаниях с другими согласными в середине слова обычно ведут себя как звонкие, ср. татар. *bərgä* «вместе», *aldy* «он взял», *qulymda* «в моей руке» и т. д. При этих условиях в тюркском языке-основе мог существовать только начальный *j*, но не аффрикаты типа *ǯ* и *č*, как утверждают многие тюркологи. На основании этих соображений можно даже вывести общее правило. Сохранение начального *j* возможно и при

[9] М. Рясянен, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955, стр. 124.

наличии звонких согласных в начале слова, но превращение *j* в аффрикату при наличии абсолютно глухого начала слова невозможно.

В татарском языке существует прошедшее время, образованное от причастия на *-γan*, например *ul alγan* «он взял», *ul kilgän* «он пришел» и т. д. Существует мнение, будто бы это время всегда обозначало действие, не очевидное для говорящего. Нетрудно убедиться в том, что это мнение не учитывает взаимосвязи явлений. Если прошедшее на *-γan* изначально имело модальный оттенок неочевидности, то, следовательно, это значение уже присутствовало в самом причастии на *-γan*, от которого оно образовано (так как присоединение личных окончаний — *alγanmyn* «я взял», *alγansyŋ* «ты взял» и т. д.— само по себе не могло создать модального значения), а тогда и прежденрошедшее время, которое также образовано от причастия на *-γan* (например, *ul alγan idə* «он взял раньше»), также должно было бы иметь значение неочевидности. Все это свидетельствует о том, что модальное значение у прошедшего времени на *-γan* возникло позднее.

В прибалтийско-финских языках существует целая серия внешнеместных падежей, содержащих коаффикс *-l-*, например: фин. *talo-l-ta* «от дома», *talolla* (<*talo-l-na*) «на доме», *talolle* (<*talo-l-en*) «дому» и т. д. Согласно широко распространенной гипотезе коаффикс *l* возводится к словообразовательному суффиксу *-la* (например, фин. *eno-la* «дом дяди»)[10]. Недостаток этой теории состоит в том, что она сформулирована без учета взаимосвязи языковых явлений. Само значение суффикса *-la* не содержит никаких предпосылок для использования его в роли индикатора внешнеместных падежей. Чтобы быть таким индикатором, словообразовательный суффикс *-l* (не *-la*) должен был сначала соединиться с окончаниями древних латива *-a* или *-e*, которые некогда обозначали движение по направлению к предмету. Позднее в результате переразложения основ суффикс *-l* мог стать показателем серии внешнеместных падежей.

Предлагая изучение комплексов причинно связанных явлений в качестве одного из путей преодоления атомизма младограмматиков, мы полагаем в то же время, что системный подход в структуралистском его понимании в известной мере способствует преодолению атомизма младограмматиков, но не может обеспечить полное его преодоление, потому что многие причинно-следственные связи объявляются несистемными и не относящимися к компетенции лингвистической науки. Исходя из этих соображений, можно утверждать, что проблема взаимной мотивации элементов языка является одной из интересных и перспективных областей языкознания. Решить эту проблему можно только при условии изучения причинно-следственных связей в широком плане и независимо от канонических структуралистских определений системы.

---

[10] B. Collinder, Comparative grammar of the Uralic languages, стр. 291.

№ 3 1964

Ю. Д. АПРЕСЯН

О СИЛЬНОМ И СЛАБОМ УПРАВЛЕНИИ
(Опыт количественного анализа)

В синтаксисе и семантике существует большой комплекс задач теоретического и прикладного характера, для решения которых важное значение имеют понятия сильного и слабого управления[1]. К числу этих задач относятся: 1) обоснование классификации второстепенных членов предложения. Можно, в частности, предполагать, что сильно управляемое существительное является, как правило, аналогом предметной переменной в n-местном предикате и поэтому может рассматриваться как дополнение; слабо управляемое существительное является, как правило, аналогом вторичного предиката («обозначает признак действия или признак признака») и может поэтому рассматриваться как обстоятельство. Отметим, что наличие строгого определения второстепенных членов предложения могло бы способствовать решению одной из центральных проблем синтаксиса простого и сложного предложения — проблемы синтаксической позиции; 2) решение ряда вопросов теории словосочетания[2], особенно вопроса о продуктивных способах образования словосочетаний одних типов от словосочетаний других типов. В этой связи интересно отметить, что именные словосочетания с наибольшей свободой и регулярностью образуются от тех глагольных словосочетаний, в которых реализуются связи слабого управления (ср. *устать от работы — усталый от работы — усталость от работы*)[3]; 3) автоматический синтаксический анализ текста. В словаре основ, составляемом для целей такого анализа, для каждой сильно управляющей основы должно быть указано, какими формами она может управлять. Эта информация необходима для того, чтобы алгоритм мог правильно установить все пары синтаксически связанных словоформ и указать для каждой пары, который из ее элементов является главным[4].

Для автора данной работы понятия сильного и слабого управления представляют интерес в связи с общей проблемой описания значений на

[1] См., например: А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1935, стр. 254—257; R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP, VI, 1936, стр. 248; A. W. de Groot, Les oppositions dans les systèmes de la syntaxe et des cas, «Mélanges Bally», Genève, 1939, стр. 120—127; Е. Курилович, Проблема классификации падежей, «Очерки по лингвистике», М., 1962, стр. 201; «Грамматика русского языка», II, ч. 1, М., 1960, стр. 26—30; М. В. Панов, Синтаксис, в кн. «Русский язык и советское общество», Алма-Ата, 1962, стр. 72—74; Л. Н. Иорданская, Два оператора для обработки словосочетаний с «сильным управлением» (для автоматического синтаксического анализа), М., 1961.

[2] Н. Н. Прокопович, К вопросу о роли словообразовательных связей частей речи в построении словосочетания, сб. «Исследования по грамматике русского литературного языка», М., 1955, стр. 153, 157—158; В. М. Филиппова, Глагольно-именные словосочетания с временным значением в современном русском языке, там же, стр. 162, 166.

[3] Н. Н. Прокопович, указ. соч., стр. 158.

[4] Л. Н. Иорданская, указ. соч., стр. 7.

основе дифференциальных синтаксических признаков. Описываются значения глаголов, причем в качестве дифференциальных синтаксических признаков глагольных значений рассматриваются, в частности, конструкции. Было бы полезно отделить сильно управляемые конструкции, обладающие большой диагностической силой по отношению к употребляющимся в них глаголам, от слабо управляемых конструкций, обладающих незначительной диагностической силой. Рассмотрим в качестве примера две группы глаголов: 1) *давать* (*кому-л. книгу*), *дарить* (*кому-л. часы*), *жаловать* (*кому-л. шубу*), *завещать* (*кому-л. состояние*) и 2) *держать* (*кому-л. руки*), *разжигать* (*кому-л. печку*), *рвать* (*кому-л. рубаху*). Глаголы первой группы, по-видимому, сильно управляют вин. и дат. падежами существительного, а глаголы второй группы — слабо. Поэтому указанная конструкция довольно точно диагностирует значение глаголов первой группы (значение п е р е д а ч и) и почти не диагностирует значения глаголов второй группы. Можно думать, что верно следующее общее утверждение: в семантике глаголов, управляющих той или иной конструкцией, обнаруживается тем больше общности, чем сильнее они управляют данной конструкцией и чем меньше различие в силе их управления данной конструкцией.

Для того чтобы плодотворно использовать понятия сильного и слабого управления при решении той или иной из названных нами задач, необходимо знать, чем сильное управление отличается от слабого. Рассмотрим два наиболее распространенных способа разграничения сильного и слабого управления — семантический (содержательный) и операционный. Наиболее тонкий содержательный анализ понятия сильного управления был дан Е. Куриловичем, исследовавшим это понятие в связи с проблемой классификации падежей [5]. Как известно, Е. Курилович делит все падежи на грамматические (номинатив, аккузатив, генитив) и конкретные (датив, инструментальный, аблатив, локатив с предлогом или без предлога). Каждый падеж имеет первичные и вторичные функции. Первичной функцией грамматических падежей является синтаксическая функция (ср. функции подлежащего, прямого дополнения, генитива субъекта и объекта), а вторичной — наречная или семантическая (ср. аккузатив цели, пространственной и временной протяженности, цены и т. п.). Первичной функцией конкретных падежей является наречная функция (ср. различного рода обстоятельства, выраженные существительными), а вторичной — синтаксическая. Если существительное выполняет синтаксическую функцию, оно занимает, независимо от своего падежа, центральную позицию относительно управляющего слова, т. е. функцию прямого дополнения; если существительное выполняет наречную функцию, оно занимает, независимо от своего падежа, периферийную позицию относительно управляющего слова, т. е. позицию обстоятельства. Различие между сильным и слабым управлением — «это различие между синтаксическим и в то же время центральным, с одной стороны, и семантическим и в то же время периферийным, с другой» [6].

Даже это краткое изложение основных идей Е. Куриловича показывает, насколько интересна и глубока его концепция сильного и слабого управления. Однако в его работе не предложено никаких операционных аналогов для чисто семантических по существу понятий синтаксической и наречной функций, центральной и периферийной позиций и др., на основе которых определено сильное и слабое управление. Поэтому

[5] Е. К у р и л о в и ч, указ. соч.
[6] Е. К у р и л о в и ч, указ. соч., стр. 201.

практическое использование предложенной им системы понятий наталкивается на серьезные (может быть, непреодолимые) трудности.

Наиболее полная сводка операционных правил для разграничения случаев сильного и слабого управления была предложена А. М. Пешковским. Под сильным управлением А. М. Пешковский понимал «такую зависимость существительного или предлога с существительным от глагола, при которой между данным падежом или данным предлогом с данным падежом, с одной стороны, и словарной или грамматической стороной глагола, с другой стороны, есть необходимая связь» [7]. Соответственно под слабым управлением понимается такая зависимость подчиненного слова от главного, при которой необходимая связь отсутствует. А. М. Пешковский предложил следующие операционные критерии для разграничения необходимой и случайной связи, т. е. для разграничения случаев сильного и слабого управления: 1) слабо управляемый элемент может присоединяться к любому глаголу, ср. *умереть* (*читать*, *уйти*, *стоять* и т. д.) *22 февраля*; для сильно управляемых элементов это нехарактерно; 2) при изменении порядка слов в предложении слабо управляемый элемент может потерять синтаксическую связь со своим старым «хозяином» и вступить в подчинительные отношения с другим словом, так как он тяготеет к ближайшему слову, ср. *жаркое из кролика уже приготовлено* и *жаркое уже приготовлено из кролика*; в противоположность этому подчинительные связи сильно управляемого элемента не разрушаются, независимо от того, на каком расстоянии от главного слова и в каком месте предложения он находится, ср. *пишу тебе на ужасной бумаге*, *ужасным пером записку*, *которая...*; 3) слабо управляемые элементы способны обособляться, ср. «шаги его, в толстых сапогах, все удаляясь, прозвучали по дорожке» (Л. Толстой); для сильно управляемых форм это нехарактерно; 4) слабо управляемые элементы способны подчиняться не слову, а словосочетанию, ср. *чтоб ты мне не смела высовываться из двери*; для сильно управляемых элементов это не характерно [8].

Легко убедиться, что предложенные А. М. Пешковским критерии, взятые в любой комбинации, не являются универсальными; с их помощью можно разграничить лишь небольшое число случаев сильного и слабого управления.

Поскольку ни семантические, ни операционные критерии сильного и слабого управления, построенные на детерминистской основе, не приводят к желаемому результату, можно попытаться построить операционные аналоги понятий сильного и слабого управления на вероятностной основе. Для того, чтобы построить такие аналоги, необходимо: 1) предложить метод измерения силы управления, на основе которого каждой управляющей единице может быть сопоставлено определенное число; 2) предложить метод определения границы между сильным и слабым управлением.

1. Измерение силы управления

Одним из первых ученых, обративших внимание не только на качественные, но и на количественные аспекты сильного и слабого управления, был А. М. Пешковский. Сильное управление он называл преимущественным, а слабое— редким типом управления для данного глагола. К со-

[7] А. М. Пешковский, указ. соч., стр. 255.

[8] По всей видимости, синтаксическая сущность слабого управления состоит именно в том, что слабо управляемые формы в отличие от сильно управляемых относятся не к отдельному слову, а к целому предложению. Признаки слабого управления, отмеченные А. М. Пешковским, суть проявления этого общего свойства.

жалению, эти, по существу, вероятностные идеи не были им развиты сколько-нибудь полно.

В наиболее отчетливой форме задача вероятностного изучения сильного и слабого управления была поставлена Л. Н. Иорданской, в работе которой под сильным управлением понимается «свойство некоторых основ с достаточно большой вероятностью предсказывать одну или несколько форм зависящего от них слова» [9]. Однако соответствующие статистические подсчеты Л. Н. Иорданской не проводились, а случаи сильного и слабого управления различались на основе интуитивного представления о вероятности предсказания.

Первое статистическое обследование материала с помощью вероятностной методики было предпринято С. С. Белокриницкой в еще не опубликованной работе, где описано управление 20 глаголов русского языка. Для каждого из 20 глаголов была подсчитана условная вероятность появления данной формы зависимого слова или слов при условии, что уже появился данный глагол.

Статистические материалы по глагольному управлению русского языка, которыми мы располагаем в настоящее время[10], позволяют провести более полное обследование фактов и одновременно усовершенствовать методику измерения силы управления.

Для того чтобы говорить о глагольном управлении, необходимо ввести некоторые рабочие понятия, прежде всего — понятие состава подчинимых форм. Под составом подчинимых форм понимается набор форм зависимых от глагола слов, допускающих одновременную с глаголом реализацию в тексте. Так, у глагола *отличаться* имеются следующие разные составы подчинимых форм [11]: *от* N_g (ср. *сценарий отличается от книги*), N_i (ср. *сценарий отличается законченностью*), *от* $N_g N_i$ (ср. *сценарий отличается от книги частностями*), *от* N_g *в* N_p^{12} (ср. *сценарий отличается от книги в частностях*). У глагола *зависеть* имеется всего один состав подчинимых форм, ср. *зависеть от* N_g. В число составов подчинимых форм глаголов *идти*, *читать*, *нравиться* и многих других входит пустой состав (глагол может употребляться без какого бы то ни было управляемого слова), ср. *поезд идет*, *мальчик читает*, *он умеет нравиться*. Пара вида VX_i, где V обозначает фиксированный глагол, а X_i — какой-либо состав подчинимых форм из числа возможных при данном глаголе, называется комплексом.

Можно измерять силу управления глагола по отношению к фиксированному составу подчинимых форм, т. е. силу управления глагола в данном комплексе, и силу управления глагола по отношению к безразличному составу подчинимых форм, т. е. силу управления данного глагола вообще (мы предполагаем, что эта задача тоже является разумной).

Рассмотрим сначала первый случай. Естественной мерой силы управления глагола в комплексе, которую мы будем обозначать символом G_k, является условная вероятность появления данного состава подчинимых

---

[9] Л. Н. Иорданская, указ. работа, стр. 5.

[10] Э. А. Штейнфельдт, Частотный словарь современного русского литературного языка, Таллин, 1963.

[11] Здесь и дальше данные об управлении глаголов, за исключением данных о двойном и тройном управлении, приводятся по частотному словарю Э. А. Штейнфельдт. Примеры на двойное и тройное управление, которое специально в словаре не выделяется, конструируются нами, но для этого не используется никакой другой информации об управлении, помимо той, которая заключена в словаре.

[12] Обозначения: N — существительное, V — глагол; g — родительный падеж, d—дательный, a — винительный, i — творительный, p — предложный. Предлоги сохраняются в своей обычной лексической форме.

форм при условии, что уже появился данный глагол. Мы обозначаем эту условную вероятность символом P_1:

$$G_k = P_1$$

Чтобы вычислить P_1, нужно разделить число $f(K)$ появлений комплекса на число $f(V)$ появлений глагола[13]. Примеры (в левом столбце приводятся данные о том, с какой силой один и тот же глагол управляет разными составами подчинимых форм, а в правом — данные о том, с какой силой разные глаголы управляют одним и тем же составом подчинимых форм):

	$f(V)$	$f(K)$	G_k		$f(V)$	$f(K)$	G_k
жить с N_i	343	14	0,04	*отвечать* N_d	409	45	0,11
жить на N_p	343	26	0,08	*рассказывать* N_d	401	66	0,16
жить в N_p	343	86	0,25	*принести* N_d	132	31	0,23
верить в N_a	74	23	0,31	*верить* N_d	74	27	0,36
верить N_d	74	27	0,36	*сообщать* N_d	78	35	0,45
развести N_a	20	9	0,45	*помогать* N_d	274	148	0,54
развести N_i	20	12	0, 6	*мешать* N_d	57	35	0,61
подарить N_a	32	27	0,84	*помешать* N_d	17	15	0,88
подарить N_d	32	30	0,94	*принадлежать* N_d	21	19	0,9
вынести N_a	22	22	1	*подарить* N_d	32	30	0,94

Перейдем к более сложному вопросу о том, как измерять силу управления глагола по отношению к безразличному составу подчинимых форм. Безразличный состав подчинимых форм — это дизъюнкция (в принципе — исключительная) всех возможных при данном глаголе непустых составов подчинимых форм, ср.

$$\textit{Зависеть} \left\{ \textit{от } N_g \right\} \textit{нравиться} \left\{ \begin{matrix} N_d \\ \varnothing \end{matrix} \right\} \textit{отличаться} \left\{ \begin{matrix} \textit{от } N_g \\ N_i \\ \textit{от } N_g N_i \\ \textit{от } N_g \textit{ в } N_p \end{matrix} \right\}$$

Дизъюнкция составов подчинимых форм при данном глаголе может быть обязательной (или факультативной) в большей или меньшей степени. Под степенью обязательности некоторой дизъюнкции составов подчинимых форм при данном глаголе понимается условная вероятность появления какого-либо непустого состава подчинимых форм при условии, что уже появился данный глагол. Эта условная вероятность обозначается в дальнейшем символом P_2.

Естественно считать, что сила управления глагола как такового зависит от того, насколько обязательной является дизъюнкция составов подчинимых форм при данном глаголе. Чем она обязательней (т. е. чем меньше вероятность появления пустого состава при данном глаголе), тем больше сила управления у данного глагола; чем она факультативной (т. е. чем больше вероятность появления пустого состава при данном глаголе), тем меньше сила управления у данного глагола.

Итак, сила управления глагола в целом, которую мы будем обозначать символом G_v, зависит от условной вероятности P_2. Можно ли считать, что G_v не зависит ни от каких других факторов, кроме P_2, и равна P_2? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим следующие примеры. Если бы нам

[13] Фактически вычисляется не вероятность, а относительная частота события, являющаяся эмпирическим аналогом вероятности.

предложили расположить глаголы *заниматься, руководить, пользоваться* в порядке возрастания силы управления, мы бы, видимо, расположили их именно в том порядке, в котором они стоят здесь (можно сказать *он занимается*, но нельзя сказать ни * *он руководит*, ни * *он пользуется*; глагол *руководить* употребляется абсолютивно с модальными глаголами, ср. *он умеет руководить*, а глагол *пользоваться* ни при каких условиях, за исключением случаев эллипса, абсолютивно не употребляется). Между тем для *заниматься* и *пользоваться* $P_2 = 0{,}92$, а для *руководить* $P_2 = 0{,}85$. Таким образом, если бы мы считали, что $G_v = P_2$, мы бы получили для указанных трех глаголов такие оценки их силы управления, которые расходятся с нашими интуитивными представлениями. Другой пример: из двух глаголов — *играть* и *нравиться* — мы воспринимаем первый как слабо управляющий, а второй — как сильно управляющий. Между тем для *играть* $P_2 = 0{,}9$ а для *нравиться* $P_2 = 0{,}85$ (т. е. *играть* употребляется с пустым составом реже, чем *нравиться*). Однако *играть* уступает *нравиться* в другом отношении: *нравиться* имеет всего один непустой состав подчинимых форм (N_d) и предсказывает его с очень большой вероятностью (0,85), в то время как *играть* имеет 8 непустых составов подчинимых форм (для N_g, *у* N_g, N_a, *в* N_a, N_i, *с* N_i, *в* N_p, *на* N_p) и не предсказывает ни один из них с вероятностью, большей 0,25.

Видимо, когда мы говорим о сильно управляющих глаголах, мы руководствуемся не только тем, что они редко употребляются с пустым составом подчинимых форм, но и тем, что у каждого из них есть такой состав подчинимых форм, с которым они употребляются очень часто. Поэтому более тонкое представление о силе управления глагола дает функция

$$G_v = P_2 \; P_1 max,$$

где $P_1 max$ — вероятность появления наиболее частого при данном глаголе состава подчинимых форм, т. е. максимальная из всех возможных для данного глагола P_1. Если измерять силу управления глагола таким способом, то глаголы в наших двух примерах расположатся в «правильном» порядке, ср. *заниматься* (N_i) — $G_v = 0{,}57$; *руководить* (N_i) — $G_v = 0{,}72$; *пользоваться* (N_i) — $G_v = 0{,}85$; для другого примера *играть* (в N_a) — $G_v = 0{,}22$; *нравиться* (N_d) — $G_v = 0{,}72$.

Мы уже говорили о том, как практически вычислять P_1; что касается P_2, то для определения ее значения необходимо разделить сумму частот всех возможных при данном глаголе непустых составов подчинимых форм на частоту самого глагола. Примеры (в скобках указан состав, для которого P_1 максимальна):

	G_v		G_v
дышать (N_i)	0,07	*покачать* (N_i)	0,67
кивать (N_i)	0,33	*руководить* (N_i)	0,72
кивнуть (N_i)	0,39	*любоваться* (N_i)	0,77
пожать (N_i)	0,52	*пользоваться* (N_i)	0,85
заниматься (N_i)	0,57	*махнуть* (N_i)	0,95
развести (N_i)	0,6	*интересоваться* (N_i)	1

По всей видимости, сила управления глагола определяется рядом других факторов. Наблюдения над материалом позволяют, например, сформулировать следующую гипотезу об обратной зависимости между связями управления и связями примыкания[14]: чем больше доля связей управления

[14] Здесь имеется в виду только классическое примыкание, т. е. зависимость обстоятельства, выраженного наречием, от глагола или прилагательного.

в множестве подчинительных связей данного слова, рассматриваемого в качестве главного, тем меньше доля связей примыкания, и наоборот. Это значит, что, при прочих равных условиях, обстоятельства-наречия чаще употребляются при слабо управляющих глаголах и реже — при сильно управляющих. Данная гипотеза косвенно подтверждается следующими соображениями. Наречия при слабо управляющих глаголах употребляются не только н а р я д у с предложными или беспредложными группами существительных, но и в м е с т о них; слабо управляемое существительное стоит, по существу, в позиции обстоятельства, которая обычно замещается наречием; ср. *смотреть с хитринкой — смотреть хитро, идти час — идти долго, приехать в январе — приехать тогда, лететь стрелой — лететь быстро* и т. п. В противоположность этому наречия не употребляются в м е с т о сильно управляемых существительных, но только н а р я д у с ними (за исключением омонимичных наречий типа франц. *y*, например, *j'y pense*); ср. *сопоставить копию с оригиналом — умело сопоставить копию с оригиналом, любить сына — нежно любить сына, участвовать в сборе средств — всегда участвовать в сборе средств, интересоваться поэзией — всегда интересоваться поэзией* и т. п. Поэтому, при прочих равных условиях, на один случай употребления наречия при сильно управляющем глаголе придется более одного случая употребления наречия при слабо управляющем глаголе.

Если бы эксперимент показал, что высказанная здесь гипотеза верна, то сила управления глагола зависела бы еще от условий вероятности P_3 появления некоторого обстоятельства-наречия при условии, что уже появился данный глагол. Эту зависимость разумно было бы считать обратно пропорциональной, и поэтому сила управления глагола измерялась бы так:

$$G_v = \frac{P_2 \cdot P_1 max}{P_3}$$

К сожалению, в частотном словаре Э. А. Штейнфельдт не содержится никаких статистических данных о примыкании, и поэтому мы вынуждены ограничиться сделанными выше замечаниями.

2. Определение границы между сильным и слабым управлением

Изложенная выше процедура дает нам возможность оценить силу управления глагола данным составом подчинимых форм и силу управления глагола как такового. Она, однако, не дает нам никаких оснований для проведения границы между классами единиц (комплексов и глаголов) с сильным и слабым управлением.

Было бы нетрудно провести такую границу, если бы между этими двумя крайними классами был разрыв, т. е. если бы значения функций $G_k = P_1$ и $G_v = P_2 \cdot P_1 max$ были очень большими для одной группы комплексов и глаголов и очень маленькими для другой, а промежуточные значения были бы невозможны. Однако действительная картина гораздо сложнее: обе функции изменяются постепенно на всем отрезке [0,1]. В таких случаях обычно вводятся эмпирические пороги; глагол V_i мог бы считаться сильно управляющим, если бы значение G_v для него было больше некоторого произвольно установленного числа или равно ему, и слабо управляющим, если бы значение G_v было меньше этого числа. Такой способ решения занимающего нас вопроса кажется нам теоретически мало интересным. Предпочтительнее попытаться отыскать порог в самом мате-

риале, подобно тому, как это делается, применительно к другим задачам, в замечательных работах Б. В. Сухотина [15].

В нашем случае отыскать порог в материале значит предложить определенную числовую функцию, на основе которой можно было бы объективно судить о том, где проходит граница между сильным и слабым управлением.

В основе предлагаемой нами функции лежит следующее общее представление: когда в языке по какому-либо признаку выделяются два крайних, взаимно исключающих друг друга типа A и B, это значит, что единиц, принадлежащих либо типу A, либо типу B, значительно больше, чем единиц, принадлежащих и типу A и типу B. Это связано с общим кодовым свойством языка избегать омонимов, т. е. единиц, которые по некоторому признаку попадают сразу в несколько взаимно исключающих друг друга классов. Поэтому в языке омонимов всегда меньше, чем «чистых» (однозначных) единиц.

Рис. 1

Во всех таких случаях признак, который в принципе является строго двоичным (ср. *сильное* и *слабое управление*), фактически изменяется постепенно из-за наличия в языке некоторых искажающих влияний («шумов»). Если бы у нас был метод для измерения степени признака, мы могли бы построить функцию, аргументом которой является числовое значение признака (оно откладывается на оси абсцисс), а значением — число объектов, обладающих этим признаком в данной степени (оно откладывается на оси ординат). Такая функция должна иметь в какой-то точке абсолютный минимум. Эта точка является пограничной между типами A и B.

Вернемся к нашей задаче. Построим функцию, аргументом которой является числовое значение силы управления, измеренное предложенным выше способом, а значением — число элементов (комплексов или глаголов) с данной силой управления. Если верна наша общая гипотеза, то указанная функция будет иметь в какой-то точке абсолютный минимум [16]. Здесь и будет проходить граница между сильным и слабым управлением.

Можно предполагать, что данная функция будет иметь и некоторые относительные минимумы. Их тоже можно разумным образом интерпретировать как границы подтипов сильного и слабого управления [17].

Отметим, что для проведения границы между сильным и слабым управлением (как и во всех аналогичных задачах) не требуется, чтобы число сильно управляющих единиц было равно или близко числу слабо управляющих единиц, т. е. чтобы график функции начинался и заканчивался

---

[15] См.: Б. В. Сухотин, Экспериментальное выделение классов букв с помощью электронной вычислительной машины. Сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962; его же, Алгоритмы лингвистической дешифровки, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1963.

[16] Само собой разумеется, что далеко не всякая числовая функция, являющаяся аналогом какого-либо лингвистического понятия, имеет минимум. Более того, минимума может не быть даже у функции, описывающей управление в терминах введенных нами понятий. Все зависит от того, какие множества выбраны в качестве области определения функции и области ее значений. Так, если бы на оси абсцисс мы откладывали число глаголов (от 1 до n), а на оси ординат — величину силы управления, которая характеризует данное число глаголов, у нас бы получилась «прыгающая» функция, не дающая полезной информации о классах сильного и слабого управления.

[17] Ср. традиционное учение о степенях управления.

на одинаковой высоте и был бы симметричным. Необходимо только, чтобы после «спуска» до абсолютно минимальной точки у графика функции был «подъем».

По всей видимости, указанную функцию целесообразно использовать и в других случаях, когда необходимо разбить на два взаимно исключающих друг друга класса такое множество, элементы которого различаются не наличием — отсутствием признака, а степенью признака, причем изменение (нарастание или убывание) признака носит постепенный характер. Возможно, что к числу таких задач относится задача разграничения устойчивых и неустойчивых словосочетаний[18], свободных словосочетаний и фразеологических единиц, качественных и относительных прилагательных и т. д.

3. Эксперименты

В приложении к частотному словарю Э. А. Штейнфельдт дан небольшой справочник по глагольному управлению, содержащий 603 глагола. Из них 106 имеют чисто видовые соответствия (ср. *выдать — выдавать*, *бросить — бросать*), так что число всех различных глаголов равно 497. Для проведения экспериментов чисто видовые пары были объединены, и из 497 глаголов было отобрано 404. Не учитывались связочные глаголы типа *бывать*, *выглядеть*, употребляющиеся с существительными и прилагательными в твор. падеже, а также большинство глаголов, помеченных в словаре звездочкой. Данные об управлении этих глаголов были собраны составителями словаря не по всем текстам. Из числа таких глаголов нами были учтены лишь те, для которых $P_2 \geqslant 0{,}8$.

Для каждого глагола в словаре указаны: 1) его частотность (число появлений на 400 000 слов текста) и 2) частотность той или иной падежной формы управляемого существительного (с предлогом или без предлога). Возьмем например, глагол *вызвать*. Он встретился в выборке 68 раз; при этом *вызвать из* N_g встретилось 2 раза, *вызвать с* N_g — 1, *не вызвать* N_g — 3, *вызвать у* N_g — 3, *вызвать к* N_d — 5, *вызвать* N_a — 60, *вызвать в* N_a — 6, *вызвать на* N_a — 7. Важно отметить, что в словаре не приводятся данные об употребительности всех возможных при некотором глаголе составов подчинимых форм. В нем не учитывается управление инфинитивом и совершенно нет сведений о двойном и тройном управлении типа *вызвать* N_a *у* N_g (ср. *Это вызвало у него припадок кашля*), *вызвать* N_a *из* N_g в N_a (ср. *Он вызвал меня из деревни в столицу*), хотя пары V *из* N_g, V *с* N_g, V *у* N_g и некоторые другие, по всей видимости, самостоятельно не употребляются (во всех этих случаях в состав подчинимых форм входит N_a). Из-за этой неточности сумма частот управляемых падежей, по данным словаря, нередко превосходит частоту самого управляющего глагола (ср. глагол *вызвать*).

При составлении комплексов по этим данным: 1) *не* VN_g объединяется либо с VN_a (ср. *вызвать*), либо с VN_g (ср. *бояться*, *попросить*); если *не* VN_g употребляется в безличном предположении, так что в утвердительной форме существительному в род. падеже соответствует существительное в им. падеже, то *не* VN_g рассматривается как самостоятельный комплекс (ср. *там не оказалось* или *не осталось людей*); 2) *не* VN_a объединяется с VN_a (ср. *замечать*, *видеть*, *оставить*); 3) личное местоименение в косвенном падеже рассматривается как существительное в соответствующем падеже; 4) количественное числительное с существительным

[18] Степень устойчивости словосочетания поддается измерению; см. И. А. Мельчук, О терминах «устойчивость» и «идиоматичность», ВЯ, 1960, 4.

в род. падеже объединяется с N_a при переходных глаголах (ср. *внести, выдать*) и с N_g при глаголах, не управляющих вин. падежом существительного (таков, по данным словаря, глагол *купить*); 5) если сумма частот управляемых падежей превосходит частоту самого глагола, то P_2 условно принимается равной единице [19]. Учитываются все комплексы, встретившиеся в текстах не менее 4 раз.

Всего с указанными ограничениями на основе 404 глаголов был построен 861 комплекс. Для каждого из них с точностью до 0,01 было вычислено значение функции G_k. Для каждого глагола с той же степенью точности было вычислено значение функции G_v. Этот материал и был подвергнут экспериментальному обследованию.

Если бы мы располагали полной и точной информацией о силе глагольного управления, то для разграничения классов сильного и слабого управления в множествах комплексов и глаголов достаточно было бы провести по одному эксперименту на каждый из этих случаев. К сожалению, данные, которыми мы фактически располагаем, не являются ни достаточно полными, ни достаточно точными.

1. *Мало́ число комплексов, для которых значение функции* P_1 *может* быть вычислено с относительно небольшой ошибкой, не превышающей 0,3 [20] (для этого каждый из них должен был встретиться в выборке не менее 40 раз). Таких комплексов всего 110. Однако на основе столь незначительного материала нельзя строить функцию, изменение которой носит постепенный характер. Поэтому пришлось расширить материал за счет комплексов, для которых значение функции P_1 вычисляется с довольно значительной относительной ошибкой. Чтобы выяснить, какое влияние оказывают менее точные данные на местоположение границы между сильным и слабым управлением и на самый характер изменения функции, было проведено две серии экспериментов. В одной серии экспериментов, где каждый комплекс представлен не менее чем четырьмя употреблениями, а общее число комплексов равно 861, относительная ошибка колебалась в пределах $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$. В другой серии экспериментов, где каждый комплекс представлен не менее чем 13 употреблениями, а общее число комплексов равно 423, относительная ошибка колеблется в пределах $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 0{,}54$. Число глаголов для двух серий экспериментов равно соответственно 404 и 290.

2. Если некоторая экспериментальная функция строится на основе изучения ограниченной выборки, то вид ее графика зависит от того, какая единица выбирается для измерения значений аргумента (т. е. от величины шага или числа точек, по которым строится график). В принципе график тем точнее, чем меньше шаг (т. е. чем больше число точек, по которым он строится). Однако если шаг слишком мал, а выборка невелика, то график имеет нерегулярный вид, потому что его искажают шумы. С другой стороны, нельзя чрезмерно увеличивать шаг, потому что в этом случае утрачивается существенная информация о поведении графика функции в определенных точках. Чтобы выяснить, какое влияние оказывает выбор величины шага на местоположение границы между сильным

---

[19] Поскольку по данным словаря значения функции P_2 не всегда могут быть вычислены точно, данные о силе управления глаголов в целом являются менее надежными, чем данные о силе управления глаголов в комплексах.

[20] Мы предполагаем (вместе с автором словаря), что тип распределения изучаемых нами единиц допускает вычисление относительной ошибки по формуле $\sigma = \frac{2}{\sqrt{N_p}}$.

О типах распределения слов в тексте см.: Р. М. Ф р у м к и н а, О законах распределения слов и классов слов, сб. «Структурно-типологические исследования», М., 1962.

и слабым управлением и на характер изменения функции, было проведено две серии экспериментов. В одной серии шаг был равен 0,05, а в другой — 0,1 [21].

Всего было проведено восемь экспериментов: четыре — по выяснению границы между классами (и подклассами) комплексов с сильным и слабым управлением и четыре по выяснению границы между классами (и подклассами) сильно и слабо управляющих глаголов. Условно эти эксперименты можно изобразить на следующих схемах:

$G_k = P_1$

	$0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$	$0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 0{,}54$
шаг = 0,1	1	3
шаг = 0,05	2	4

$G_v = P_2 \cdot P_1 max$

	$0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$	$0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 0{,}54$
шаг = 0,1	1	3
шаг = 0,05	2	4

Ниже приводятся таблицы для всех экспериментов и графики для некоторых из них.

Результаты этих экспериментов следует признать весьма удовлетворительными. Во всех четырех случаях минимум есть, и он находится в одной и той же точке 0,7 [22], которая, следовательно, является пограничной между сильным и слабым управлением. Самую минимальную точку можно относить либо к сильному, либо к слабому управлению. Мы относим ее к сильному управлению и, следовательно, считаем комплексами с сильным управлением все комплексы, для которых $G_k \geqslant 0{,}7$.

Поскольку во всех четырех экспериментах минимум приходится на одну и ту же точку 0,7, граница между сильным и слабым управлением постоянна. В разных экспериментах не происходит перераспределения материала между классами сильного и слабого управления: если какой-либо комплекс отнесен к классу сильного управления в одном эксперименте, он будет отнесен к этому же классу в трех других экспериментах. Общий список комплексов с сильным управлением для всех четырех экспериментов насчитывает 159 элементов.

Итак, изменения в методике проведения экспериментов не оказывают влияния на местоположение границы между классами комплексов с сильным и слабым управлением. Посмотрим теперь, влияют ли эти изменения на общее поведение функции. Данный вопрос сводится к вопросу об относительных минимумах функции.

В первом, самом грубом эксперименте (шаг $= 0{,}1$; $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$) относительные минимумы не были обнаружены. Во втором эксперименте (шаг $= 0{,}05$; $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$) имеется четыре относительных минимума: (1) 0,15, (2) 0,35, (3) 0,45, (4) 0,95. В третьем эксперименте (шаг $= 0{,}1$; $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 0{,}54$) имеется один относительный минимум в точке 0,5. Наконец,

[21] Был проведен еще один эксперимент, в котором величина шага была наименьшей из всех возможных и равнялась 0,01. Хотя график функции $G_v = P_2 \cdot P_1 max$ имел весьма нерегулярный вид, абсолютный минимум пришелся на ту же точку, что и в эксперименте с величиной шага 0,05.

[22] Вообще говоря, минимумом является не точка, а небольшой отрезок (отрезок [0,6, 0,7] для экспериментов с шагом 0,1 и отрезок [0,65, 07] для экспериментов с шагом 0,05). В качестве представителя всего отрезка мы рассматриваем его крайнюю правую точку. Такое решение, конечно, несколько условно, но в данном случае важны не технические детали, а принципиальный факт наличия минимума.

Таблица 1

Сила управления глагола в комплексе ($G_k = P_1$)

$0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$				$0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 0{,}54$			
сила управления	кол-во глаголов	сила управления	кол-во глаголов	сила управления	кол-во глаголов	сила управления	кол-во глаголов
до 0,1	276	до 0,05	143	до 0,1	59	до 0,05	21
		до 0,1	133			до 0,1	38
до 0,2	151	до 0,15	69	до 0,2	55	до 0,15	29
		до 0,2	82			до 0,2	26
до 0,3	95	до 0,25	53	до 0,3	41	до 0,25	21
		до 0,3	42			до 0,3	20
до 0,4	64	до 0,35	29	до 0,4	34	до 0,35	15
		до 0,4	35			до 0,4	19
до 0,5	46	до 0,45	23	до 0,5	25	до 0,45	12
		до 0,5	23			до 0,5	13
до 0,6	42	до 0,55	25	до 0,6	31	до 0,55	19
		до 0,6	17			до 0,6	12
до 0,7	27	до 0,65	17	до 0,7	19	до 0,65	12
		до 0,7	10			до 0,7	7
до 0,8	36	до 0,75	17	до 0,8	35	до 0,75	16
		до 0,8	19			до 0,8	19
до 0,9	65	до 0,85	33	до 0,9	65	до 0,85	33
		до 0,9	32			до 0,9	32
до 1	59	до 0,95	29	до 1	59	до 0,95	29
		до 1	30			до 1	30

в четвертом эксперименте (шаг $= 0{,}05$; $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 0{,}54$) имеется три относительных минимума: (1)0,35, (2)0,45, (3)0,95. С учетом абсолютного минимума получается пять «критических» точек: (1)0,15, (2)0,35, (3)0,45—0,5, (4)0,7, (5)0,95. Эти точки делят все множество комплексов на шесть классов: четыре класса комплексов со слабым управлением и два класса комплексов с сильным управлением. Представление о составе этих классов дают следующие примеры:

1. $0 < G_k < 0{,}15$. *давать* N_g, *купить* N_g, *взять для* N_g, *выбирать для* N_g, *вернуться из* N_g, *звонить из* N_g, *ждать от* N_g, *остаться от* N_g,

брать с N_g, встать с N_g, идти с N_g, висеть у N_g, ждать у N_g, бросать N_g, найти N_d, нести N_d, бежать к N_d, вернуться к N_d, лететь к N_d, бежать по N_d, идти по N_d, называть по N_a; взглянуть в N_a, взять в N_a, встать в N_a, готовиться в N_a, звонить в N_a, идти в N_a, обращаться в N_a, отходить в N_a, взять за N_a, давать за N_a, ответить за N_a, бежать на N_a, брать на N_a, встать на N_a, идти на N_a, лететь на N_a, остаться на N_a, отправиться на N_a; встречать N_i, ответить N_i, бежать за N_i, держать за N_i, обращаться за N_i, вернуться с N_i, жить с N_i, заниматься с N_i, ответить с N_i; видеть в N_p, висеть в N_p, ждать в N_p, замечать в N_p, встречать на N_p, жить на N_p, лететь на N_p, найти на N_p, оказаться на N_p, отметить на N_p, жалеть о N_p, знать о N_p.

2. $0{,}15 \leqslant G_k < 0{,}35$. *бояться N_g, ожидать N_g, выехать из N_g, доставить из N_g, освободить от N_g; выдать N_d, желать N_d, звонить N_d, написать N_d, научить N_d, обеспечить N_d, лезть к N_d, отправиться к N_d, водить по N_d; забыть N_a, играть N_a, наблюдать N_a, бежать в N_a, бросать в N_a, вернуться в N_a, глядеть в N_a, играть в N_a, лезть в N_a, водить на N_a, вывести на N_a, выехать на N_a, направить на N_a; бить N_i, закрыть N_i, бороться с N_i, лезть с N_i, обращаться с N_i; бывать в N_p, держать в N_p, жить в N_p, записать в N_p; играть на N_p, нести на N_p, беседовать о N_p, говориться о N_p, докладывать о N_p, забыть о N_p, напомнить о N_p.*

3. $0{,}35 \leqslant G_k < 0{,}5$. *вывести из N_g, вытащить из N_g, отказываться от N_g, отходить от N_g; верить N_d, докладывать N_d, обойтись N_d, направиться к N_d, обернуться к N_d; ждать N_a, замечать N_a, вмешаться в N_a, вести на N_a, глядеть на N_a; клевать N_i, обеспечить N_i; говориться в N_p, висеть на N_p.*

4. $0{,}5 \leqslant G_k < 0{,}7$. *желать N_g, набрать N_g, отличаться от N_g, отставать от N_g; мешать N_d, отдавать N_d; водить N_a, давать N_a, написать N_a, отметить N_a, внести в N_a, войти в N_a, бороться за N_a, глянуть на N_a; заниматься N_i, отличаться N_i, наблюдать за N_i, знакомиться с N_i.*

5. $0{,}7 \leqslant G_k < 0{,}95$. *добраться до N_g, дойти до N_g, вынуть из N_g; завидовать N_d; нравиться N_d; подарить N_d, принадлежать N_d, готовиться к N_d, обращаться к N_d, прислушиваться к N_d; беречь N_a, брать N_a, бросать N_a, везти N_a, волновать N_a, встречать N_a, выдать N_a, вызвать N_a, готовить N_a, держать N_a, доставать N_a, закрыть N_a, звать N_a, избрать N_a, класть N_a, найти N_a, направить N_a, нести N_a, обеспечить N_a, подарить N_a, вступить в N_a, взглянуть на N_a, обратить на N_a; любоваться N_i; пахнуть N_i, покачать N_i, пользоваться N_i, руководить N_i; беседовать с N_i, дружить с N_i.*

6. $0{,}95 \leqslant G_k \leqslant 1$. *добиваться N_g, касаться N_g, зависеть от N_g; отнестись к N_d; внести N_a, выполнить N_a, выражать N_a, вытащить N_a, забрать N_a, завоевать N_a, заменить N_a, занять N_a, изучить N_a, надеть N_a, обнять N_a, обратить N_a, освободить N_a, осмотреть N_a; гордиться N_i, интересоваться N_i, махнуть N_i, ухаживать за N_i; заботиться об N_p.*

Не останавливаясь пока на интерпретации этих данных, рассмотрим результаты экспериментов по выяснению границы между классами сильно и слабо управляющих глаголов.

Результаты этих четырех экспериментов представляются нам удовлетворительными. Абсолютный минимум обнаружен во всех экспериментах, но в разных экспериментах он приходится на разные точки. В двух случаях из четырех (для $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$ и $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 0{,}54$ при величине шага 0,1) минимум приходится на точку 0,6. В одном случае (для $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$ при величине шага 0,05) имеется два одинаковых минимума: в точке 0,3 и в точке 0,65. Из этих двух точек для данного эксперимента следует предпочесть точку 0,65 как действительный минимум, поскольку общее число

Таблица 2

Сила управления глагола в целом ($G_v = P_2 \cdot P_1 max$)

$0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$				$0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 0{,}54$			
сила управления	кол-во глаголов	сила управления	кол-во глаголов	сила управления	кол-во глаголов	сила управления	кол-во глаголов
до 0,1	72	до 0,05	42	до 0,1	26	до 0,05	16
		до 0,1	30			до 0,1	10
до 0,2	59	до 0,15	34	до 0,2	32	до 0,15	15
		до 0,2	25			до 0,2	17
до 0,3	29	до 0,25	20	до 0,3	17	до 0,25	12
		до 0,3	9			до 0,3	5
до 0,4	41	до 0,35	23	до 0,4	28	до 0,35	18
		до 0,4	18			до 0,4	10
до 0,5	22	до 0,45	10	до 0,5	17	до 0,45	8
		до 0,5	12			до 0,5	9
до 0,6	21	до 0,55	11	до 0,6	15	до 0,55	8
		до 0,6	10			до 0,6	7
до 0,7	21	до 0,65	9	до 0,7	17	до 0,65	7
		до 0,7	12			до 0,7	10
до 0,8	38	до 0,75	16	до 0,8	37	до 0,75	15
		до 0,8	22			до 0,8	22
до 0,9	49	до 0,85	20	до 0,9	49	до 0,85	20
		до 0,9	29			до 0,9	29
до 1	52	до 0,95	24	до 1	52	до 0,95	24
		до 1	28			до 1	28

глаголов в этой точке и ее ближайшей окрестности — точках 0,6 и 0,7 — значительно меньше общего числа глаголов в точке 0,3 и ее ближайшей окрестности — точках 0,25 и 0,35 (31 против 51). Наконец, в последнем эксперименте (для $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 0{,}54$ при шаге 0,05) минимум приходится на точку 0,3.

Поскольку в трех экспериментах граница между классами сильно и слабо управляющих глаголов практически постоянна, перераспределение глаголов между классами сильного и слабого управления незначительно.

Лишь в четвертом эксперименте, где минимум падает на точку 0,3, между этими классами происходит значительное перераспределение материала. Общий список сильно управляющих глаголов для четырех насчитывает 149 элементов. Кроме того, в список сильно управляющих глаголов по первому эксперименту входит еще 12 глаголов, по второму — три из числа этих 12, по третьему — шесть из числа тех же 12 глаголов и по четвертому — 68 глаголов.

Итак, в трех случаях из четырех изменения в методике проведения экспериментов не оказывают существенного влияния на местоположение границы между классами сильно и слабо управляющих глаголов. Нам остается выяснить вопрос о том, влияют ли эти изменения на общее поведение

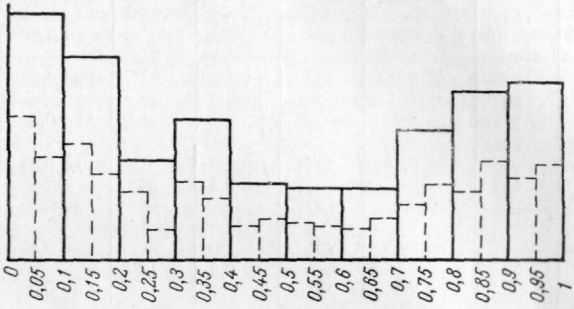


Рис. 2. График зависимости числа глаголов от силы управления для $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$ при шаге 0,1 (—)и 0,05 (— — — —)

функции, т. е. вопрос об относительных минимумах. В первом, самом грубом эксперименте (шаг = 0,1; $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$) имеется всего один относительный минимум — в точке 0,3. Во втором эксперименте (шаг = 0,05; $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$) относительных минимумов — пять: (1) 0,1, (2) 0,3, (3) 0,45, (4) 0,85, (5) 0,95. В третьем эксперименте (шаг = 0,1; $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 054$) имеется один относительный минимум в точке 0,3. Наконец, в четвертом эксперименте (шаг = 0,05; $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 0{,}54$) в точку 0,3 перемещается абсолютный минимум; кроме него, имеется пять относительных минимумов: (1) 0,1, (2) 0,45, (3) 0,6, (4) 0,85, (5) 0,95. С учетом абсолютного минимума получается шесть «критических» точек: (1) 0,1, (2) 0,3, (3) 0,45, (4) 0,6 — 0,65, (5) 0,85, (6) 0,95. Эти точки делят все множество глаголов по признаку силы управления на семь классов. Представление о составе этих классов дают следующие примеры (после глагола указывается форма, для которой P_1 максимальна):

1. $0 < G_v < 0{,}1$. *купить* N_g, *попросить* N_g, *вскочить с* N_g, *получаться у* N_g; *крикнуть* N_d, *полагаться* N_d, *прийтись* N_d, *стремиться к* N_d, *разойтись по* N_d; *закурить* N_a, *попробовать* N_a, *продолжать* N_a, *пройти* N_a, *бежать в* N_a, *идти в* N_a, *лететь в* N_a, *собираться в* N_a, *явиться в* N_a, *встать на* N_a, *действовать на* N_a, *оглянуться на* N_a, *подниматься на* N_a; *кончиться* N_i, *меняться* N_i, *остаться* N_i, *сидеть за* N_i, *произойти с* N_i; *вырасти в* N_p, *гореть в* N_p, *звучать в* N_p, *исчезать в* N_p, *пропасть в* N_p, *раздаться в* N_p, *собираться в* N_p, *ехать на* N_p, *останавливаться на* N_p, *заговорить о* N_p, *подумать о* N_p.

2. $0{,}1 \leqslant G_v < 0{,}3$. *бояться* N_g, *выехать из* N_g, *доноситься из* N_g, *стрелять из* N_g, *торчать из* N_g, *отвернуться от* N_g, *нестись с* N_g; *ве-*

рить N_d, звонить N_d, казаться N_d, позволять N_d, предложить N_d, обернуться к N_d, побежать к N_d, гулять по N_d, расходиться по N_d; вести N_a, видеть N_a, есть N_a, ждать N_a, запеть N_a, начать N_a, писать N_a, пить N_a, пробовать N_a, просить N_a, слышать N_a, узнать N_a, вернуться в N_a, вмешаться в N_a, дуть в N_a, зайти в N_a, играть в N_a, поехать в N_a, полететь в N_a, поступить в N_a, держаться за N_a, выступать на N_a, глядеть на N_a, лечь на N_a, опускаться на N_a, падать на N_a, садиться на N_a, смотреть на N_a; называться N_i, договориться с N_i, лезть с N_i, считаться с N_i; бывать в N_p, жить в N_p, мелькнуть в N_p, разобраться в N_p, родиться в N_p, плавать на N_p, появиться на N_p, стоять на N_p, беспокоиться о N_p.

3. $0{,}3 \leqslant G_v < 0{,}45$. *вылезти из N_g, выскочить из N_g, отойти от N_g, отстать от N_g; докладывать N_d, мешать N_d, помочь N_d, бросаться к N_d, повернуться к N_d, шагнуть к N_d, пробежать по N_d; бить N_a, видать N_a, ожидать N_a, послушать N_a, почувствовать N_a, предупредить N_a, решать N_a, слушать N_a, читать N_a, чувствовать N_a, войти в N_a, ездить в N_a, заглядывать в N_a, кинуться в N_a, попасть в N_a, перейти на N_a, поглядеть на N_a, посмотреть на N_a, присесть на N_a, кивать N_i, ударить N_i; возиться с N_i, разговаривать с N_i; говориться в N_p, висеть на N_p, судить о N_p.*

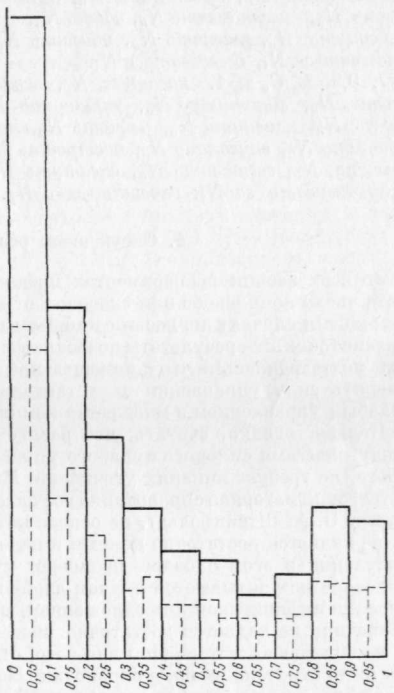


Рис. 3. График зависимости числа комплексов от силы управления для $0{,}11 \leqslant \sigma \leqslant 1$ при шаге 0,1 (—) и 0,05 (— — — —)

4. $0{,}45 \leqslant G_v < 0{,}65$. *желать N_g, набрать N_g, требовать N_g, дойти до N_g; показаться N_d, готовиться к N_d, бродить по N_d; водить N_a, волновать N_a, допустить N_a, записать N_a, кончить N_a, объявить N_a, советовать N_a, терпеть N_a; направиться в N_a, бороться за N_a, взяться за N_a, глянуть на N_a, указать на N_a; заниматься N_i, пожать N_i, развести N_i, наблюдать за N_i, встречаться с N_i, дружить с N_i; побывать в N_p, состоять в N_p.*

5. $0{,}65 \leqslant G_v < 0{,}85$. *пожелать N_g, обойтись без N_g, добраться до N_g, отличаться от N_g; завидовать N_d, нравиться N_d, помешать N_d, понравиться N_d, подходить к N_d, беречь N_a, брать N_a, бросать N_a, вывести N_a, держать N_a, доставать N_a, задать N_a, закончить N_a, застать N_a, звать N_a, избрать N_a, иметь N_a, искать N_a, использовать N_a, ловить N_a, нести N_a, обнаружить N_a, обсуждать N_a, передавать N_a, пережить N_a, подвести N_a, поздравлять N_a, положить N_a, полюбить N_a, посадить N_a, прислать N_a, протянуть N_a, прочесть N_a, пустить N_a,*

совершать N_a, *спасти* N_a, *тащить* N_a, *терять* N_a, *тронуть* N_a, *уважать* N_a, *хватать* N_a, *целовать* N_a; *любоваться* N_i, *пахнуть* N_i, *покачать* N_i, *руководить* N_i.

6. $0{,}85 \leqslant G_v < 0{,}95$. *добиваться* N_g; *принадлежать* N_d, *обратиться к* N_d; *везти* N_a, *воспитывать* N_a, *встретить* N_a, *выдать* N_a, *вызвать* N_a, *вынуть* N_a, *выражать* N_a, *готовить* N_a, *защищать* N_a, *класть* N_a, *кормить* N_a, *найти* N_a, *наладить* N_a, *обеспечить* N_a, *оказать* N_a, *оставить* N_a, *открыть* N_a, *подарить* N_a, *поднимать* N_a, *покупать* N_a, *получать* N_a, *потерять* N_a, *пригласить* N_a, *приготовить* N_a, *принять* N_a, *производить* N_a, *разглядывать* N_a, *сдать* N_a, *создать* N_a, *ставить* N_a, *строить* N_a, *сунуть* N_a, *таскать* N_a, *убирать* N_a, *вступить в* N_a; *гордиться* N_i, *пользоваться* N_i, *беседовать с* N_i.

7. $0{,}95 \leqslant G_v \leqslant 1$. *касаться* N_g, *зависеть от* N_g; *отнестись к* N_d; *внести* N_a, *выполнить* N_a, *вытащить* N_a, *забрать* N_a, *завоевать* N_a, *зажечь* N_a, *изменить* N_a, *изучать* N_a, *мыть* N_a, *надеть* N_a, *обнять* N_a, *обратить* N_a, *опустить* N_a, *построить* N_a, *разбирать* N_a, *раскрыть* N_a, *сложить* N_a, *составить* N_a, *схватить* N_a; *интересоваться* N_i, *махнуть* N_i, *ухаживать за* N_i; *заботиться о* N_p.

4. Обсуждение результатов

Во всех восьми экспериментах предложенная нами функция зависимости числа комплексов или глаголов от их силы управления имеет минимум; в семи случаях из восьми минимум приходится на одну и ту же или близкие точки. Эти результаты позволяют считать, что первоначальная гипотеза подтвердилась и что с помощью предложенного здесь метода можно измерять силу управления и устанавливать границу между сильным и слабым управлением в множестве комплексов и глаголов.

Нельзя, однако, считать, что распределение глаголов и комплексов между классами сильного и слабого управления, полученное в настоящей работе, не требует никаких уточнений. Мы уже говорили о том, что статистический материал справочника по глагольному управлению в частотном словаре Э. А. Штейнфельдт, на основе которого проводились эксперименты, не является достаточно полным и надежным, а трактовка глагольного управления в этом словаре не может считаться вполне корректной[23]. В словаре не учитываются случаи двойного и тройного управления, управления инфинитивом и предложением, случаи примыкания. Кроме того, справочник не является достаточно представительным, поскольку выборка, послужившая материалом для него, относительно невелика по объему. Как было отмечено выше, в справочник вошло всего 497 глаголов (не считая чисто видовых парных соответствий). Эти глаголы являются наиболее частотными и, следовательно, наиболее многозначными глаголами русского языка, и поэтому каждый из них употребляется, как правило, в большом числе разных конструкций. Таким образом, из-за ограниченного объема частотного словаря Э. А. Штейнфельдт, слабое управление представлено в нем шире и полнее, чем сильное. Большая часть комплексов с сильным управлением и сильно управляющих глаголов (ср. *аплодировать* N_d, *апеллировать к* N_d, *аккомпанировать* N_d, *арестовать* N_a и т. п.) вообще не попала в словарь из-за своей малой употребительности.

[23] Автор ни в коей мере не хочет поставить под сомнение исключительно интересную и добросовестную работу Э. А. Штейнфельдт по статистическому изучению русского языка в целом, воплощенную в этом словаре. Следует подчеркнуть, что справочник по глагольному управлению не включен в основную часть словаря, очевидно, потому, что самой Э. А. Штейнфельдт были ясны его недостатки. Более важно, что справочник создает основу для дальнейшей работы, несмотря на эти недостатки.

Поэтому можно ожидать, что более полный учет материала приведет к перемещению минимальной точки графика влево, т. е. ближе к полюсу слабого управления. В результате часть комплексов и глаголов, оказавшихся в классе слабого управления, перейдет в класс сильного управления. Подчеркнем, однако, что те комплексы и глаголы, которые в наших экспериментах попали в класс сильно управляющих, останутся в этом классе при любом расширении материала.

В заключение нам хотелось бы высказать некоторые соображения о том, какая точка имеет шансы стать минимальной в случае, если выборка будет достаточно представительной. Вернемся к анализу «критических» точек, обнаруженных в наших экспериментах. Бросается в глаза параллелизм двух серий «критических» точек, полученных в экспериментах с комплексами и в экспериментах с глаголами: 0,15 и 0,1; 0,35 и 0,3; 0,45 и 0,45; 0,7 и 0,65; 0,95 и 0,95. Это свидетельствует о том, что границы между классами и подклассами сильного и слабого управления в множестве комплексов и множестве глаголов соответствуют друг другу.

Среди всех «критических» точек наибольший интерес представляет точка 0,3 для глаголов и соответствующая ей точка 0,35 для комплексов. В точке 0,3 образуется наиболее глубокий минимум, который в одном эксперименте равен минимуму в точке 0,65, а в другом — превосходит его и становится, таким образом, абсолютным. Это наводит на мысль, что именно точка 0,3 (и соответствующая ей точка 0,35) является той точкой, на которую (или в ближайшую окрестность которой) должен прийтись абсолютный минимум при значительном увеличении объема выборки. Тогда все остальные «критические» точки, включая и точки 0,6, 0,7, можно будет интерпретировать как границы между подклассами внутри классов сильного и слабого управления[24].

---

[24] Автор выражает признательность К. И. Бабицкому, С. С. Белокриницкой, Е. А. Земской, Г. А. Золотовой, Л. Н. Иорданской, В. Д. Левину, И. А. Мельчуку, М. В. Панову, А. А. Реформатскому, В. З. Санникову, П. А. Соболевой, Б. В. Сухотину, Р. М. Фрумкиной, А. Я. Шайкевичу, С. К. Шаумяну и Н. Ю. Шведовой, которые прочитали эту работу в рукописи и сделали ценные замечания по существу обсуждаемых в ней вопросов.

№ 3 1964

Р. МРАЗЕК

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ ГЛАГОЛОВ И ИХ КЛАССЫ

Первостепенная важность роли глагола (в финитной форме) как конститутивного элемента грамматической организации высказывания давно общепризнана. Тем не менее традиционная грамматика уделяла подлинно синтаксическим свойствам глагола, т. е. его синтагматическим способностям, совершенно недостаточное внимание. В ней бытовали, пожалуй, лишь такие понятия, как глаголы объектные и безобъектные (или же, неточно, «субъектные»), переходные и непереходные, личные и безличные. Этого, разумеется, мало. Нам хотелось бы указать в предлагаемой статье, что различение глаголов по названным традиционным признакам представляет только некоторую часть возможной классификации и что вообще на синтагматическом уровне целесообразно расширить круг привлекаемых критериев, которые позволят ввести ряд дополнительных понятий. Решение вопроса о так называемой валентности (сочетаемости, синтаксической дистрибуции) глагола надо считать явно назревшим, неотложным[1].

Нам важно исследование того, каким по сути дела вообще может быть синтаксическое окружение глагола, представляющее собой пересечение соответственных синтагматических и парадигматических отношений. Сумма всех окружений любого языкового элемента, как известно, есть его дистрибуция. Применительно к нашим целям, разумеется, нужно считаться не с линейной, а с «метрической» дистрибуцией, т. е. с такой, которая создается внутренними, доминативными связями между словами, независимо от каких-либо пространственных факторов[2]. В финитной форме глагол образует вместе со своим субъектом — часто, конечно, не получающим эксплицитного выражения, а иногда и вовсе отсутствующим — и вместе со своим «ингерентным» определителем (или же с двумя-тремя такими определителями) некоторую грамматическую конфигурацию[3]. Все разнообразие существующих конфигураций глаголов можно

---

[1] Специальное внимание этим вопросам уделяет на румынском материале В. Гуцу-Ромало, К проблеме классификации глаголов (Попытка синтагматической классификации) «Révue de linguistique», VIII, 2, 1963. Его весьма интересная статья посвящена, однако, только детерминации глаголов посредством беспредложных падежей, в том числе и явно адвербиализованных (типа русск. *ночью, летом*). В связи с этой темой ср.: З. Д. Попова, Позиционный анализ как метод изучения синтаксиса, ФН, 1962, 1; Л. Н. Иорданская, Два оператора обработки словосочетаний с «сильным управлением», М., 1961; ее же, О некоторых свойствах правильной синтаксической структуры, ВЯ, 1963, 4. Важны также работы Ю. Д. Апресяна (см. примеч. 7).

[2] К понятию метрической дистрибуции ср.: С. К. Шаумян, О логическом базисе лингвистической теории, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1963, стр. 5.

[3] Относительно конфигурации ср.: Т. Н. Молошная, О понятии грамматической конфигурации, сб. «Структурно-типологические исследования», М., 1962; О. С. Кулагина, Об одном способе определения грамматических понятий на базе

обобщать по тем или другим основаниям, устанавливая на отдельных этапах этого обобщения определенные группы, подклассы и классы глаголов, обладающих эквивалентными дистрибутивными признаками. Глаголам, собственно говоря, свойственна различная энтропия, и от нее отчасти зависит, какую детерминацию они получают (или не получают) в потоке конкретных высказываний. Весьма плодотворной нам представляется мысль Э. Паулини об интенции глагольного действия: действие откуда-то исходит (или ниоткуда не исходит) и куда-то направляется (или никуда не направляется)[4]. Интенция, будучи лексико-грамматической категорией, сказывается на «валентности» данного глагола, она лежит в ее основе, предопределяет ее в общих чертах.

Глаголы мы будем в дальнейшем брать не в форме инфинитива, как это часто неправомерно делается, а в форме 3-го лица ед. числа без местоимения. Дело в том, что на синтаксическом уровне именно она представляет исходную, немаркированную форму, свойственную любому глаголу, да к тому же сохраняющую не только «нижние», но и «верхние» синтаксические глагольные связи (чего лишен инфинитив)[5]. На применяемых нами некоторых новых терминах мы не настаиваем, а стараемся осветить прежде всего сущность самих фактов, предлагая нередко два или даже три параллельных термина для одного и того же понятия. Сначала будет рассматриваться направление интенции *куда*? (интенция «справа»), затем ее исходный пункт *откуда*? (интенция «слева»); в заключение же будет дан проект разбиения и возможных цифровых отображений для характеристики глаголов по валентности и будут подытожены главные результаты произведенных наблюдений. Изложение иллюстрируется русским и чешским материалом.

Еще следует добавить одно весьма важное предварительное замечание. Многие глаголы внутренне дифференцированы по значению, и с этим бывает сопряжена неодинаковая дистрибуция. Действительно и обратное: тот или иной лексический оттенок («лексема») задается соответственной дистрибуцией[6]. Полисемия нередко переходит прямо в омонимию различных глаголов. Следовательно, установление синтаксических признаков всегда касается не такого-то семантически разрозненного «глагола вообще», а его определенной лексико-грамматической значимости. Совокупность частных дистрибуций и соответственных семантических признаков и создает общую «сверхвалентность» таких полисемических глаголов.

Направление глагольной интенции

(интенция «справа»)

Под интенцией «справа» следует понимать самое направленность глагольного содержания на постановку некоторых определителей, т. е. ту или

теории множеств, сб. «Проблемы кибернетики», 1, М., 1958, стр. 208; А. А. Холодович, Опыт теории подклассов слов, ВЯ, 1, 1960, стр. 37; И. И. Ревзин, Модели языка, М., 1962, стр. 122 и сл.; его же, Некоторые замечания о методах введения математических терминов в лингвистику, София, 1963, стр. 58—59.

[4] E. Paulíny, Struktúra slovenského slovesa, Bratislava, 1943, стр. 16, 18 и сл.

[5] Ср.: L. Tesnière, Éléments de syntaxe structurale, Paris, 1959, стр. 189 и сл.

[6] Весьма интересны по этому поводу мысли Ю. Д. Апресяна; см.: Ю. Д. Апресян, К вопросу о структурной лексикологии, ВЯ, 1962, 3; его же, Дистрибутивный анализ значений и структурные семантические поля, «Лексикографический сборник», V, М., 1962; его же, О понятиях и методах структурной лексикологии, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962. Ср. также: Н. З. Котелова, Характеристика синтаксических связей слов в толковом словаре, Л., 1954; В. Ингве, Синтаксис и проблема многозначности, сб. «Машинный перевод», М., 1957.

иную потребность в его пополнении, распространении. Определители («распространители», «позиции», «места»), вытекающие из этой интенции, являются интенциональными определителями; равным образом можно говорить об интенциональной детерминации глагола. Введение такого суживающего понятия необходимо особенно потому, что всякий глагол может детерминироваться обстоятельственным определителем места, или времени, или образа действия, однако далеко не всегда подобная детерминация интенциональна. А безынтенциональные, «экстерные» определители не могут представлять никакого особого интереса.

Интенция глаголов обнаруживает многоступенчатую гамму интенсивности, иногда последняя варьирует даже в пределах одного и того же глагола в зависимости от конкретных условий контекста. В идеале сила интенции каждого глагола (обозначим ее через Int) может быть исчислена объективно. Если набрать достаточно репрезентативное и по возможности стилистически разнородное множество контекстов (M), в которых выступает глагол данной конкретной лексико-грамматической значимости, и подсчитать в этом множестве частотность (f) фактически реализующейся детерминации «справа», то индекс силы интенции будет определяться дробью:

$$\mathrm{Int} = \frac{f}{M}.$$

Например, глагол $г_1$ зарегистрируем в множестве $M_1 = 100$ контекстов, причем частотность его детерминации («замещенных позиций») $f = 62$, откуда следует индекс силы интенции $\mathrm{Int} = 0{,}62$. Исчислив силу интенции большого количества глаголов (множества контекстов могут быть неодинаковыми), распределим ее, начиная от низших индексов и кончая высшими. Тогда можно условиться на определенной величине индекса как некоей грани, и глаголы, стоящие ниже ее, с весьма слабой интенциональностью, допустимо признавать безынтенциональными, а все прочие — интенциональными [7].

Итак, безынтенциональные (или же ненаправленные, интранслятивные) глаголы — это такие глаголы, которые весьма часто в речи выступают без определителей, автономно, не нуждаясь в детерминации; ср. *кашляет*, *спит*, *загорает*, (*вода*) *кипит*, (*яблоня*) *цветет*.

Интенциональные (или же направленные, транслятивные) глаголы, напротив, по самой природе своей направлены на какое-то распространение, более или менее требуют определителей для своей коммуникативной полноты [8]. Среди них выделяются, с одной стороны, глаголы факультативно детерминируемые (или же необязательно транслятивные), например, *пишет*, *защищается*, *ждет*, *вспоминает*, *подметет*, *уедет*. С другой стороны, есть глаголы обязательно детерминируемые (обязательно транслятивные), они

[7] Пока, однако, приходится оценивать силу интенции скорее интуитивно. В связи с этим целесообразно отвлекаться от факторов возможно более широкого речевого контекста и брать глаголы всегда в «начальной» позиции. Некоторое значение при объективизации данных по синтагматике русского глагола, несомненно, имеет работа Э. А. Штейнфельдт («Частотный словарь современного русского языка», Таллин, 1963) со статистическим исчислением зарегистрированных синтаксических связей.

[8] Мысль о том, что глагол очень часто выполняет роль своего рода связующего, переходного звена между субъектом и второстепенными членами, развернул еще А. Сешеэ (A. Séchehaye, Essai sur la structure logique de la phrase, Paris, 1926, стр. 80 и сл.).

вне контекста не способны выступать автономно, ср. *намеревается*, *приветствует*, *встретит*, *принесет*, *сошьет*, *очутится*, *ведет себя*, *считает* и т. п. (особенно тут показательны переходные глаголы совершенного вида) [9].

Среди обязательно интенциональных (обязательно транслятивных) вырисовывается совсем узкая группа синтаксически вспомогательных глаголов[10]. Это такие глаголы, которые вместе со своим определителем образуют один член предложения, примарно сказуемое (в этом и заключается некоторый изоморфизм с морфологическим планом языка, где вспомогательными считаются глаголы, образующие с дальнейшим компонентом одну грамматическую форму). К ним относятся: 1) несколько глаголов основных модальных значений, как-то: *может* (*работать*), *намеревается* (*уехать*), *приходится* (*молчать*), *следует* (*учитывать*); 2) фазисные глаголы, вроде *начал/стал* (*читать*), *перестал* (*интересоваться*); 3) связка, ср. *был/является* (*учителем*).

Интенциональные (= транслятивные) глаголы разделяются на следующем ярусе смотря по тому, направлены ли они на один любой определитель, или же на два (и даже на три) одновременных определителя. Таким образом получаем понятия: одноместно интенциональные (= монотранслятивные), двухместно интенциональные (= битранслятивные), трехместно интенциональные (= тритранслятивные) глаголы. Притом позиции второго и третьего определителей в свою очередь могут быть либо факультативными (т. е. «развернутыми» или «свернутыми»), либо обязательными (только «развернутыми»). В качестве примеров обязательно битранслятивных глаголов ср. *считает* (*его своим другом*), *произвел(и)* (*его в полковники*), *вверил* (*ему задание*), *извлекает* (*из этого некоторые заключения*), *вверг(ли)* (*его в темницу*). Обязательно тритранслятивных глаголов, по-видимому, крайне мало, обычно вся конфигурация получает характер фразеологизма, ср. *ставит* (*ему что-то в вину*). Факультативно тритранслятивны такие глаголы, как *рассказывает* (*нам о нем новости*), *переводит* (*статью с чешского языка на русский*).

Вполне сознавая зыбкость пока существующего размежевания интенциональных (транслятивных) и безынтенциональных (интранслятивных) глаголов, мы все-таки уже сейчас, до приведения намеченных выше исчислений, вправе проводить относительно строго хотя бы следующее разграничение: глаголы обязательно детерминируемые (обязательно интенциональные, обязательно транслятивные) × необязательно детерминируемые (необязательно интенциональные, необязательно транслятивные). В рамках последних, пожалуй, допустимо в случае потребности пользоваться вспомогательными характеристиками вроде «сильно интенциональные», «слабо интенциональные», «безынтенциональные» глаголы.

Теперь обратимся к самому внутреннему характеру глагольной интенции и к способам ее реализации. Здесь мы находимся уже на гораздо более твердой, причем чисто синтаксической почве. Чаще встречаются случаи, когда интенциональный глагол направлен на один определитель.

[9] Исследование разного рода обязательных определителей в последнее время привлекает усиленное внимание теоретиков. Ср., например: М. Ивич, О појавама синтаксичке обавезности, «Годишњак филозофск. фак-та у Новом Саду», VI, 1961; Z. S. Harris, String analysis of sentence structure, The Hague, 1962, стр. 27.

[10] Это понятие плодотворно выдвинул Й. Ружичка (J. Růžička, K problému pomocných slovies, «Slovenská reč», 22, 1957, стр. 269 и сл.). Разделяем его общую установку, однако сферу самих синтаксических вспомогательных глаголов понимаем в более узком объеме.

Одноместно интенциональные (= монотранслятивные) глаголы. Это интенциональные глаголы с интенцией на любой определитель, факультативный или обязательный. Схематически: V + (*x*) или V + *x*. В высшей инстанции определитель может вообще быть: объективным (Obj.), предикативным (P. d.), обстоятельственным (Adv.). В формальном изображении: *x* →Obj., или *x* → P. d., или *x* → Adv. Глаголы, направленные на объектный определитель, называются традиционно объектными; сохраним это название. Глаголы, направленные на предикативный определитель, предлагаем называть предикативно-детерминативными (например, *стал веселым/веселый*, *состоит ассистентом*), а глаголы с интенцией на обстоятельственный определитель — адвербиально интенциональными (например, *находится в библиотеке*, *весит две тонны*). Кроме того, есть глаголы, общая интенция которых разветвляется, т. е. реализуется больше чем только одним из указанных трех основных способов, например V + P. d./Adv. (ср. *выглядит усталым/устало*); это глаголы с комбинированной общей интенцией. Объясним и определим наши положения подробнее.

Объектный и предикативный определители имеют то общее, что они лежат в области формальной обусловленности: их форма выражения не произвольна, а «предписывается» со стороны доминирующих членов в порядке отбора из нескольких возможных словоформ[11]. Этим они противопоставляются обстоятельственному определителю, ибо у последнего подобной формальной обусловленности со стороны доминаторов нет (при постановке наречия как неизменяемой формы отпадает момент отбора из возможных словоформ), да к тому же ему всегда присуще то или иное конкретное семантическое значение (образа действия, места, орудия, ограничения, причины и т. п.). Формальная обусловленность осуществляется или сильным управлением (например, *пользуется словарем*), или согласованием (касается отчасти только предикативного определителя как члена, доминируемого через посредство глагола еще существительным, например, *он стал веселый* при параллельном: *он стал веселым*), или контаминацией управления и согласования (например, *он является надежным*, *она является надежной* — постановка твор. падежа есть следствие управления, а в категории рода и числа прилагательное согласуется с субъектом). Вообще сводить явления управления только к категории объекта — неправомерно.

Сферу объектного определителя задаем следующими содержательными признаками: 1) это всегда интенциональный определитель (напротив, обстоятельственный и предикативный определители бывают как интенциональными, так и безынтенциональными); 2) его форма подлежит сильному управлению со стороны доминатора; 3) отсутствует какое бы то ни было явное конкретное, адвербиальное значение (ср., например, различие между: *работает над новой книгой* — объектный определитель, местное значение сублимировано, и *работает над крышей* «находясь над крышей» — наличие местного значения, обстоятельственный определитель); 4) соответственное имя означает в денотате предмет, который подвергается непосредственному воздействию со стороны глагольного или другого признака, отличаясь от субстанции субъекта, если таковой имеется.

Кроме того, применительно к смежной полосе между объектным и обстоятельственным определите-

[11] Подробнее явления формальной обусловленности разработаны в нашей статье: Р. Мразек, Синтаксические отношения и члены предложения, «Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university», A — 9, 1961, стр. 48—49.

л я м и, т. е. между управлением и примыканием (пусть и сильным), действительны следующие два положения: 1) если в инвариантных контекстах позиция «спорного» определителя может быть эквивалентно занята хотя бы одним отчетливо неспорным определителем, то последний решает и характер первого; 2) взаимоальтернация минимально трех падежей почти без исключения указывает на обстоятельственный характер соответственного определителя. Приведем примеры. В сочетании *бросает камнями в стену* первый определитель справа выступает как объектный в силу эквивалентной альтернации *бросает камни в стену*. В сочетаниях *шьет руками*, *мерит вольтметром*, *выражает символами* творительный необходимо рассматривать как обстоятельственный определитель в силу альтернации типа *шьет вручную/на руках*, *мерит с помощью вольтметра*, *выражает через символы*. В сочетании *вошел в комнату* налицо примыкание (сильное) в силу допустимой субституции *вошел сюда*, *туда*. Сочетание *vnikl do bytu* «он проник, ворвался в квартиру» допускает субституции вроде *vnikl pod postel*, *sem*, *tam*, *na zahradu*, что объективно сигнализирует обстоятельственную природу всех этих приглагольных определителей; между тем в семантически несколько ином случае *vnikl do problému* «он вник в проблему» мы имеем дело с объектным определителем, ибо в данном отвлеченном значении никакой субституции нет. В сочетании *бросился на кровать* в значении «порывисто улегся» приглагольный определитель будет обстоятельственный, так как можно сказать и *бросился под стол*, *к окну*, *в огонь* и т. п.; напротив, частное значение того же глагола в сочетании типа *бросился на врага* «напал на» не допускает подобной альтернации, и конструкция «*на* + вин. падеж» есть объектный, «синтаксический» падеж. Вообще нужно иметь в виду, что объектные отношения более отвлеченны, абстрактны, поэтому они часто имеют место, между прочим, при всякого рода переносном употреблении (например, глаголов движения). Напротив, обстоятельственные отношения конкретны, всегда адвербиальны. Несправедливо утверждать, будто бы высокая вероятность постановки именно некоторой формы определителя сигнализирует наличие сильного управления[12]. Ведь многие глаголы отчетливо направлены на совсем определенный вид адвербиальной детерминации, т. е. на определитель примыкающий (см. ниже).

Объектная интенция примарно получает свое оформление в косвенном падеже синтаксического существительного: V + Cas. obl. Это падежная объектная интенция. Имеется широкий класс глаголов, направленных только на некоторый один косвенный падеж. Традиционное различение глаголов переходных и непереходных весьма целесообразно соблюсти. Помимо того, некоторые глаголы имеют равнозначное колеблющееся падежное управление (например, *вспоминает что/о чем*, *борется против кого/с кем*), у других же разница падежного управления связана с бóльшим или меньшим смысловым различием (например, *думает о друге* × *над решением*, *bojí se koho* × *o koho* «боится»). Подобные случаи падежного параллелизма имеют место также в некоторых конфигурациях, приводимых ниже[13].

Весьма важно, что объектный определитель иногда может реализоваться также инфинитивом (Inf.) или целой фразой (Fr.). Наряду с объектной падежной интенцией, следовательно, имеем дело также с об ъ-

[12] Спорными представляются некоторые примеры сильного управления, приводимые в весьма ценной работе Л. Н. Иорданской «Два оператора обработки словосочетаний с „сильным управлением“» (стр. 24—33).

[13] К проблематике падежных синонимов, вариантов и дублетов ср. особенно: Д. Станишева, О падежных вариантах, «Славистичен сборник по случай V международен конгрес за славистите в София», София, 1963.

ектной интенцией инфинитивной и фразовой, свойственной только небольшим группам объектных глаголов; они могут обозначаться терминами инфинитивно объектные, фразово объектные глаголы. О фразовой интенции до сих пор в структурной теории говорилось мало. Под фразой в роли объектного определителя понимаем, естественно, лишь фразу без антецедента, т. е. без препаративного указательного слова, и притом синтаксическую, т. е. вводящуюся синтаксическими союзами *что* (немаркированным, с некоторыми модальными альтернемами), нецелевым *чтобы* (волюнтативной значимости, с альтермемой *как бы*), вопросительным *ли* (в замкнутых косвенных вопросах), периферийно еще с несравнительным *как* или же вопросительным словом (в развернутых косвенных вопросах); не исключено бессоюзие. Считаем, что правомерно говорить не только о падежном управлении, но также об инфинитивном и фразовом управлении. Впрочем подлинный характер объектного определителя присущ управляемым инфинитиву или фразе лишь постольку, поскольку они дистрибутивно чередуются с объектным падежом существительного. Если же этого в очень немногочисленных случаях нет, то речь идет, собственно, о псевдообъектной интенции, о псевдообъектных инфинитивных или фразовых определителях; поэтому сочетание глагола с инфинитивом здесь по праву может признаваться сложным сказуемым. Сила самого управления при этом возрастает.

Получаются следующие группы глаголов: 1) V + Cas. obl./Inf., например, *решится*, *стремится*, *откажется*, *продолжает*; 2) V + Cas. obl./Fr., например, *говорит*, *рассказывает*, *подчеркивает*, *поймет*; 3) V + Cas. obl./Inf./Fr., например, *надеется*, *предлагает*, *забудет*; 4) V + Inf., например, *собирается*, *намеревается*, *попытается*, *сумеет*, *изволит*, *может*, *смеет*; *следует* (безл.), *надлежит* (безл.), *придется* (безл.); 5) V + + Fr., в чешском языке сюда входят три-четыре глагола со значением «у кого-н. есть некоторый взгляд, мнение», ср. *domnívá se*, *myslí*, *soudí*, *předpokládá*, русск. *думается*; 6) V + Inf./Fr., например, *rešuit* (модальн.), *postarается*, *obяжется*, чеш. *zamýšlí* «собирается», *zdráhá se* «стесняется, не решается».

Предикативно-детерминативная интенция есть интенция согласуемо-управляемая (управление имеет место чаще), сам предикативный определитель детерминирует комплексно, т. е. не только один член[14], получая свое выражение в падеже синтаксического существительного или прилагательного. В отношении денотата налицо всегда момент приватривного вхождения господствующего именного признака в сферу зависимого именного признака. Поэтому всегда возможна трансформация, при которой предикативный определитель становится присвязочным предикатом, ср. *он был признан победителем*, *способным...* → *он победитель*, *способный...*; *он поступил в летчики* → *он летчик*. Поскольку безынтенциональный предикативный определитель могут иметь при себе многочисленные глаголы (ср. *вернулся стариком*, *ушел последним*), то подпредикативно-детерминативными гла-

[14] Предикативные определители до сих пор не всегда принимаются в расчет теорией, и во всяком случае доставляют серьезные затруднения при установлении «доминативных дуг». Ср. по этому поводу, например: Е. В. Падучева, А. Л. Шумилина, Описание синтагм русского языка, ВЯ, 1961, 4; И. А. Мельчук, Автоматический анализ текстов, «Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V международный съезд славистов», М., 1963, стр. 490—492. Проблематику адъективного предикативного определителя в последнее время затрагивает статья А. В. Исаченко «Трансформационный анализ кратких и полных прилагательных», сб. «Исследования по структурной типологии», М., 1963.

г о л а м и мы понимаем лишь такие, которые направлены именно на данный определитель; ср. *является* (связка, синтаксически вспомогательный глагол), *кажется*, *стал* (со значением «начал быть кем/каким»), *сделался* (то же), *прикидывается*, *возомнил себя*, *зарекомендовал себя*. Той же дистрибуцией обладают и страдательные формы глаголов переходных типа *был объявлен*, *признан*, *назван кем/каким*, *был произведен* (*в полковники*).

А д в е р б и а л ь н а я и н т е н ц и я, в общем частая, представляет особый интерес постольку, поскольку она сильная или прямо обязательная. Она является «примыкающей», реализуясь наречием (включая деепричастие), адвербиальным падежом (включая именительный со сравнительным союзом *как*) или адвербиальной фразой (главным образом со значением сравнения). Наделенные ею г л а г о л ы называем а д в е р б и а л ь н о и н т е н ц и о н а л ь н ы м и. Обстоятельственный определитель — в отличие от объектного — всегда выражает некоторое четкое конкретное значение, так как он имеет не чисто синтаксическое, а семантическое назначение. Ср. *ведет себя*, *действует*, *поступает каким-н. образом*; ряд глаголов местонахождения и движения, как-то: *находится*, *помещается*, *направляется*, *входит*, *очутится*, *выходит*, страдательные формы: *был перевезен*, *был помещен... куда*; также глаголы типа: (*что-н.*) *весит*, *мерит*, *стоит* (*столько-то*); безл. *сделалось*, *стало*, *было* (*сыро*, *приятно*, *ниже нуля*).

На основании трех отмеченных главных видов интенции получается у некоторых монотранслятивных глаголов к о м б и н и р о в а н н а я и н т е н ц и я. Это значит, что их детерминация направляется по одному из двух (единично из трех) параллельных основных русел: 1) V + Obj./Adv., например, чеш. *patří*, *náleží*, *přísluší* — все со значением «принадлежит, относится» + дат. падеж / *k*, *do*, *mezi*; *смотрит*, *глядит* + *на* + вин. падеж / *куда*; *projel* «проехал», *proletěl* «пролетел» + вин. падеж, твор. падеж / *по какому-н. пути*; 2) V + P. d./Adv., например, *был* (*усатый*, *усач* / *с усами*), *выглядит* (*усталым*/*устало*), *чувствует себя* (*здоровым* / *хорошо*), *окажется* (*неспособным* / *без способностей*), *tváří se* (*spokojen* / *spokojeně*) «делает вид», *jeví se* (*lepší* / *v jiném světle*) «представляется»; *поступил* (*в летчики* / *в армию*), *был избран* (*председателем*, *в председатели* / *в президиум*); 3) V + Obj. / P. d — эта интенция представлена единично, подобно как и 4) V + Obj. / P. d / Adv., ср. *учи se* + вин. падеж, дат. падеж, *о* + местн. падеж / твор. падеж., *на* + вин. падеж (*кovářem*, *na kováře* «на кузнеца»), *je vyučen řemeslu* / *zedníkem* «обучился ремеслу», «выучился на каменщика», *studuje architekturu* / *na architekta* / *na architektuře*.

Двухместно и трехместно интенциональные (= битранслятивные и тритранслятивные) глаголы. Существует немало интенциональных глаголов, которые могут или даже должны детерминироваться двумя различными интенциональными определителями одновременно; речь идет о ф а к у л ь т а т и в н о или о б я з а т е л ь н о б и т р а н с л я т и в н ы х г л а г о л а х. Тритранслятивных глаголов существенно меньше, причем обязательно наличие всех трех определителей встречается в виде исключения (см. выше). При битранслятивных глаголах почти всегда, а при тритранслятивных глаголах всегда один из определителей является объектным. Второй или третий определитель реализуется, в основном, аналогично, как и единственный определитель при монотранслятивных глаголах. В большинстве конфигураций хотя бы один определитель обязателен. Схематически битранслятивные глаголы можно представить следующим образом: V + (*x*) + (*y*); V + *x* + (*y*); V + *x* + *y*; если $x \rightarrow \text{Obj.}_1$, то *y* + Obj._2, или P. d., или Adv., а если $x \rightarrow \text{Adv.}_1$, тогда $y \rightarrow \text{Adv.}_2$. Количество конкретных вариантов на низшем ярусе возрастает еще за счет

того, что — как и у монотранслятивных глаголов — сама форма выражения отдельных определителей бывает разнообразной и что в пределах крайнего определителя справа возможна опять-таки комбинированная общая интенция. Укажем подробнее.

Часта конфигурация V + Obj.$_1$ + Obj.$_2$; это битранслятивные двухобъектные глаголы. Типична особенно разновидность Obj.$_1$ → дат. падеж, Obj.$_2$ → вин. падеж, причем вин. падеж иногда заменяется инфинитивом или фразой; ср. *дает*, *подарил*, *объяснил*, *предлагает*, *советует*, *велит* и т. д. Глаголы со значением сообщения могут обрастать еще дальнейшим, периферийным объектным определителем в форме *о* + местн. падеж, например, *скажет*, *рассказывает*, *напишет* (*мне о нем что-нибудь*); это глаголы тритранслятивные трехобъектные. Имеются, естественно, и трехобъектные глаголы иной валентности (ср. *переведет что-н. с одного языка на другой*). Характерна, далее, разновидность Obj.$_1$ → вин. падеж, Obj.$_2$ → твор. падеж, ср. *наделяет*, *снабжает*, *окружает* (*его вниманием*). Не входят сюда, однако, сочетания с инструментальным, обстоятельственным твор. падежом, вроде *колет дрова топором*[15]. Есть еще ряд других частных конфигураций, в которых один из объектных определителей опять-таки иногда может выражаться не только косвенным падежом, но также инфинитивом или фразой. Вообще говоря, двухобъектными бывают по большей части глаголы переходные.

Интересна двухместная интенция типа V + Obj.+ P. d., обычно сильная, даже обязательная. Сюда входят битранслятивные предикативно-детерминативные глаголы; например, *считает* (*его специалистом*), *находит* (*ее приятной*), *принимает*, *берет* (*что-то за исходный принцип*), *назначит* (*его секретарем*), *произвел*(*и*) (*его в полковники*), *объявил*, *провозгласил* (*его победителем*), *выдает* (*себя за кого-то*). Замещение одной из позиций инфинитивом или фразой не исключено, ср. *считает возможным*, *чтобы...* Тритранслятивные глаголы с предикативным определителем в последней позиции представлены, по-видимому, совсем спорадически, ср. отмечавшееся уже *ставит* (*ему это в вину*).

Глаголы с интенцией типа V + Obj.+ Adv. мы будем называть битранслятивными объектно-адвербиальными. Это главным образом переходные глаголы движения, например, *перевез*(*ли*), *перевели* (*что куда*), *вынул* (*что откуда*), *положил*, *разместил* (*что где*); далее некоторые глаголы с обстоятельством образа действия, как-то: *обращается* (*с кем как*), чеш. *zachází* / *jedná* / *nakládá* (*s kým jak*), безл. *přišlo* (*mi zle*) «мне стало дурно»; а также функционально безличные глаголы в сочетаниях типа *пересохло* (*у меня во рту*), где род. падеж с предлогом *у* приобретает притяжательную значимость.

Весьма узкую группу образуют безобъектные глаголы с интенцией типа V + Adv.$_1$ + Adv.$_2$, битранслятивные двухадвербиальные; ср. *переселится*, *переместится* и т. п. (*откуда куда*), (*что-н.*) *продолжается* (*с какого времени по какое время*). Соотносительные переходные глаголы будут тритранслятивными: *переселят*, *переместят* (*кого-что откуда куда*), *перенесет* (*собрание с четверга на пятницу*).

Наконец, как уже говорилось, общая интенция в сфере крайнего определителя справа может расщепляться, являясь комбинированной; это битранслятивные глаголы с комбинированной

[15] Подробная аргументация против несостоятельного мнения о (сильно) управляемой, объектной природе орудного твор. падежа дана в нашей работе: Р. Мразек, К вопросу о функциях беспредложного творительного падежа, «Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university», A—8, 1960, стр. 43—44.

интенцией. Схематически получаем: 1) V + Obj.$_1$ + Obj.$_2$/Adv., например, *послал* (*что кому/куда*), *свéřil* (*ho rodičům/do něčí ochrany*, *pod dohled koho*) «вверил, предоставил»; 2) V + Obj. + P. d./Adv., например, *избрал(и)* (*его председателем*, *в председатели/в президиум*, *на какой-н. пост*), *nazývali* (*ho pomocníkem/jinak*, *tak*, *po otci*) «его звали», *hodnotí* (*ho jako dobrého pracovníka/příznivě*) «оценивает его»; 3) V + Obj.$_1$ + + Obj.$_2$/P. d., например, *учúл* (*ho kovářskému řemeslu/kovářem*, *na kováře*) «выучил (его на кузнеца)».

Исходный пункт глагольной интенции

(интенция «слева»)

С точки зрения интенции слева синтаксическая характеристика глагола оказывается несравненно более простой. Основное противопоставление вытекает из того, допускает ли глагол в данном конкретном лексико-грамматическом значении при себе субъект, т. е. им. падеж синтаксического существительного в роли грамматического подлежащего. В первом, наиболее частом, случае речь идет о субъектных глаголах (традиционно: личных), во втором случае — о бессубъектных глаголах (традиционно: безличных). Нам кажется неправильным употреблять термин «субъектные глаголы» в качестве синонима термина «безобъектные глаголы». Схема первых: Subj. + V, схема вторых: ∅ + V. Это основное противопоставление не приходится, пожалуй, принимать догматически: имеются некоторые смежные явления и возможности транспозиции.

Бессубъектные глаголы имеют, правда, внешне форму 3-го лица ед. числа среднего рода; однако эта форма, не сигнализируя никакого субъекта, является фактически безличной, т. е. формой не-лица. Есть несколько глаголов, которые безличны примарно, ср. *брезжит*, *вызвездило*, *сквозит*, *нездоровится*, *prší* «дождь идет», *svítá* «светает». Лишь при определенном стилистическом употреблении они иногда могут использоваться как личные, ср. *огонек брезжит*, *prší jim štěstí* * «им дождит счастье». Чаще, однако, мы имеем дело (особенно в русском языке) с безличностью функциональной, конструктивной. В этом случае безличное употребление нередко связано с более или менее заметным семантическим отличием от омонимичного или просто параллельного личного употребления (ср. *меня подмывало сказать* × *река подмывала берег*; *уже темнеет* × *лес в дали темнеет*; *его взорвало* × *взорвали мост*; *повеяло прохладой/повеяла прохлада*; *убило его гранатой/убила его граната*; *došlo k nedorozumění* «произошло недоразумение» × *zboží došlo* «товар кончился»; *zvonilo* «был звонок» × *telefon zvoní*; *bolí mě v uchu* «у меня в ухе болит»/*bolí mě ucho*)[16]. Функционально безличными следует признать также такие возвратные глагольные формы, как *не спится*, (*хорошо*) *лежится*, *говорилось* (*об этом*), *jde se* «идем», *pracuje se* «работают».

Если, следовательно, интенция слева бессубъектных глаголов нулевая, то в пределах субъектных глаголов можно наметить более детальную дифференциацию. Прежде всего необходимо отметить, что в системе форм трех лиц 1-е и 2-е лицо вместе противопоставлены 3-му лицу. Ведь формы 1-го и 2-го лица не нуждаются в конкретизации субъ

[16] По этим вопросам ср. соответственные места в работе: Е. М. Галкина-Федорук, Безличные предложения в современном русском языке, М., 1958.

екта — им является автор или адресат высказывания, — в то время как форма 3-го лица нормально направлена на конкретизацию субъекта. Если исходить из самого глагола в форме 3-го лица, то субъектный номинатив выполняет при ней собственно аналогичную функцию, как и прочие обязательные определители (объектный, предикативный и обстоятельственный). Субъект выступает одним из «дополнений» глагольной идеи, нося характер определителя sui generis. Это общепризнано в современной лингвистике, и глагол обычно считается вершиной отношений доминации[17]. Однако можно было бы привести и серьезные возражения против «вербоцентрической» концепции (глагол есть название признака и манифестируется поэтому обычно на некоторой субстанции, которая и представляет prius; глагол формально подчинен субъекту). Указанное противопоставление: 1-е лицо + 2-е лицо × 3-е лицо своеобразно отражается еще в следующем. Существуют глаголы, которые в речи свободно встречаются в форме всех трех лиц; их мы называем т р е х л и ч н ы м и. С другой стороны, ряд глаголов, благодаря своей «неперсональной» семантике, примарно употребляется только в форме 3-го лица; это глаголы о д н о л и ч н ы е, ср. *зиждется*, *болит*, *звенит*, *течет*, *содержит* (в значении «заключает в себе»), *следует*, *выходит* (оба в значении «вытекает»)[18]. Путем транспозиции они лишь окказионально могут появиться в форме одного из явно «персональных» лиц, как правило, со сдвигом лексики, ср. чеш. *já teču* «я проигрываю».

Далее, с точки зрения интенции глагола слева немаловажным оказывается факт, может ли с у б ъ е к т обслуживаться также и н ф и н и т и в о м или ф р а з о й (синтаксической, всегда без антецедентов). В этом состоит некоторый параллелизм между субъектным и объектным определителем. Глаголы, допускающие инфинитив в позиции субъекта, мы предлагаем называть и н ф и н и т и в н о с у б ъ е к т н ы м и, а допускающие фразу — ф р а з о в о с у б ъ е к т н ы м и (ср. с этим термины «инфинитивно объектные глаголы, фразово объектные глаголы» в рамках объектной интенции). Есть глаголы, фразово и инфинитивно субъектные одновременно, поскольку инфинитивно субъектная валентность часто сопряжена с фразово субъектной валентностью; но далеко не всякая субъектная фраза может заменяться субъектным инфинитивом.

Примеры глаголов с возможным инфинитивом в позиции субъекта: *надоело*, *не годится*, *остается*, *предстоит*, *удалось*, *означает*, (*мне*) *досталось*, *выпало*. К фразово субъектным глаголам ср. *обрадовало*, *поразило*, *раздосадовало*, *ободрило*, *подкрепило*; (*из этого*) *вытекает*, *следует*, *выходит*; *бывает*, *случается*.

Интересен еще один факт. Инфинитив или фраза иногда более или менее явно теряют характер субъекта, переходя скорее в разряд интенциональных определителей справа. Другими словами, имеется узкая «спорная» полоса, где н а п р а в л е н и е и н т е н ц и и как будто н е й т р а л и з у е т с я; ср. *кажется, что..., мне думается, что..., ему снится, будто..., удалось бежать, стбит заглянуть, подмывало меня спросить*. На наш взгляд, единственным объективным ориентиром может

[17] Ср., например: С. Я. Ф и т и а л о в, О моделировании синтаксиса в структурной лингвистике, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962. Плодотворна мысль, что в отношении «интердепенденции» между субъектом и предикатом нужно различать аппликативную доминацию (вершина — субъект) и конститутивную доминацию (вершина — предикат), см.: С. К. Ш а у м я н, П. А. С о б о л е в а, Аппликативная порождающая модель и исчисление трансформаций в русском языке, М., 1963, стр. 16—18.

[18] Об «одноличности» ср.: В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык, М.— Л., 1947, стр. 466.

служить дистрибуция: субъектом будем считать инфинитив или фразу лишь постольку, поскольку с ними эквивалентно и в том же значении чередуется им. падеж существительного, ср. *удался побег*, *ему снится чудный сон*[19].

*

Для схематического отображения валентности глаголов мы предлагаем следующий удобный прием, не охватывающий, правда, полностью всех дистрибутивных признаков на низшем ярусе, но все же наглядно передающий основные синтагматические параметры. Интенцию справа обозначим пятью позициями цифр справа от точки, служащей символом самого глагола, а интенцию слева — двумя позициями слева от этой точки, например 11.21221. Отсутствию интенции справа и слева отвечает нуль на месте правого или левого комплекса, например 11.0, 0.11214. Само разбиение по отдельным основаниям произведено строго в соответствии с требованиями математической логики[20].

В интенции справа вводим следующие иерархически распределенные основания разбиения (римские цифры указывают соответственную позицию арабской цифры во всем комплексе отображения):

I. Направленность на один (1) × на два или три определителя одновременно (2).

II. Наличие хотя бы одного определителя обязательно (1) × необязательно (2).

III. Возможность (1) × невозможность (2) постановки управляемого беспредложного вин. падежа при глаголе.

IV. Стереотипность (1) × разнотипность (2) способа выражения всей детерминации; под стереотипностью способа детерминации понимаем наличие единственного трафарета состояний, по которому осуществляется постановка типов определителей.

V. Индекс общей валентности данного глагола:

1 — только объектные определители, реализуемые только падежами синтаксических существительных;

2 — только объектные определители, реализуемые любым другим способом;

3 — только предикативные определители;

4 — только обстоятельственные определители;

5 — объектные определители наряду только с обстоятельственными определителями;

6 — объектные определители наряду только с предикативными определителями;

---

[19] Прием субституции относительно подобных случаев применил еще А. М. Пешковский («Русский синтаксис в научном освещении», 6-е изд., М., 1938, стр. 333). Применительно к русскому языку, где номинативный строй предложения до некоторой степени лишился своей монополии, встает здесь особая теоретическая проблематика еще в связи с выражением «косвенного субъекта». Мы предлагаем рассматривать его в определенных случаях как особый член — субъектный определитель, или же субъектное дополнение (см. нашу статью, указанную выше в примеч. 11). Его синтаксическая позиция соотносительна с позицией грамматического подлежащего в родственных конструкциях; ср. *Дом строится плотниками* (*Плотники строят дом*); *Ветром относит голос* (*Ветер относит голос*); *Затруднений не оказалось* (*Затруднения не оказались*). Нам кажется, однако, что наличие субъектного определителя не представляет проявление интенции самого глагола, его синтагматических способностей, а реализуется только в рамках всей данной конструкции в целом. Тем не менее этот вопрос заслуживает еще дальнейшего рассмотрения.

[20] Методической опорой послужила нам работа Т. П. Ломтева «О методах идентификации синтаксических объектов и исчислении их значимостей» (М., 1963), а также устные указания Т. П. Ломтева.

7 — предикативные определители наряду только с обстоятельственными определителями;
8 — любая иная комбинация объектных, предикативных и обстоятельственных определителей.

Безынтенциональные глаголы получают вправо от точки цифру θ и только; указанному разбиению они не подлежат.

В интенции слева можно ввести следующие основания:

I. Глагол одноличный (1) $\times$ трехличный (2).

II. Субъект реализуется только им. падежом синтаксического существительного (1) $\times$ также инфинитивом или фразой (2).

Глаголы без интенции слева (безличные, примарно или функционально) получают влево от точки цифру θ и только; указанному разбиению также не подлежат.

Примеры изображения:

подарил — 21.21111
надеется — 21.12222
встретит — 21.11111
pokládá («считает») — 21.21126
следует («выходит») — 12.11225
течет — 11.0
знобит — 0.11111
стало (безл.) — 0.21225.

Предложенное отображение действительно и обратно: с его помощью задается (или по крайней мере размежевывается) смысл, конкретная функциональная значимость того или иного глагола. Это важно особенно при всякого рода явлениях полисемии и омонимии.

В заключение приводим еще две схемы.

Схема интенции справа глаголов, одноместно и двухместно интенциональных:

1. V + Obj.
2. V + P. d.
3. V + Adv.
4. V + Obj./Adv.
5. V + P. d./Adv.
6. V + Obj./P. d.
7. V + Obj./P. d./Adv.

8. V + Obj._1 + Obj._2
9. V + Obj. + P. d.
10. V + Obj. + Adv.
11. V + Adv._1 + Adv._2
12. V + Obj._1 + Obj._2/Adv.
13. V + Obj. + P. d./Adv.
14. V + Obj._1 + Obj._2/P. d.

Obj. → Cas. obl.
Cas. obl./Inf.
Cas. obl./Fr.
Cas. obl./Inf./Fr.
Inf. } «псевдообъект»
Fr. } «псевдообъект»
Inf./Fr. } «псевдообъект»
P. d. → Cas. congr.
Cas. obl.
Cas. congr./Cas. obl.[21]

Adv. → adverb.
Cas. obl.
adverd./Cas. obl.
adverb./Cas. obl./Fr.

Схема интенции слева:

1. Subj. + V
2. ε + V

Subj. → Nomin. subst.
Nomin. subst./Inf.
Nomin. subst./Fr.
Nomin. subst./Inf./Fr.

[21] Реализация интенционального предикативного определителя с помощью инфинитива — явление совершенно единичное, ср. *остался сидеть* → *остался сидящий*.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1964

В. И. ГРИГОРЬЕВ

СТАТИСТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ФОНЕМ

В настоящее время в технике автоматического распознавания речи наметились два слабо связанных друг с другом направления: 1) распознавание по так называемой выборке, т. е. по набору различающих параметров, характеризующих речевой сигнал как некоторый физический процесс безотносительно к его лингвистической сущности; 2) распознавание по дифференциальным признакам, т. е. по параметрам, которые используются или могут быть использованы в качестве различающих в системе языкового кода.

К первому направлению была применена теория статистического обнаружения и воспроизведения сигналов на фоне шумов, и поэтому оно часто называется статистическим распознаванием. Направление автоматического распознавания речи по дифференциальным (или инвариантным) признакам, которое исторически явилось первым направлением в технике автоматического распознавания речи, развивается на эмпирической основе и не опирается на какие-либо математические модели. Отсутствие достаточной теоретической базы создает серьезные трудности в развитии этого направления. Между тем существование дифференциальных признаков является не только важным выводом лингвистической теории, но и в ряде случаев получило убедительное практическое подтверждение. Примером успешного применения дифференциальных признаков в технике речевой связи может служить, в частности, так называемый сигнал тон-шум, получивший широкое применение в вокодерных системах связи.

В настоящей статье рассматривается возможность определения дифференциальных признаков с позиций теории статистического обнаружения.

Речь по своей природе является случайным статистическим процессом, а поэтому и теория дифференциальных признаков не может быть построена иначе как на статистической, вернее, вероятностной основе. Сама задача определения дифференциальных признаков может быть сформулирована как задача выделения и оценки неизвестных параметров сигнала в присутствии шумов. Как известно, в теории обнаружения и воспроизведения сигналов в присутствии шумов задача распознавания в общем виде ставится следующим образом.

Источник сигналов или передатчик (ИС) связан с приемником (Пр) каналом связи, к которому подключен также обобщенный источник шумов (ИШ). Вырабатываемые передатчиком сигналы $S_i(t)$, относящиеся к некоторому их конечному набору $i = 1, 2, \ldots, m$, смешиваются в канале с шумами $n(t)$, в результате чего на вход приемника поступает некоторая случайная функция времени, являющаяся смесью сигнала с шумами $f(t) = S_i(t) + n(t)$. Перед приемником ставится задача — по характеру функции $f(t)$ определить, какой из сигналов $S_i(t)$ был послан передатчиком. Эта задача разрешима в вероятностном смысле при наличии у приемника

некоторых априорных сведений о природе сигналов и шумов, из которых основное значение имеет функция правдоподобия $W_n = W_n(X/S_i(t))$, где $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$— выборка или некоторый набор различающих статистических параметров, которые определяют $f(t)$ в конечном интервале наблюдения T с достаточной степенью приближения.

В теории статистического обнаружения наиболее полную разработку получил случай, когда число возможных сигналов равно двум. В этом бинарном случае распознавания приемник по выборке X должен принять решение относительно двух возможных вероятностных гипотез: гипотезы $\hat{S}_1(t)$ о том, что на вход поступил сигнал $S_1(t)$, и гипотезы $\hat{S}_2(t)$ о том, что на вход поступил сигнал $S_2(t)$. Функции правдоподобия $W_n(X/S_1(t))$ и $W_n(X/S_2(t))$, которыми при этом должен располагать приемник и которые

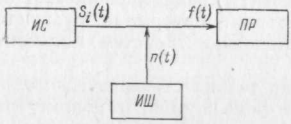


Рис. 1

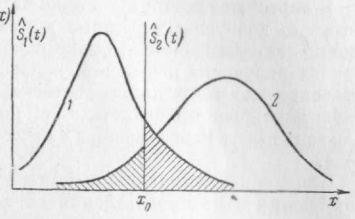


Рис. 2

Рис. 1. Общая схема обнаружения сигнала в присутствии шумов

Рис. 2. Выбор критерия в бинарном случае распознавания для одного различающего параметра x. $1 - W(x/s_1(t))$; $2 - W(x/s_2(t))$; x_0 — пороговое значение параметра x, определяемое критерием распознавания

часто могут быть получены экспериментальным путем, ввиду наличия шумов перекрываются, а поэтому решения приемника не могут быть безошибочными. В последовательности решений приемник будет допускать ошибки ложного опознавания и пропуска сигналов, которые на схеме (рис. 2) представлены заштрихованными областями. Величина этих ошибок определяется выбранным критерием распознавания. Существуют, однако, некоторые оптимальные критерии для принятия приемником решения, которые обеспечивают либо максимальную вероятность правильного приема сигналов, либо минимальную ошибку пропуска одного из сигналов при заданной величине ошибки ложного опознавания и т. п. Как это показано в ряде работ по статистическому распознаванию, все известные оптимальные критерии в бинарном случае сводятся к некоторой пороговой операции $\sigma(l - l_0)$ над величиной l, называемой коэффициентом правдоподобия и определяемой выражением

$$l(X) = \frac{W_n(X/S_1(t))}{W_n(X/S_2(t))}.$$

Как известно, смысл этой операции состоит в том, что принимается гипотеза $\hat{S}_1(t)$, если коэффициент правдоподобия больше некоторой постоянной величины, определяемой априорными вероятностями сигналов, а также стоимостями, которые приписываются возможным решениям приемника для каждого из посылаемых передатчиком сигналов. В противном случае принимается гипотеза в пользу второго сигнала. В геометрическом истолковании применение пороговой операции равноценно разбиению многомерного пространства статистических параметров $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$

на две непересекающиеся области G_1 и G_2, каждая из которых закрепляется за гипотезой в пользу соответствующего сигнала.

Важным случаем, которому уделяется много внимания в теории статистического обнаружения, является случай, когда полезная информация о сигнале содержится в некотором аналитическом параметре α, значение или интервал значений которого фиксируется передатчиком для каждого из сигналов. Например, в телеграфной связи такими параметрами могут служить амплитуда, длительность, частота или фаза телеграфной посылки. В этом случае сигнал будет случайной функцией времени $S(t, \alpha)$, характеристики которой и, следовательно, распределение значений параметров выборки $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ на входе приемника будут зависеть от выбранного передатчиком значения аналитического параметра α, который, таким образом, входит теперь в функцию правдоподобия в качестве параметра распределения: $W_n = W_n(X/\alpha)$.

Перед приемником ставится задача — выделить параметр α и оценить его значение, с выполнением которой, естественно, решается и задача распознавания сигнала. При некоторых условиях, которые требуют специального рассмотрения, эта задача выделения и оценки неизвестного параметра сигнала оказывается разрешимой. Решение ее должно содержать указание о том, какую операцию $g(X)$ необходимо совершить над статистической выборкой $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, чтобы получить наилучшую в некотором смысле оценку $\hat{\alpha} = g(X)$ неизвестного параметра α. Иначе говоря, речь идет об отыскании функциональной зависимости между статистическими параметрами $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ и аналитическим параметром α функции $S(t, \alpha)$, значение которого фиксируется в качестве полезной информации о сигнале. Важным требованием, предъявляемым к функции $\hat{\alpha} = g(X)$, является требование, чтобы $\hat{\alpha}$ была монотонна относительно коэффициента правдоподобия l. При наличии подобной монотонности с отысканием функции $\hat{\alpha}$ автоматически решается вопрос об опознавании сигнала, так как при монотонности $\hat{\alpha}$ и l для каждой пороговой операции $\sigma(l - l_0)$ может быть однозначно определена операция $\sigma'(\hat{\alpha} - \hat{\alpha}_0)$, обеспечивающая одинаковую эффективность распознавания с точки зрения величины ошибки, т. е. $\sigma(l - l_0) \sim \sigma'(\hat{\alpha} - \hat{\alpha}_0)$, где $\sim$ знак эквивалентности. Из этого следует, что операции по определению $l(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ и $\hat{\alpha}(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ равноценны с точки зрения задачи распознавания. В обоих случаях многообразие различающих статистических параметров сводится к единой численной характеристике l или $\hat{\alpha}$. Задача отыскания оценочной функции $\hat{\alpha}$ интересна, однако, тем, что она весьма близка к задаче, которую приходится решать при определении дифференциальных признаков фонем.

Как известно, для всех языков мира количество фонем намного больше двух, $M \geqslant 2$. Поэтому при автоматическом распознавании речи перед приемником ставится более общая и сложная задача распознавания $M \geqslant 2$ сигналов, которая, соответственно, сводится к задаче оптимального выбора между M гипотезами относительно случайной функции $f(t) = S_i(t) + n(t)$, поступившей на вход приемника.

Как показано в работе Д. Миддлтона и Д. Ван-Метера и в статье Дж. Томаса и Дж. Вулфа, задача различения между $M > 2$ сигналами также является разрешимой в вероятностном смысле при наличии у приемника априорных сведений о характере сигналов, из которых, как и в случае бинарного распознавания, основную роль играют функции правдоподобия $W_n = W_n(X/S_1(t))$, число которых соответственно равно M. Попарное сравнение функций правдоподобия дает в этом случае $M(M-1)$ частных коэффициентов правдоподобия l_{jk}, каждый из которых определяет-

ся выражением

$$l_{jk}(X) = \frac{W_n(X/S_j(t))}{W_n(X/S_k(t))},$$

где $j, k = 1, 2, \ldots, M$ и $j \neq k$. Априорными вероятностями сигналов, стоимостями возможных решений и выбранным критерием распознавания задается набор констант β_{jk}. Очевидно, что к каждому из коэффициентов правдоподобия мы можем, как и в бинарном случае распознавания, применить пороговую операцию $\sigma(l_{jk} - \beta_{jk})$, состоящую в проверке на неравенство $l_{jk}(X) > \beta_{jk}$.

Любая из этих проверок, естественно, не может дать окончательного решения. Однако она показывает, какая из двух гипотез $\hat{S}_j(t)$ и $\hat{S}_k(t)$ является более предпочтительной и какую из них следует устранить из дальнейшего рассмотрения. В общем виде правило принятия решения должно, очевидно, состоять из некоторого множества пороговых операций $\sigma(l_{jk} - \beta_{jk})$ и может быть сформулировано следующим образом.

Решение принимается в пользу гипотезы относительно сигнала $S_j(t)$, у которого для всех коэффициентов правдоподобия типа $l_{jk}(X)$ выполняется неравенство $l_{jk}(X) > \beta_{jk}$ для всех индексов k ($k \neq j$).

Обозначим указанную операцию над совокупностью коэффициентов правдоподобия $\Phi\{\sigma(l_{jk} - \beta_{jk})\}$ и назовем ее фонемной функцией распознавания, принимающей дискретное число значений в соответствии с числом распознаваемых фонем языка. Поскольку из $l_{jk} = l_{jk}(X)$ следует $\Phi = \Phi(X)$, то задание фонемной функции распознавания одновременно означает разбиение пространства статистических различающих параметров S на M неперекрывающихся областей $G_1, G_2, \ldots, G_M$, где M — число распознаваемых фонем и S является логической суммой фонемных областей $S = \sum_{i=1}^{M} G_i$.

Как известно, в основе теории дифференциальных признаков лежит классификационный принцип, согласно которому дифференциальный признак не определяет индивидуальной фонемы, а разбивает все множество фонем на непересекающиеся классы — на два класса в случае бинарного дифференциального признака. Применение следующего дифференциального признака дает разбиение полученных классов на подклассы и только в результате последовательного применения всех дифференциальных признаков достигается идентификация индивидуальной фонемы. Поэтому существование бинарного дифференциального признака предполагает возможность разбиения пространства сигналов на два непересекающихся подпространства S_1 и S_2, которые совместно перекрывают все фонемные области G_i, заданные фонемной функцией распознавания $\Phi\{\sigma(l_{jk} - \beta_{jk})\}$.

Зададимся произвольным разбиением множества фонем на два непересекающихся класса: класс A, включающий l фонем, и класс B, включающий остальные $m - l$ фонем. Поставим перед собой ограниченную задачу статистического распознавания полученных фонемных классов A и B. Такая задача относится к случаю бинарного распознавания и, следовательно, может быть решена применением пороговой операции $\sigma(l_{AB} - \beta_{AB})$ к коэффициенту правдоподобия, который может быть назван классификационным:

$$l_{AB}(X) = \frac{W_n(X/A)}{W_n(X/B)},$$

где $W_n(X/A)$ и $W_n(X/B)$ — функции правдоподобия для фонемных классов A и B. В результате получим разбиение пространства сигналов S

на два непересекающихся подпространства S_1 и S_2, относительный объем которых, очевидно, зависит от принятого разбиения множества фонем на классы A и B. Назовем последнее разбиение эффективным с точки зрения фонемной функции распознавания $\Phi\{\sigma(l_{jk} - \beta_{jk})\}$, если получаемые при этом подпространства S_1 и S_2 совместно включают все фонемные области G_i и если каждая из областей G_i включена только в одно из подпространств S_1 или S_2, как показано на примере (рис. 3). Это условие, очевидно, равнозначно требованию, чтобы для любой пары фонем, взятых из разных классов ($S_j \subset A$; $S_k \subset B$), вероятность правильного распознавания, обеспечиваемая применением пороговой операции к частному коэффициенту правдоподобия $\sigma(l_{jk} - \beta_{jk})$, была одинаковой с вероятностью распознавания этой же пары фонем при применении пороговой операции к классификационному коэффициенту правдоподобия $\sigma(l_{AB} - \beta_{AB})$. Как это очевидно, эффективность разбиения зависит от набора постоянных β_{jk}. Для уменьшения этой зависимости естественно потребовать от разбиения множества фонем на классы A и B, чтобы оно обеспечивало монотонность классификационного коэффициента правдоподобия $l_{AB}(X)$ с частными коэффициентами правдоподобия $l_{jk}(X)$ для любой пары фонем, взятых из разных классов. Такое разбиение назовем натуральным.

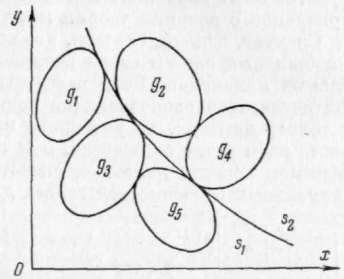


Рис. 3. Классификационное разбиение пространства сигналов на два подпространства S_1 и S_2, которые совместно включают все фонемные области G_i

Последовательно применяя аналогичную процедуру к полученным подпространствам S_1 и S_2 и к подпространствам подпространств, мы в конечном итоге получим исчерпывающую натуральную классификацию множества фонем, низшие классы которой будут содержать не более одной фонемы. С получением исчерпывающей натуральной классификации фонемная функция распознавания может быть представлена в виде суперпозиции элементарных пороговых операций над классификационными коэффициентами правдоподобия

$$\Phi\{\sigma(l_{jk} - \beta_{jk})\} = \sum \sigma(l^{(i)}_{AB} - \beta^{(i)}_{AB}),$$

где индексом вверху (i) обозначен уровень классификационного разбиения. Задача распознавания по дифференциальным признакам в этом случае сводится к статистической задаче выделения и оценки ограниченного числа неизвестных параметров распределения $\hat{\alpha}^{(i)}_{AB}(X)$, монотонных относительно соответствующих классификационных коэффициентов правдоподобия $l^{(i)}_{AB}(X)$, и представления фонемной функции распознавания в виде суперпозиции элементарных пороговых операций над выделенными дифференциальными параметрами

$$\Phi\{\sigma(l_{jk} - \beta_{jk})\} = \sum \sigma(\hat{\alpha}^{(i)} - \hat{\alpha}^{(i)}_0).$$

Выделение дифференциальных параметров для множества сигналов $M > 2$ отнюдь не является тривиальной задачей. Некоторые пути ее решения намечаются в статье А. А. Харкевича, а также в статье М. Пти. Можно, однако, подойти к этой задаче с несколько иной точки зрения, если принять во внимание тот известный в теории дифференциальных

признаков факт,что фонема является суммой дифференциальных признаков. Следовательно, поскольку мы пытаемся получить распознавание по дифференциальным признакам, то мы должны иметь в виду, что наш сигнал не является простым, а представляет собой некоторую комбинацию простых сигналов, каждый из которых зависит только от одного дифференциального параметра

$$S_j(t) = \sum_{k=1}^{m} v_k(t; \alpha_k).$$

Этот факт позволяет подойти к задаче выделения дифференциальных признаков с позиций теории многоканальных систем связи.

Следует, однако, сказать, что необходимость обращения к теории многоканальных систем связи возникает не только для теории дифференциальных признаков. Всем известны трудности, с которыми сталкивается статистическое распознавание речи, связанные с тем, что при переходе к голосу диктора, не учтенного в статистическом эталоне, распознаваемость речи резко снижается. Эти трудности, по нашему мнению, в теоретическом аспекте являются следствием неправильного включения индивидуальных особенностей голоса диктора в обобщенный источник шумов (ИШ). Известно, однако, что в отличие от шумов, которые приводят к разбросу значений параметров сигнала вокруг некоторого среднего значения, переход от одного диктора к другому часто приводит к резкому изменению параметров речевого сигнала. Так, например, при переходе от мужского голоса к женскому в среднем на 17% повышаются частоты формант, резко изменяется частота основного тона и т. п. Поэтому более правильной представляется позиция тех исследователей, которые усматривают в речевом процессе два потока информации — поток фонемной информации и поток информации о самом дикторе. Существованием последнего потока, очевидно, только и можно объяснить относительный успех ряда работ по автоматическому распознаванию голоса диктора. Несомненно, однако, что признание этого факта также приводит нас к гипотезе о многоканальности речевой передачи.

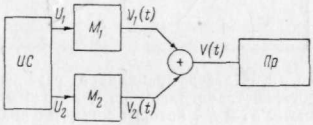


Рис. 4. Схема, иллюстрирующая задачу, которая ставится перед приемником в многоканальной системе связи

В многоканальной системе связи передатчиком вырабатываются несколько потоков сообщений (в простейшем случае, изображенном на рис. 4, два потока сообщений $U_1(t)$ и $U_2(t)$). Сообщения $U_1(t)$ и $U_2(t)$ воздействуют на модуляторы M_1 и M_2 соответственно, в результате чего получаются сигналы $V_1(t)$ и $V_2(t)$. Эти сигналы складываются и их сумма $V(t) = V_1(t) + V_2(t)$ через обычный канал связи поступает на вход приемника. Перед приемником ставится задача разделения и идентификации сигналов $V_1(t)$ и $V_2(t)$.

Не вдаваясь в подробности теории многоканальных систем связи, отметим здесь только, что важным моментом в процессе выделения некоторого сигнала $V_i(t)$ из смеси сигналов, поступивших на вход приемника, является отыскание такого преобразования сигнала $V(\lambda) = \int k(t; \lambda)V(t)dt$, при котором бы сигналы $V_1(t)$ и $V_2(t)$ занимали раздельные полосы в области параметра λ. При этом термин «λ-область» имеет общее значение и включает в себя всякий параметр λ, определяемый множеством элементарных функций $k(t; \lambda)$. Частными случаями разделения сигналов в «λ-

области» являются частотное и временное разделения, которые широко применяются в многоканальных системах связи.

В известных работах по теории дифференциальных признаков для русского языка определяется одиннадцать дифференциальных признаков. Кроме того, как уже говорилось выше, речевой сигнал содержит также ряд нефонемных параметров, которые несут информацию о дикторе. Следовательно, при автоматическом распознавании речи по дифференциальным признакам приходится иметь дело с большим количеством одновременно передаваемых сигналов, смесь которых поступает на вход приемника. Ясно поэтому, что разделение такого большого числа каналов осуществимо лишь на основе целого комплекса функциональных преобразований речевого сигнала указанного выше типа.

Если подходить к задаче автоматического распознавания речи с позиций теории многоканальных систем связи, то следует отметить, что ведущиеся в настоящее время работы по автоматическому распознаванию страдают определенной бедностью в использовании возможных функциональных преобразований речевого сигнала. В основном для целей автоматического распознавания используются спектральные параметры и частично также параметры клиппированной речи. Эта бедность применяемых функциональных преобразований становится особенно очевидной при сравнении техники автоматического распознавания с вокодерной техникой, где наряду с полосными и формантными параметрами уже освоены гармонические, корреляционные и другие параметры речепреобразования. Поэтому освоение уже используемых в вокодерной технике функциональных преобразований речевого сигнала является, на наш взгляд, первоочередной задачей техники автоматического распознавания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Л. Заде, К. Миллер, Основы теории линейных многоканальных систем, сб. «Теория информации и ее приложения», М., 1959.
2. Б. Р. Левин, Теория случайных процессов и ее применения в радиотехнике, М., 1960, гл. XI.
3. Д. Миддлтон, Д. Ван-Метер, Обнаружение и воспроизведение сигналов, *принятых на фоне шумов, с точки зрения теории статистических решений*, сб. «Прием импульсных сигналов в присутствии шумов», М.— Л., 1960.
4. У. Петерсон, Т. Бирдзол, У. Фокс, Теория обнаружения сигналов, сб. «Прием импульсных сигналов в присутствии шумов».
5. А. А. Харкевич, О выборе признаков при машинном опознавании, ИАН ОТН, 1963, 2.
6. D. M. Green, Psychoacoustics and detection theory, «Journal of the acoustical society of America», XXXII, 10, 1960.
7. M. Halle, The sound pattern of Russian, 's-Gravenhage, 1959.
8. R. Jakobson, G. Fant, M. Halle, Preliminaries to speech analysis, 3-d printing, Cambridge (Mass.), 1955.
9. R. Jakobson, M. Halle, Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956.
10. M. Petit, Dépouillement des résultats entachés d'erreurs aléatoires dans le cas où le signal lui-même est aléatoire, «Annales de télécommunication», 11—12, 1962.
11. S. Pruzansky, Pattern-matching procedure for automatic talker recognition, «Journal of the acoustical society of America», XXXV, 3, 1963.
12. J. B. Thomas, J. K. Wolf, On the statistical detection problem for multiple signals, «IRE. Transactions of information theory», IF — 8, № 4, July, 1962.

П. Я. СКОРИК

К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

(На материале чукотско-камчатских языков)

Вопрос об аналитических конструкциях нельзя считать получившим полное разрешение, и поэтому он привлекает пристальное внимание языковедов[1]. Из многообразных по структуре и значению аналитических конструкций особый интерес вызывают конструкции с лексически неравноценными компонентами: сочетания лексически полнозначного компонента и компонента с ослабленным лексическим значением, иногда неотделимым от его грамматического значения. Эти конструкции принято сводить к так называемой «аналитической форме глагола», однако, как показывают последние исследования, особенно в области языков, типологически отличных от индоевропейских, границы аналитических конструкций гораздо шире (по своей структуре и значению аналитических конструкций). В этом отношении определенный интерес, как нам кажется, представляют собой чукотско-камчатские языки.

Вопреки еще недавно распространенному мнению о том, что в чукотско-камчатских языках чуть ли не единственным способом конструирования предложений является инкорпорация, необходимо признать, что в этих языках, как и в других, действует несколько технических приемов[2], в том числе и аналитическое конструирование. При этом своеобразие аналитических конструкций чукотского языка тем более примечательно, что последний в этом отношении является одним из наиболее типичных языков чукотско-камчатской группы.

В чукотском, как и в родственных ему языках, широко и разнообразно представлены аналитические конструкции только с лексически неравноценными компонентами. Такие конструкции представляют собой сочетание слов, где первый компонент лексически полнозначен и является основным, а второй—вспомогательный имеет ослабленное лексическое значение, семантически подчинен первому, составляя с ним одно целое. Первый имеет неизменяемую форму, второй выступает в системе словоизменительных форм. При этом, хотя компоненты аналитической конструкции раздельно оформлены и потенциально выделимы, здесь имеет место не сумма лексических значений, а качественно отличное семантическое целое, присущее всей конструкции и осложненное к тому же общим грамматическим значением, являющимся результатом слияния и известного преобразования грамматических значений слов — компонентов данной конструкции.

Аналитические конструкции чукотского языка в качестве подчиненного компонента, как правило, имеют вспомогательный глагол; таких глаголов

---

[1] См.: «Аналитические конструкции в языках различных типов. Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР», Л., 1963.

[2] См.: П. Я. Скорик, Чукотско-камчатские языки, сб. «Младописьменные языки народов СССР», М. — Л., 1959; его же, Грамматика чукотского языка, ч. 1, М. — Л., 1961.

здесь шесть, каждый из них обладает различной степенью лексической ослабленности. Разнообразные как по своей структуре, так и по значению аналитические конструкции в чукотском языке подразделяются на две основные группы. Одну из них составляют конструкции, в которых в качестве подчиненного компонента может выступать тот или иной вспомогательный глагол из следующих четырех: двух непереходных глаголов — *нъэлык* «становиться (превращаться)», *вак* «быть (пребывать)» и двух переходных — *лыӈык* «считать (воспринимать)», *рытчык* «делать (превращать)». Эти глаголы имеют ослабленное, но все же довольно ощутимое лексическое значение, под воздействием которого лексическое значение основного компонента аналитических конструкций в значительной мере преобразуется. В качестве основных компонентов конструкций с указанными вспомогательными глаголами обычно выступают наречия, в отрицательной форме существительные и некоторые (лексически полнозначные) частицы. При этом слова каждой из указанных групп в зависимости от своего лексического значения сочетаются лишь с определенными вспомогательными глаголами. Любое существительное в отрицательной форме регулярно образует аналитическую конструкцию в сочетании с переходным глаголом *рытчык*, например *эмилгэркэ рытчык* «обезоруживать» (*милгэр* «ружье»). Количество наречий и частиц, выступающих компонентами аналитических конструкций, ограничено; основная часть наречий образует аналитические конструкции в сочетании с переходными вспомогательными глаголами *лыӈык* и *рытчык*: наречие *гэмо* «неизвестно» выступает в конструкции только в сочетании с переходным глаголом *лыӈык* (*гэмо лыӈык* «не знать»); наречие *алваӈ* «иначе» сочетается с непереходным глаголом *нъэлык* (*алваӈ нъэлык* «изменяться») и с переходным *рытчык* (*алваӈ рытчык* «изменять»). При этом аналитические конструкции в зависимости от своих глагольных компонентов выражают определенные видовые оттенки: конструкция с глаголом *лыӈык* обозначает действие вообще (общий вид) — *лыги лыӈык* «знать» (*лыги* «известно»); конструкция с глаголом *рытчык* — действие с указанием на его возникновение — *лыги рытчык* «познавать (начинать знать)». Немногие из частиц, участвующие в образовании аналитических конструкций, сочетаются с определенными вспомогательными глаголами; например, частица *уйӈэ* «нет» сочетается с непереходными глаголами *нъэлык* (*уйӈэ нъэлык* «исчезать»), *вак* (*уйӈэ вак* «отсутствовать») и переходным глаголом *рытчык* (*уйӈэ рытчык* «устранять, уничтожать»).

Глагольные аналитические конструкции регулярно спрягаются. От них, как от цельных лексических единиц, образуются именные лексические единицы, например: *эмилгэркэ рытчыткогыргын*[3] «обезоруживание», *лыги лыӈыткогыргын* «знание», *уйӈэ нъалгыргын* «исчезновение». Такие производные именные конструкции в свою очередь принимают все соответствующие именные формы.

Рассмотренные аналитические конструкции объединены общим признаком: в них доминирует лексическая цельность. Эта цельность—результат, во-первых, преобразования под воздействием вспомогательного глагола семантики основного компонента (имени, наречия, частицы) в глагольную и, во-вторых, определенного участия в этом преобразовании лексического значения вспомогательного глагола. Аналитическая конструкция объединена не только лексической цельностью, но и общим грамматическим значением, которое в глагольной конструкции указывает, в частности, на видовые оттенки.

---

[3] Основа глагола *рытчык* имеет два варианта: инициальный — *рытч* (*рытч-ык*) и медиальный — *тчы* (*ӈы-тчы-гын*).

Вторую группу аналитических конструкций образуют остальные два из шести вспомогательных глаголов — непереходный *итык* «являться» и переходный *рытык* «иметь», лексическое значение которых ослаблено в значительно большей мере и почти не отделимо от их грамматического значения. В качестве основных компонентов аналитических конструкций второй группы выступают знаменательные глаголы в деепричастных формах на *-(т)э ~ -(т)а*, *эм- ~ ам... -(т)э~-(т)а*, *-йгут~-йгот*, а также в отрицательных формах на *э-~а-...-кэ~ка* и *люӈ- ~ лёӈ-...-(т)э ~ -(т)а*. Конструкции, имеющие в своем составе деепричастия, обозначают те же действия, что и соответствующие глаголы в личных формах, но с определенными оттенками. Так, конструкция с деепричастием на *-(т)э~-(т)а* передает оттенок выделительности (подчеркивается противопоставленность данного действия другому или другим действиям), конструкция с деепричастием на *эм-~ам-... -(т)э~-(т)а* — оттенок ограничительности (подчеркивается, что имеет место только данное действие). Например: *тэнӈытку-к* «смеяться», *тэнӈытку-тэ итык* «(именно) смеяться», *эм-тэнӈытку-тэ итык* «(только) смеяться»; *гичи-к* «собирать», *гичи-тэ рытык* «(именно) собирать», *эм-гичи-тэ рытык* «(только) собирать». Аналитические конструкции, в состав которых входят знаменательные глаголы в отрицательных формах, выражают различное отрицание действия: с глаголом в отрицательной форме на *э-~а-...-кэ~-ка* — общее отрицание (ср. *вирик* «спускаться» и *э-вири-кэ итык* «не спускаться», *кэтъо-к* «вспоминать» и *а-кэтъо-ка рытык* «не вспоминать»); с глаголом в форме на *люӈ-~лёӈ-... -(т)э ~-(т)а* — отрицание как только факт, получивший свое завершение: *люӈ-вири-тэ гитлин* «(он) не спустился», *лёӈ-кэтъо-та гэнтылин* «(его) не вспомнили». В перечисленных аналитических конструкциях второй группы знаменательный компонент непереходной семантики регулярно сочетается с непереходным вспомогательным глаголом *итык*, а компонент переходной семантики — с переходным вспомогательным глаголом *рытык*. Знаменательные глаголы в форме на *-йгут~-йгот* — независимо от того, переходные они или непереходные — в аналитических конструкциях сочетаются только с переходным глаголом *рытык*. При этом конструкция выражает то же действие, что и соответствующий глагол в самостоятельной функции, но с каузативным значением. Ср., например, *эквэт-ык* «отправляться» и *эквэт-ы-йгутрытык* «(велеть) отправляться», *пэля-к* «оставлять» и *пэля-йгот рытык* «(велеть) оставлять».

Общим признаком аналитических конструкций с глаголами *итык* и *рытык* является доминирование в них грамматической стороны. Основные компоненты этих конструкций лексически преобразованы значительно меньше, чем в конструкциях первой группы. Это обусловлено не только крайне ослабленным лексическим значением входящих в состав конструкций вспомогательных глаголов, но и тем, что основной компонент такой конструкции — глагольное слово.

Специфика грамматического значения аналитических конструкций с *итык* и *рытык* обнаруживается при сопоставлении той или иной конструкции с ее основным компонентом, функционирующим самостоятельно. Образуя в соединении с вспомогательными глаголами аналитические конструкции с соответствующими значениями выделительности или ограничения, вне конструкции деепричастие на *-(т)э~-(т)а* выражает сопутствующее действие, которое обусловливает протекание основного [*ымыльо нывилгъэт, ытлён-ым ы'сқагтат-а итгъи* «Все остановились, а он (в отличие от других) подпрыгнул» (анал констр.) и *ы'сқагтат-а егтэлгъи э'кэльин пойгэпы* «Тем, что подпрыгнул (подпрыгнув), спасся (он) от копья врага» (вне констр.)], а деепричастие на *эм-~ам-... -(т)э~-(т)а* — сопутствующее действие как причину возникновения основного [*ытри моры-*

кайпы эм-гынтэв-э нитқинэт «Они от нас (только и знают, что) убегают» (анал. констр.) и *эм-гынтэв-э ытлён гэпэңъивэтлин* «Из-за того, что убегал (убегая), он устал» (вне констр.)]. Конструкция с формой на *-йгут* ~ *-йгот* выражает основное действие с каузативным значением, в то время как вне конструкции глагол в этой форме, употребляясь очень редко, обозначает сопутствующее действие, к которому устремлено основное: ср. *колё, отчой ваңэ-йгот гинэнтылин*[4] «Ох, и долго же заставлял (он меня) шить» (анал. констр.) и *вынэ мылқытык ваңэ-йгот* «Ой, пойду-ка (чтобы) шить» (вне констр.). Различие между аналитической конструкцией с глаголом в отрицательной форме, с одной стороны, и глаголом в этой форме вне конструкции, с другой, идет по линии отрицания основного действия (в конструкции) или сопутствующего (вне конструкции): *а'ачек волқытвэтагнэпы эйылқэткэ итырқын* «Юноша с вечера не спит» (анал. констр.) и *ытлён панэна э-йылқэт-кэ мигчирэтыркын* «Он все еще не спавши работает» (вне констр.); *ытлён айвэ люн-йылқэт-э гитлин, игыр вэты ныйылқэтын* «Он вчера не поспал, пусть сегодня обязательно поспит» (анал. констр.) и *ытлыгын люн-йылқэт-э эквэтгъи* «Отец не поспавши отправился» (вне констр.).

Как видно из приведенного сопоставления, аналитические конструкции отличаются от своих основных компонентов в их самостоятельном употреблении не только грамматически, но также лексически (правда, степень лексического преобразования в данном случае сравнительно меньше, чем в аналитических конструкциях первой группы). Отличие это вносится вспомогательными глаголами *итык* и *рытык*, несмотря на их крайнюю лексическую ослабленность. Конструкции второй группы (включая и с глаголом в отрицательной форме на *э-* ~ *а-*... *-кэ* ~ *-ка*), как и конструкции первой группы, регулярно спрягаются. От них (правда, менее регулярно, чем от конструкций первой группы) образуются производные именные аналитические конструкции. Например: *типъэйңэ-тэ итык* «(именно) петь» — *типъэйңэ-тэ итыльын* «(именно) поющий (певец)», *типъэйңэ-тэ этгыргын* «(именно) пение»; *эм-винрэт-э рытык* «(только) помогать»— *эм-винрэт-э рытыткогыргын* «(только) помощь»; *рэт-ы-йгут рытык* «(велеть) привозить»— *рэт-ы-йгут рытъё* «то, что велено привозить»; *э-вириң-кэ рытык* «не защищать» — *э-вириң-кэ рытыткогыргын* «не защита». Более ограниченные возможности имеет конструкция с знаменательным глаголом в отрицательной форме на *люң-* ~ *лёң-*... *-(т)э* ~ *-(т)а*; она, например, принимает глагольные формы только прошедшего времени. И эта конструкция не является чисто грамматической: ее лексическое значение также представляет собой результат, правда, незначительного, но все же преобразования основного компонента за счет вспомогательного глагола. Обычно от такой конструкции возможны лишь причастные образования: *тэйкэв-ык* «бороться»— *люн-тэйкэв-э итыльын* «не поборовшийся (не ставший борцом)». Но в отдельных случаях, когда это допускается смысловым содержанием и стилем речи, возможны и другие образования, например, *лёң-лымаляв-а этгыргын ңинқэйин ынпыничга ванэван тэңу ы'нылгын* «То, что мальчики не послушались, старикам не понравилось» (*лён-лымаляв-а этгыргын* буквально: «явление непослушания»)[5].

---

[4] Глагол *рытык* имеет два варианта основы: инициальный — *рыт* (*рытык*) и медиальный — *нты* (*гинэ-нты-лин*).

[5] Чисто грамматически отрицание действия выражается в чукотском путем сочетания самостоятельных отрицательных частиц с знаменательным глаголом в форме побудительного наклонения. В сочетании с отрицательной частицей *қырым* глагол в указанной форме обозначает, что данное действие не совершится, а с отрицательной частицей *ванэван* — что оно не совершилось (или не совершается), например: *ныкытгынтатын* «(пусть) побежит», *қырым ныкытгынтатын* «не побежит», *ванэван ныкытгынтатын* «не побежал (не бежит)». От этих сочетаний, чисто грамматических по своему характеру, нельзя произвести именное образование.

Итак, в конструкциях первой группы доминирует общее лексическое значение, в конструкциях второй группы — общее грамматическое значение. Между этими двумя группами имеется промежуточное звено. Его составляют аналитические конструкции, основным компонентом в которых являются деепричастия на *-(т)э*~ *-(т)а* и *эм-*~ *ам-... -(т)э*~*-(т)а* или глагол в отрицательной форме на *э-*~*а-... -кэ* ~ *-ка*, но сочетаются они с вспомогательными глаголами не второй группы *итык* и *рытык*, а первой — *нъэлык* и *рытчык*. Конструкции последнего типа выражают то же действие, что и конструкции первой и второй групп, но с указанием на его возникновение. Ср., например: *гылё-та итык* «(именно) скучать» — *гылё-та нъэлык* «(именно) заскучать», *ам-тэргат-а итык* «(только) плакать» — *ам-тэргат-а нъэлык* «(только) заплакать», *э-ӄулильэт-кэ итык* «не кричать»— *э-ӄулильэт-кэ нъэлык* «не закричать»; *агтат-а рытык* «(именно) гнать»— *агтат-а рытчык* «(именно) погнать», *эм-рэт-э рытык* «(только) везти»— *эм-рэт-э рытчык* «(только) повезти», *э-тиӈу-кэ рытык* «не тянуть» — *э-тиӈу-кэ рытчык* «не потянуть; не (стать) тянуть».

Специфика конструкций этой третьей группы обусловлена тем, что в них, как и в конструкциях второй группы, в качестве основного компонента выступает глагольное слово, которое по своему лексическому значению требует менее радикального преобразования, чем неглагольные компоненты в конструкциях первой группы; вместе с тем подчиненным компонентом являются вспомогательные глаголы первой группы, обладающие более ощутимым лексическим значением, чем такие же глаголы второй группы. В результате лексическое значение основного компонента конструкций третьей группы оказывается преобразованным в большей мере, чем в конструкциях второй группы, но в меньшей, чем в конструкциях первой группы. Конструкции третьей группы, как и двух первых групп, регулярно спрягаются; от них производятся и именные образования: *гылё-та нъалгыргын* («именно) скука (с начинательным значением)», *эм-рэт-э рытчыткогыргын* «(только) перевозка (с начинательным значением)» и т. д.

Следует отметить, что в каждой группе определенное количество аналитических конструкций также обусловлено и характером лексического значения их основного компонента: категориальной принадлежностью (имя, наречие, частица или глагол), конкретностью или отвлеченностью лексического значения, полноценностью его или ослабленностью. В этом разнообразии четко противопоставлены только наиболее характерные конструкции двух первых, так сказать, полярных групп. Преобладание общего лексического значения особенно ярко выражено в конструкциях с наречными словами на *-у*~ *-о*. Такие слова употребляются только в составе аналитической конструкции, причем она выражает переходное действие, в то время как соответствующее непереходное обозначается производным глаголом, однокорневым с данным наречием. Ср., например, *гынрыру* [6] *лыӈык* «оберегать», *гынрыру рытчык* «(начать) оберегать», *гынрырэтык* «оберегаться». Грамматическое значение в наибольшей мере преобладает в аналитических конструкциях с глаголами в отрицательных формах, особенно на *люӈ-*~ *лёӈ-... -(т)э*~ *-(т)а*, а также с глагольной формой на *-йгут*~*-йгот*. Остальные аналитические конструкции составляют ряд между этими, полярными по своему значению, конструкциями, осуществляя постепенный переход от преобладания лексического к доминированию грамматического значения.

Соотношение лексического и грамматического значений в аналитической конструкции в основном обусловлено степенью лексической ослаб-

---

[6] В самостоятельной функции выступает однокорневое наречие на *ны-...-ъэв*— *ныгынрыръэв* «осторожно, осмотрительно».

ленности вспомогательного компонента; определяющим в образовании семантики аналитической конструкции является ее основной компонент. Чем меньше лексически ослаблен вспомогательный компонент, тем больше его удельный вес в образовании лексического значения конструкции, тем меньше у этой конструкции лексической общности с ее основным компонентом, и в конструкции доминирует лексическое значение. И наоборот, чем больше лексически ослаблен вспомогательный компонент, тем меньше его роль в образовании лексического значения аналитической конструкции, тем ближе она лексически к своему основному компоненту, и в конструкции доминирует грамматическое значение. Никогда, однако, аналитическая конструкция не бывает лексически тождественной своему основному компоненту: лексическое значение ее основного компонента всегда в той или иной мере преобразовано за счет вспомогательного компонента.

Если в образовании лексического значения аналитической конструкции главную роль выполняет основной компонент этой конструкции, то в образовании ее грамматического значения ведущая роль принадлежит вспомогательному компоненту. Но сам по себе вспомогательный компонент не выражает грамматического значения всей аналитической конструкции (не является ее «грамматической формой» или «словоизменительной морфемой»). Он лишь участвует в образовании грамматического значения (грамматической формы) аналитической конструкции вместе с основным ее компонентом, правда, в большей мере, чем этот последний. Роль основного компонента в грамматическом значении аналитической конструкции всегда второстепенна, как и вспомогательного компонента в ее лексическом значении.

В зависимости от преобладания лексического или грамматического значения одни аналитические конструкции тяготеют к лексическим образованиям, другие — к грамматическим. Но ни одна из них не представляет собой ни чисто лексической единицы, ни чисто грамматической.

Отличительным признаком аналитической конструкции является не грамматическая ее цельность, а лексическая. Это отчетливо выявляется при сопоставлении аналитической конструкции с составным сказуемым. В нем, как и в аналитической конструкции, первый компонент имеет неизменную форму, второй — изменяющуюся, которая тоже дополняет первую, образуя с ней *в известной* мере *сложное грамматическое целое*. Но составное сказуемое представляет собой сочетание слов, объединенных только грамматически. Лексическая членимость такого сказуемого легко выявляется при постановке к нему вопроса: такой вопрос всегда является аналитическим образованием, компоненты которого относятся к соответствующим частям составного сказуемого. Например: *микыну н-ит-игыт?* «Кем являешься?» — *рыольу н-ит-игым* «пастухом являюсь»; *рэқу гэ-лгылин?* «за что приняли (чем посчитали)?» — *ярано гэ-лгы-лин* «за жилье приняли»; *рэқык ны-тэгъэң-тури?* «что (делать) хотите?» — *кэлиткук ны-тэгъэң-мури* «учиться хотим». К аналитическим конструкциям вопрос обычно ставится синтетически, так как он относится не к компонентам конструкции, а к объединяющей эти компоненты лексической цельности, хотя при этом и учитывается неодинаковая степень лексической монолитности этих конструкций. Вопрос к конструкциям, которые по лексической монолитности аналогичны слову, ставится только синтетически, как и к слову. Например: *рырэқэвык?* «что сделать?»— *кэтъок* «вспоминать», *ы'лгу лыңык* «любить»; *ръагыргын?* «что (за процесс)?»— *кэтъоткогыргын* «воспоминание», *ы'лгу лыңыткогыргын* «любовь». Уточняющий же вопрос к конструкциям с ослабленной лексической монолитностью

(грамматическое значение вспомогательного компонента приобретает при этом определенную автономию) может быть поставлен аналитически, например: *рэқыйгут рытык*? «что (велеть) сделать?»—*мигчирэтыйгут рытык* «(велеть) работать» и т. п. При этом к одним конструкциям уточняющий вопрос аналитически может быть поставлен регулярно, к другим — сравнительно редко, к третьим — только в единичных случаях. Но обычный, общий вопрос всегда ставится синтетически: *рырэқэвык?* «что делать?» — *мигчирэтыйгут рытык* («велеть) работать» и т. д.

Благодаря лексической цельности аналитической конструкции и грамматическая связь ее компонентов является более тесной по сравнению с другими словосочетаниями, в том числе и составным сказуемым. Имея самостоятельное грамматическое оформление и потенциальную выделимость, компоненты аналитической конструкции сочетаются по определенной модели и представляют собой неотъемлемые части лексического целого, которые тесно связаны в грамматическое единство. Своей лексической цельностью аналитическая конструкция аналогична слову. Но в отличие от слова она имеет раздельную оформленность своих компонентов, чем сходна со словосочетанием, от которого в свою очередь отличается цельным лексическим значением. Таким образом, в чукотском языке аналитические конструкции представляют собой явление, которое не может быть сведено ни к слову, ни к словосочетанию. Это особая языковая единица — аналитический комплекс. Все сказанное в основном относится и к аналитическим конструкциям других чукотско-камчатских языков. Различие касается лишь таких частностей, как бóльшая или мéньшая лексическая ослабленность соответствующих вспомогательных глаголов.

Аналитические конструкции чукотского языка (и чукотско-камчатских языков в целом) не имеют принципиального отличия от аналитических конструкций других языков. Как известно, в последнее время к аналитическим конструкциям относят более широкий круг языковых явлений, чем это делалось раньше, и сами конструкции трактуются значительно шире. В этой связи интересны исследования советских ученых в области индоевропейских языков и, особенно, тюркских и кавказских [7].

В индоевропейских языках аналитические конструкции принято рассматривать в грамматическом плане как «аналитическую форму слова»; при этом иногда отмечается, что компоненты аналитической конструкции объединены не только общим грамматическим значением, но и лексической цельностью.

Аналитические конструкции тюркских и кавказских языков по разнообразию своих типов имеют много общего с аналитическими конструкциями языков чукотско-камчатской группы. Однако в тюркских и кавказских языках аналитические конструкции обычно подразделяют на две группы: одни из них определяют как «аналитическую форму слова», другие относят к сфере словообразования («составные глаголы» и т. п.). Некоторые исследователи оспаривают такое подразделение, считая аналитические конструкции особыми словосочетаниями [8]. Приводимое в исследованиях многообразие аналитических конструкций, представляю-

[7] См., например: М. М. Гухман, Глагольные аналитические конструкции как особый тип сочетаний частичного и полного слова,сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955; А. И. Смирницкий, Морфология английского языка, М., 1959, стр. 62—99; А. А. Юлдашев, Система словообразования и спряжения глагола в башкирском языке, М., 1958, стр. 54—63, 147—153; Л. И. Жирков, Лакский язык, М., 1955, стр. 108, 112, 115, 116 и др.

[8] См., например: М. А. Кумахов, О так называемом аналитическом глаголообразовании, «Аналитические конструкции в языках различных типов».

щих собой цепь постепенного расхождения типов [9], по нашему мнению, позволяет предполагать, что в данном случае нет сколько-нибудь четкой грани между так называемой «аналитической формой слова» и другими аналитическими конструкциями.

Известно, что об аналитической конструкции как о «форме слова» обычно принято говорить лишь постольку, поскольку она находится в определенной грамматической соотнесенности с синтетическими формами слова, составляет с ними одну парадигму. Между тем аналитические конструкции чукотско-камчатских языков не имеют грамматической соотнесенности с синтетическими формами, не входят в один с ними парадигматический ряд. В некоторых языках (например, тюркских, кавказских) «аналитические формы слова» выделяются из числа более обширной группы аналитических конструкций. При этом исследователи нередко подходят к такому выделению субъективно и относят к «аналитическим формам слова» явления, далеко не однотипные с «аналитическими формами» индоевропейских языков [10]. В индоевропейских языках также эти формы не все исследователи признают чисто грамматическим явлением [11].

Следовательно, «аналитическая форма слова» — это чисто условное название частного случая из более обширного круга аналитических конструкций с лексически неравноценными компонентами. Но, как уже было отмечено, и этот частный случай не достаточно четко отграничивается от других конструкций. Что касается самого понимания аналитической конструкции как «формы слова», то оно представляется совершенно неоправданным. Несостоятельность представления о вспомогательном компоненте аналитической конструкции как о «словоизменительной морфеме слова» убедительно показали специальные исследования этих конструкций в индоевропейских языках (М. М. Гухман, А. И. Смирницкий), хотя и здесь аналитические конструкции продолжают определяться как «форма слова». Такое определение находится в явном противоречии с основными положениями самих исследователей. Как известно, все исследователи (в том числе и индоевропейских языков) признают, что аналитическая конструкция состоит из слов. Сочетание же слов никак не может быть формой слова, так как одним из определяющих признаков слова является его оформленность. Известно, что слово представляет собой неразрывное единство лексического и грамматического значений, причем грамматическое значение в свою очередь неотделимо от грамматической формы. Поэтому грамматическое значение одного слова никак не может быть выражено формой другого слова или же сочетанием слов, а потому не может быть «аналитической формы слова».

Сама аналитическая форма, о которой идет речь, несомненно в языке имеется. Она, как и форма обычного словосочетания, состоит из отдельных словесных форм, но тесно объединенных между собой лексическим значением аналитической конструкции. Таким образом, эта форма не принадлежит ни слову, ни словосочетанию, а является формой аналитической конструкции — специфической языковой единицы, противостоящей как слову, так и словосочетанию. Такую единицу чукотского языка мы называем а н а л и т и ч е с к и м к о м п л е к с о м.

---

[9] Например: Н. А. Б а с к а к о в, Аналитические и синтетические грамматические формулы — ступени морфологического развития слова, там же; е г о ж е, Каракалпакский язык, II, М., 1952, стр. 323 и сл.

[10] Например, А. А. Юлдашев (указ. соч.) выделяет «аналитические формы глагола» на более широкой основе, чем грамматическая соотнесенность их с синтетическими формами слова.

[11] См., например: А. И. С м и р н и ц к и й, указ. соч., стр. 60 и сл.

№ 3 1964

ОБ ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АТЛАСЕ*

Вопрос № 7. «Какого характера должны быть вопросники по морфологии и словообразованию? Каким образом и в какой мере следует учитывать парадигматические и словообразовательные связи отдельных форм при их картографировании?»

Лингвогеографическое обследование фактов словообразования имеет целью выявить, во-первых, систему аффиксов, которая существует в том или ином диалекте, а во-вторых, зафиксировать основные структурные типы слов, которые связаны с каждым из этих аффиксов. Анализ различных грамматик современных славянских языков и обобщающих исследований по словообразованию показывает, что большинство аффиксов, зафиксированных в славянской диалектной речи, обычно известно и литературным языкам. Программы по собиранию сведений для различных диалектологических атласов и опубликованные карты этих атласов (в том числе фонетические и морфологические) во многих случаях дают ценный материал о наличии тех или иных словообразовательных типов и конкретных суффиксов в отдельных славянских диалектах. К сожалению, широкая практика постановки вопросов по принципу «от значения к слову» приводит к тому, что на карте оказываются зафиксированными все слова, связанные с данным понятием, но не распространение данного слова в разных его значениях. Лишь в редких случаях такие карты дают возможность говорить об отсутствии в диалекте слова определенной структуры.

Карты, построенные по принципу «от слова к значению», позволяют проследить распространение того или иного слова в данной его форме по всей картографируемой территории. Такие карты позволяют также решить вопрос о том, с каким значением связана та или иная форма на территории данных говоров. Особое значение материалы таких карт приобретают в связи с тем, что в ряде случаев граница конкретного слова с данной структурой может быть и границей в употреблении этих структур, границей распространения тех или иных аффиксов. Показательно, что «Малый атлас польских говоров» использует в основном именно систему вопросов «от слова к значению».

При изучении фактов словообразования методами лингвистической географии возможны различные пути. Продуктивной представляется выдвинутая чешским славистом Буффой идея картографирования словообразовательного типа[1]. В синхронном плане в каждом языке существует система типовых структурных форм слов, которая обнаруживается при помощи морфемного анализа. Модель образования каждого конкретного слова устанавливается словообразовательным анализом, диахроническим по своей направленности. В ряде случаев подлинная модель вообще

* Продолжение публикации ответов на анкету, помещенную в № 5 за 1960 г. (стр. 45—46).

[1] Ср.: F. Buffa, K otázke slovotvorných typov substantív v slovanských nářečiach vzhl'adom na slovanský jazykový atlas, «Slavia», XXIX, 4, 1960.

не может быть установлена вне проникновения в историю отдельных слов. В целом аналогичным путем определяется и история формирования того или иного структурного типа слов.

Для примера обратимся к материалу современных русских псковских говоров. Здесь зафиксированы следующие структурные типы слов с суффиксом *-ыш*:

r-ыш[2] *болб-ыш* (семена картофеля), *гол-ыш* (блин), *горб-ыш* (горбун), *кат-ыш* (ребенок-толстяк; кусочек чего-н.), *мен-ыш* (налим);
r-л-ыш: *мяк-л-ыш* (бабочка; яйцо без скорлупы; толстяк; мягкий ком земли);
r-ен-ыш: *звер-ен-ыш* (бранно);
r-т-ыш: *тер-т-ыш* (крендель; испытанный, бывалый человек);
в-r-ыш: *в-ступ-ыш*;
за-r-ыш: *за-верт-ыш* (отвертка), *за-гвозд-ыш* (гвоздь), *за-стеб-ыш* (забитый человек);
из-r-ыш: *из-нос-ыш* (платок);
на-r-ыш: *на-граб-ыш* (горсть сена), *на-пад-ыш* (упавший плод);
над-r-ыш: *над-кол-ыш* (лучина), *над-кус-ыш* (надкусанный кусок);
о-r-ыш: *о-гар-ыш* (огарок свечи; окурок), *о-гиб-ыш* (ватрушка);
об-r-ыш: *об-вар-ыш* (пузырь);
от-r-ыш: *от-верт-ыш* (отвертка), *откус-ыш* (кусок хлеба);
пере-r-ыш: *пере-верт-ыш* (бойкий мальчик), *пере-гар-ыш* (железо);
по-r-ыш: *по-верт-ыш* (поворот дороги);
под-r-ыш: *под-вар-ыш* (вчерашняя пища), *под-плит-ыш* (налим);
при-r-ыш: *при-прят-ыш* (то, что припрятано);
про-r-ыш: *про-нос-ыш* (башмак);
раз-r-ыш: *рас-пар-ыш* (веник);
с-r-ыш: *с-бор-ыш* (толпа ребят), *с-пад-ыш* (упавший плод);
у-r-ыш: *у-бир-ыш* (остаток), *у-мор-ыш* (тощая скотина), *у-пад-ыш* (упавший плод);
о-r-л-ыш: *о-пух-л-ыш* (толстяк);
об-r-л-ыш: *об-руб-л-ыш* (обрубок; толстяк);
об-r-е-л-ыш: *об-гор-е-л-ыш* (обгоревшая вещь);
от-r-ен-ыш: *от-кол-ен-ыш* (тот, кто ушел из семьи);
на-r-т-ыш: *на-тер-т-ыш* (крендель);
о-r-т-ыш: *о-топ-т-ыш* (изношенный лапоть);
под-r-т-ыш: *под-рос-т-ыш* (о детенышах животных, о маленьких растениях);
не-до-r-ыш: *не-до-нос-ыш*, *не-до-прод-ыш* (остаток от распродажи), *не-до-род-ыш* (о плодах деревьев);
обо-r-ыш: *обо-рв-ыш* (лоскут).

Частные структурные типы слов могут быть объединены в структурные типы более общего характера — в структуры второго порядка (*R-ыш*, *R-S-ыш*, *p-R-ыш* и т. д.), а последние в свою очередь в еще более обобщенные структурные типы — структуры третьего порядка (*R-S*, *R-S-S*, *P-R-S*, где *S-* — любой суффикс)(см. табл. на стр. 80).

Непосредственно зафиксированы в диалекте могут быть лишь структуры первого порядка. Структурные типы и словообразовательные модели второго и третьего порядка могут быть построены на основе определенного числа однотипных в структурно-семантическом отношении образований (р я д о в с л о в).

Метод лингвистической географии отличается от метода монографического описания диалекта тем, что составителю атласа в основном должны быть уже известны почти все разновидности исследуемого явления, ему нужно лишь установить точные границы распространения каждого из них. Прежде чем разрабатывать вопросник по словообразованию, необходимо четко определить цель картографирования фактов словообразования и в связи с этим отсеять все проблемы, которые связаны с общей теорией структуры слова и словообразования, но не могут быть изучены методом лингвистической географии вообще или могут быть поставлены уже только впоследствии.

[2] Здесь и ниже *R*, *r* — корень, *S*, *s* — суффикс, *P*, *p* — приставка, *V*, *v* — основа глагола, *N*, *n* — существительного, *A*,*a* — прилагательного.

Структурные типы 3 порядка	Структурные типы 2 порядка	Структурные типы 1 порядка (частные)	Словообразовательные модели 1 порядка (частные)	Словообразовательные модели 2 порядка	Словообразовательные модели 3 порядка
R-S	*R*-ыш	*r*-ыш	*v*, *n*, *a* + ыш	*V* + ыш	*V* + *S*
		r-л-ыш	a_s (л) + ыш		
R-S-S	*R-S*-ыш	*r*-ен-ыш	n_s (ен) + ыш		
		r-т-ыш	a_s (т) + ыш		
		в-*r*-ыш	v_p (в) + ыш	*N* + ыш	*N* + *S*
		за-*r*-ыш	v_p (за) + ыш		
		из-*r*-ыш	v_p (из) + ыш		
		на-*r*-ыш	v_p (на) + ыш		
		над-*r*-ыш	v_p (над) + ыш	*A* + ыш	*A* + *S*
		о-*r*-ыш	v_p (о) + ыш		
		об-*r*-ыш	v_p (об) + ыш		
P-R-S	*P-R*-ыш	от-*r*-ыш	v_p (от) + ыш		
		пере-*r*-ыш	v_p (пере) + ыш		
		по-*r*-ыш	v_p (по) + ыш		
		под-*r*-ыш			
		при-*r*-ыш			
		про-*r*-ыш			
		раз-*r*-ыш			
		с-*r*-ыш			
		у-*r*-ыш			
		о-*r*-л-ыш			
		об-*r*-л-ыш			
P-R-S-S	*P-R-S*-ыш	от-*r*-ен-ыш			
		на-*r*-т-ыш			
		о-*r*-т-ыш			
		под-*r*-е-ыш			
P-R-S-S-S	*P-R-S-S*-ыш	об-*r*-е-л-ыш			
P-P-R-S	*P-P-R*-ыш	не-до-*r*-ыш			

Прежде всего очевидно, что нельзя ставить вопрос о картографировании общих словообразовательных моделей (моделей второго и третьего порядка), поскольку они представляют собой известную абстракцию, которая может быть определена только на основании целых р я д о в с л о в, однотипных в структурно-семантическом отношении. Специфика словообразовательных моделей второго и третьего порядка такова, что они не могут быть выявлены анкетным путем; при помощи анкетного метода сбора материала можно будет получить ответ только на вопрос о существовании в тех или иных диалектах частных структурных типов слов и словообразовательных вариантов общих моделей, соотносимых с этими структурами.

Конечно, если бы в каком-нибудь пункте или ряде близлежащих пунктов удалось бы зафиксировать не одно и не два слова с данной структурой и с одинаковым значением, а целые ряды таких слов, можно было бы говорить уже и о построении общего структурного типа слов, а на основе ряда словообразовательных моделей первого порядка о выведении соответствующей общей словообразовательной модели, характерной для подобных слов в этих говорах. Думается, однако, что реальные возможности сбора материала для атласа в полевых условиях таковы, что целью лингвогеографического изучения фактов словообразования может быть только фиксация, по возможности детальная, различных частных структурных типов слов.

Поскольку атлас не может ставить своей целью выявление тех или иных синхронных словообразовательных моделей, постольку атлас не может ставить своей целью и определение продуктивности тех или иных словообразовательных типов. Вопрос о продуктивности предполагает изучение отдельных конкретных словообразовательных моделей и установление количества конкретных слов, прежде всего инноваций, однотипных в структурно-семантическом отношении.

Вряд ли целесообразно стремиться отразить в общеславянском лингвистическом атласе словообразовательные явления заведомо поздние, нередко связанные с воздействием литературного языка на диалект (например слова с суффиксами *-ant*, *-izm*). От этих явлений следует отличать очень сложные и до сих пор мало изученные факты влияния словообразовательной системы церковнославянского языка на отдельные славянские диалекты. Например, праславянские модели с суффиксом *-ota*, широко представленные в церковнославянской письменности в словах с отвлеченным значением, проникнув в диалекты, приобрели в ряде из них (русский, украинский, польский и чешский языки) тенденции к обозначению лиц, животных и предметов. Некоторые из таких явлений могли бы дать интересный материал для общеславянского лингвистического атласа. Иногда высказываются предложения исследовать методом лингвистической географии все типы словообразования от морфологических до семантического[3]. В связи с этим следует сказать, что семантический способ словообразования вообще не является предметом лингвогеографического изучения. Вопрос о типах переноса значений может быть разрешен только после создания региональных словарей.

Вряд ли целесообразно, с другой стороны, ставить сегодня задачу лингвогеографического изучения сложных слов, хотя некоторые из типовых структур и могли бы быть предметом картографирования. Здесь следует учитывать, что исходя из целей и задач общеславянского лингвистического атласа, который должен дать материал прежде всего для истории изучения формирования отдельных славянских диалектов, сложные слова, являясь в большинстве случаев образованиями поздними, такого материала не дадут. Помимо этого, вопрос о сложных словах не только в славянских диалектах, но и в современных литературных языках изучен еще весьма недостаточно.

Таким образом, основной целью лингвогеографического изучения словообразования является прежде всего установление границ распространения тех или иных структурных типов слов и тех словообразовательных аффиксов, из которых состоит данная структура.

По характеру своего распространения аффиксы могут быть нескольких типов.

1. Аффиксы общеславянские по форме и по значению, по возможности образовывать те или иные структурно-семантические группы слов (ср. суффикс *-ĭja* в словах, обозначающих место, суффиксы *-un* и *-iĭa* в названиях лиц).

2. Аффиксы общеславянские по форме, однако по значению, по возможности образовывать отдельные структурно-семантические группы слов, распространенные лишь в части славянских диалектов (ср. суффикс *-ĭa* в названиях лиц, характерный лишь для русских, украинских, белорусских, польских, чешских и словацких диалектов).

3. Аффиксы по форме и по значению локализованного, но широкого распространения (ср. суффикс *-eĭ* в словах различных семантических

[3] Ср.: І. І. Ковалик, Словотвір і лінгвогеографія, «Праці X республіканської діалектологічної наради», Київ, 1961.

групп — названия лиц, животных, предметов, отвлеченных понятий; он не выходит за пределы восточнославянских диалектов, а также польского, чешского и словацкого языков).

4. Аффиксы по форме и по значению локализованного узкого распространения (ср. русский суффикс *-оток* в словах типа *ноготок*, *трескоток*, *топоток*).

5. Аффиксы, распространенные в данной форме одновременно в разных точках, а чаще на довольно значительных удаленных друг от друга территориях. Значение таких аффиксов и способность их образовывать те или иные структурно-семантические группы слов могут частично совпадать, а могут и различаться. Аффиксы этой группы не обязательно восходят к одному прототипу. Примеры: суффикс *-оп'а* в именах, обозначающих лиц и животных, распространен в ряде восточнославянских и западнославянских диалектов, а также в сербскохорватском языке. Слова с суффиксом *-уš* и *-uša* широко представлены в говорах русского севера и в словацких и сербскохорватских диалектах.

Очевидно, что лингвогеографическому изучению могут быть подвергнуты все пять типов аффиксов. Однако возможно, что в общеславянском атласе нецелесообразно подвергать картографированию первую группу. Видимо, с точки зрения лингвогеографического изучения фактов словообразования наибольший интерес представляют материалы, которые дают возможность сделать определенные выводы о противопоставлении тех или иных групп диалектов друг другу не на основе наличия соотносительных аффиксов, а на основе наличия их в одних диалектах на фоне отсутствия в других. Так, распространение слов с суффиксом *-ucha* говорит о противопоставленности современных русского, украинского, белорусского, польского и словацкого языков, где таких образований немало, диалектам южнославянским, где таких образований по существу нет.

Известно, что многие аффиксы сохранились только в составе собственных имен и прозвищ, некоторые из этих аффиксов свою продуктивность исторически получили именно в форме собственных имен того или иного типа. Некоторые суффиксы, которые трудно выявить среди нарицательных имен, легко могут быть обнаружены в сфере имен собственных. Ср. широкое распространение личных имен с суффиксом *-уš* в чешском и словацких диалектах (*Fabyš*, *Petyš*), с суффиксом *-ко* в болгарских (*Танко Стойко*).

Вряд ли, конечно, в вопросник общеславянского атласа по словообразованию можно будет поместить конкретные вопросы, связанные с картографированием структуры топонимов разного типа. Однако не следует отказываться от их дополнительной фиксации в процессе полевой работы. Такие материалы могли бы быть оформлены как приложение к ответам на вопросы по словообразованию.

Особо следует сказать о лингвогеографическом изучении экспрессивных элементов в словообразовании, и в частности, уменьшительно-ласкательных и увеличительных суффиксов. Здесь следует учесть факт существования аффиксов, которые унаследовали свою экспрессивную окраску еще от эпохи праславянских диалектов. Таковыми, например, являются большинство аффиксов с детерминативом *ch* (*-ach*, *-acha*, *-och*, *-icha*, *-uch*, *-ucha*).

Если лингвогеографическое обследование фактов словообразования ограничить фиксацией наличия или отсутствия тех или иных структур, это облегчит решение вопроса о фонетических вариантах одного и того же аффикса (*ota* — *oća*, *lo* — *dlo* и под.). В вопроснике должны быть представлены типовые слова как с тем, так и с другим фонетическим оформлением аффикса.

Одним из самых сложных является вопрос о возможности лингвогеографического изучения отдельных структурно-семантических групп слов, связанных с теми или иными суффиксами, а также коррелятивных отношений, существующих в рамках этих групп. Представляется нереальным выявить в рамках общеславянского лингвистического атласа типы суффиксов, связанных с определенными структурно-семантическими группами слов. Этот вопрос следует решать на втором этапе, после окончания сбора материалов. Нетрудно заметить, что стремление связать программу для собирания сведений по словообразованию с определенными структурно-семантическими группами слов делает ее технически громоздкой, уменьшает возможность постановки нужного числа вопросов для проверки тех или иных фактов. Если основной целью программы по словообразованию будет фиксация отдельных структурных типов слов, то в ней нетрудно будет предусмотреть вопросы, направленные на выявление некоторых структурных типов прилагательных, глаголов и наречий.

В заключение несколько слов о методике составления вопросника по словообразованию. Несомненно, что его составлению должна предшествовать определенная работа по пересмотру тех фактов, которые уже собраны и проанализированы в многочисленных исследованиях по славянскому словообразованию, в грамматиках отдельных языков; в ряде случаев потребуется обращение к словарям. Такая работа даст возможность предусмотреть в конкретных вопросах программы наиболее реальные структурные типы слов, которые могут быть в наличии в одних говорах, но отсутствовать в других. Естественно, что подобная предварительная работа по выявлению основных структурных типов слов для отдельных групп славянских диалектов должна быть коллективной.

Сам вопросник, по-видимому, должен представлять собой детально разработанную программу, которая предусматривала бы максимум явлений, реально возможных на территории тех или иных славянских диалектов. Не менее сложный и серьезный вопрос об отборе основ и корней, сочетаемость которых с различными морфемами должна быть подвергнута лингвогеографическому обследованию. Конкретные вопросы должны быть ориентированы на выявление сочетаемости тех или иных основ, представляющих по возможности разные лексико-грамматические группы с различными потенциально возможными аффиксами. Вопрос следует строить вне связи со структурно-семантическими группами, но исходя из определенных корней (основ). При этом основное внимание исследователя будет направлено на фиксацию наличия или отсутствия различных структурных типов слов. Вот примерный тип вопроса:

«Проверьте сочетаемость основы **gol* со следующими суффиксами имен существительных, запишите значение отмеченных слов: *b-a*, *ob-a*; *w-a*, *a-w-a*, *e-w-a*, *iw-a*, *ow-a*, *uw-a*; *g-a*, *ag-a*, *eg-a*, *ig-a*, *og-a*, *ug-a*; *k-a*, *ak-a*, *ek-a*, *ik-a*, *ok-a*, *uk-a*; *al'-a*, *el'-a*, *ul'-a*; *n-a*, *ňa*, *an-a*, *aň-a*, *en-a*, *eň-a*, *in-a*, *iň-a*, *on-a*, *oň-a*, *un-a*, *uň-a*; *ar-a*, *ur-a*; *s-a*, *us-a*; *ot-a*; *ch-a*, *och-a*, *ech-a*, *ich-a*, *och-a*, *uch-a*; *š-a*, *aš-a*, *eš-a*, *iš-a*, *oš-a*, *uš-a*; проверьте сочетаемость глагола **goliti* с приставками *za*, *na*, *o*, *ob*, *po*, *raz*, *v*, *s*; запишите значение отмеченных слов, проверьте сочетаемость этих же приставок с теми из суффиксальных образований, которые Вам удалось зафиксировать».

Вопрос информанту целесообразнее задавать в форме типа: «Говорят ли у Вас *pogolota*, *zagolucha*? Что означают эти слова?».

Экспериментальная проверка в полевой обстановке, проведенная летом 1963 г. на территории русских псковских говоров, показала целесообразность подобной методики сбора материала по словообразованию.

А. С. Герд (*Ленинград*)

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1964

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Й. ХАММ

СЕРБСКАЯ И ХОРВАТСКАЯ РЕДАКЦИИ ОБЩЕСЛАВЯНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Обычно говорится о двух, трех, четырех или пяти типах церковнославянского языка. При этом выделяют или русский, моравский и болгарский (Н. С. Трубецкой), или болгарский, сербский и русский (Х. Г. Лант), или чешский, сербскохорватский, словенский, русский, среднеболгарский (А. М. Селищев). П. Дильс различает основные типы (среднеболгарский, сербский, русский) и менее важные (хорватский, чешско-моравский, словенский); А. Вайан называет наряду с русским среднеболгарский, сербский, хорватский и моравский типы, причем хорватский и моравский объединяет в один общий, западный, хорватско-моравский тип. Дальше всех пошел М. Вейнгарт, который различает чешский (чешско-моравский) — хорватско-глаголический — среднеболгарский — сербский — русский — украинский и развивающийся на неславянской почве румынский варианты общеславянского литературного языка.

В последнее время среди словенских исследователей распространилось мнение о том, что Фрейзингские отрывки являются словенским, а не церковнославянским памятником; болгарские ученые считают так называемый среднеболгарский тип не редакцией церковнославянского языка, а прямым продолжением первоначального болгарского литературного языка; македонские исследователи больше склоняются к территориальному различению. Здесь из всей совокупности вопросов, связанных с рассмотрением различных редакций церковнославянского языка, будет рассмотрен следующий частный вопрос: можно ли говорить в отдельности о хорватской и сербской редакциях или их следует объединить? Если верно первое, то в чем состоит различие сербского и хорватского типов церковнославянского языка? Если верно второе, то каковы особенности общей редакции? Смысл этого вопроса прежде всего не в терминологии, а в уточнении местной принадлежности значительной части глаголических и кириллических рукописей сербского и хорватского происхождения.

Название «сербская редакция» является неправильным уже потому, что к этой редакции принадлежат также не сербские по происхождению чакавские (глаголические) памятники. Название же «сербскохорватская редакция» было бы слишком неопределенно. Чешские ученые в последнее время иногда употребляют название «хорватско-глаголическая редакция» (в отличие от «сербско-кириллической»), но это также не совсем удачная формулировка. Если предположить, что памятники хорватской редакции были лишь глаголическими, а сербской — кириллическими, то в этом случае в такой формулировке определение является излишним; наоборот, если предположить, что и в той и в другой редакциях существовали памятники, писанные и другой азбукой, то определение нельзя относить только к одной редакции.

Название «хорватско-глаголический» обыкновенно связывается с чакавским, а «сербско-кириллический» с штокавским наречиями. Это не-

верно и с национальной точки зрения. Правда, все чакавцы считают себя хорватами, но и многочисленные западные штокавцы, пользующиеся кириллицей, также считают себя хорватами, и не только теперь, но и несколько веков тому назад. Добавим еще, что И. В. Ягич предполагал сербское происхождение некоторых из глаголических памятников (например, «Апостола» Михановича и Гршковича). Все это показывает, насколько сложна классификация, в которой смешиваются критерии по различным культурным признакам (язык, письменность, национальность).

В действительности дело обстоит вовсе не так сложно. Прежде всего, видимо, следует сократить число критериев и строить классификацию только на языковых (но не узко грамматических) различиях. В этом смысле сербскую и хорватскую глаголическую и кириллическую письменность до конца XVIII в. можно назвать сербскохорватской или, если угодно, хорватскосербской, представленной в двух вариантах — з а п а д н о м, в котором есть и глаголические и кириллические памятники и который охватывает период от XI до XVI в., и в о с т о ч н о м, которому принадлежат только кириллические памятники и который лежит в пределах от XII в. до первых десятилетий XIX в. Географическая граница между этими двумя областями проходит приблизительно по линии, соединяющей устье р. Босны, через Боку Которскую с Баром (Antivari) в южной Далмации. По написанию букв сохранившихся памятников, а также по наречию различаем на западе два варианта: глаголический и кириллический; чакавский и штокавский, а на востоке только один: кириллический — штокавский.

Схематически можно это представить следующим образом:

Сербскохорватская редакция общеславянского литературного языка

Вариант западный

Вариант восточный

При желании можно (как это делается иногда по соображениям орфографии) восточный тип именовать с е р б с к и м, а западный — х о р в а т с к и м. Но поскольку эти названия имели различные значения и употребления, применение этих более новых, предреволюционных (послеромантических) критериев привело бы к неясности. Поэтому лучше было бы заменить эти национальные названия другими, географическими.

В чем состоит различие упомянутых вариантов, на чем основывается их разделение? В западноштокавском и восточноштокавском вариантах оно — если отвлечься от лексических и некоторых других признаков адстратного происхождения — главным образом количественное: запад по ряду особенностей консервативнее востока. Различие между штокавским (в целом) и чакавским (тоже в целом) типами одновременно качественное — поскольку это два различных наречия, в прошлом два литературных языка, и количественное — поскольку чакавщина в целом консервативнее штокавщины. Западная штокавщина в этом отношении представляет собой промежуточное звено, связывающее восток с западом.

Чакавское наречие (в целом) — и соответственно чакавские памятники — отличаются от штокавского по ряду признаков. Так, юс малый и ять в чакавском в известных положениях переходят в *a*, между тем как в штокавском первое всегда дает *e*, а второе *e*, *i* или *ije* (*ije*); ср. чакав. *počât*, *zajât*, *jazȕk* (и с метатезой *zaȕk*), *žaján*, *gňâzdȍ* — шток. *početi*, *za(uz)eti*, *jezik*, *žedan*, *gnezdo* / *gńizdo* / *gnijezdo*. Вообще рефлексы ятя в чакавской и в западной штокавской области более подвижны, чем на востоке, где раньше осуществлялась стабилизация одного рефлекса *e* (ср. правило Якубинского в приморье, на Кварнерских островах, в Истрии; ср. также икавско-екавские рефлексы в Боснии, Герцеговине, Лике, Славонии, формы типа *proljȁti*, *zaljȁti*, *sȉćam se*, *divȏjka* и т. п. в западноштокавской екавской области и т. д.). Группы **tj*, **dj*, **stj* переходили в восточноштокавской области в *ć*, *đ*, *št*, в западной в *ć*, *đ*, *šć*, а у чакавцев давали *t'*, *j* и *šć* (*noć* — *not'*, *rođen* — *rojen*, *kršten* — *kršćen*, *kršt'en*). *l* у чакавцев переходит в *j*, *g* в *γ*; у некоторых из юго-западных штокавцев *h* дает *γ*, у восточных штокавцев *h* отсутствует. *l* слоговое у чакавцев или остается без изменения (*mļzla* на о. Крк), или переходит в *el* (Омишаль, Врбник), *ol* (Добринь), *al* (обычно), или (вторично) в *u*, а у штокавцев дает только *u* или в окончании причастия прошедшего времени регулярно переходит в *-o*; в этом последнем положении в чакавском наречии *-l* или остается без изменения, или исчезает, а у западных штокавцев дает или *-a* (*vidiļa*), или стяженные окончания *-ao* > *-ō* или *-ā* (*dȍšō*, *pīsô*, *dȍšā*, *písā*, но вост.-шток. *dòšao*, *písao*, чакав. *prīšal*, *pīsāl*).

Уже из этого краткого перечня до некоторой степени видно, что есть основание предполагать более близкие связи западноштокавской и чакавской областей. Это следует также и из рефлексов начальных *v*, *vbs*, *vbz* (*vȁvīk*, *vȁzda*, *vâš* — вост.-шток. *ûš*, *Vazam* в значении «пасха»), из фактов словообразования (чакав. *ta čòvīk*, *smoki*, *loki*, *briti*, род. падеж *smokve*, *lokve*, *britve*— зап.-шток. *ta* (*covȉk*, *čòvjek*) *nâći* «квашня» — род. падеж. ед. числа *nać've*, мн. число *nać'ava*, *nać'av*). Ср. также факты инфлексии, например в спряжении, благодаря которой 3-е лицо повелительного наклонения, очень часто употреблявшееся в чакавских документах, послужило причиной коренных изменений в западноштокавском синтаксисе. Подобные же различия наблюдаются в разных областях морфологии и лексики и их историческом развитии. Когда в штокавской области (главным образом) творительный существительных на *-a* уже давно принял окончание *-om*, на западе (в западноштокавской области) еще в течение столетий говорили и писали *-ov* (а на островах Олиб и Силба это окончание употребительно до сих пор). У чакавцев здесь *-u* или *-un*; в род. падеже мн. числа у некоторых из западных штокавцев, как и чакавцев, вторичного окончания нет; у восточных штокавцев выступает *-ā*; в род. падеже мн. числа муж. рода в средние века у чакавцев было окончание *-ov*. Таким образом, общая консервативность, явившаяся отчасти результатом церковной организации, послужила причиной того, что на востоке в литургических текстах писали еще *iže*, *v sue*, *sьhraniti*, *vьnějudu*, *vênьcь*, *êko*, но *zbȍrište*, *zatvoriti*, *sramota* и *pridȍhь*, *prinesoše*, *obretȍh*, в то время как на западе писали *ki*, *v laži*, *sabljusti*, *vanь*, *koruna* и *kruna*, *lêki*, *sanamь*, *zaklopiti*, *studь*, *pridь*, *prinêse* (<*prinêsę*), *obrêtь* и т. д. Элементы традиционные, передаваемые под влиянием церковной иерархии, на востоке в литургических памятниках не создали особого литературно-художественного стиля, а на западе создали. Различия существовали также в самой азбуке. В кириллице, которой пользовалась вся штокавская область, например, для обозначения мягкого *l'*, *n'* западноштокавская часть использовала сначала глаголическую, потом латинскую, даже итальянскую традицию (*землѣ*, *земѣла*, *землѣа*).

а восточнославянская от св. Саввы и под болгарским и русским влиянием шла другим путем (*земли*).

Признаки, на основании которых восточноштокавский тип отличается от западноштокавского, могут быть: а) лексические, б) грамматические и в) палеографические. Первый и третий тип являются показателями ориентации, второй — показателем продуктивности и длительности (количества). Принадлежность к той или иной редакции определяется совокупностью всех трех показателей. При исследовании рукописи первостепенное значение имеют показатели типа (в), за ними следует тип (б) (где следует учитывать явления фонологии и морфонологии) и, наконец, (а) (сюда чужие влияния проникают легче всего). Диахроническое исследование лексики в чакавских [глаголических, показатель (б) и (в)] памятниках обнаруживает очень интересные явления относительно влияния из штокавской (западной) области в течение XIV и XV вв., когда наиболее важными центрами глаголической письменности были Лика и Крбава (на юге до Обровца, Задра и Ткона).

В области стилистической возможны следующие выводы:

1. Преднамеренные и широко осуществляемые стилистические экспансии существуют только в литературах, связанных с определенной традицией.

2. Такую традицию имела на западе хорватская глаголическая и на востоке сербская кириллическая письменность; в западной кириллической письменности ее не было, поэтому здесь не было и различий в стилях.

3. Православный восток в границах общеславянского литературного языка создал два стиля (литургический и житийный), по преимуществу католический и богомильский запад — только один (литургический). У хорватов в XV и XVI вв. в литургической письменности литературным считалось традиционно-общеславянское (церковнославянское), у сербов же под влиянием афонской школы в связи с житиями развился в границах общеславянского литературного языка еще особый торжественный стиль, какой не смог бы появиться на католическом и богомильском западе.

4. Хорватская глаголическая письменность с ее поэзией, церковными мистериями и т. д. явилась основой появления в XV в. богатой литературы Возрождения на народном языке. Востоку для проникновения народного языка (Вук Караджич, Негош) в литературу пришлось дожидаться романтизма.

5. Причиной такого соотношения было между прочим то, что потребность узкого слоя сербской интеллигенции в литературном творчестве удовлетворялась в церковном направлении житиями святых и легендами, а в светском (например, Раич и др.) — торжественным стилем русифицированной славяно-сербской редакции, преподаваемым в сербских школах в XVII и XVIII вв. У хорватов таких традиций не было ни в церковном, ни в светском отношении. Когда среди хорватских латинистов с конца XV в. возникло творчество на народном, славянском языке, они могли следовать за народным языком, пользуясь тем, что было создано раньше в чакавской глаголической письменности.

6. И в хорватской глаголической, и в сербской кириллической письменности существовал, кроме общеславянского, период русифицированной традиции, который на востоке, у сербов, сыграл большую культурную роль, а на западе прошел почти бесследно. Этот период является в лингвистическом и культурном отношениях очень интересным. Русификация глаголических литургических книг происходила почти без всякого непосредственного участия русских; в течение более чем двух столетий ее возглавляли католические священники.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1964

Ю. Я. ГЛАЗОВ

МОРФОФОНЕМИКА И СИНТАКТОФОНЕМИКА КЛАССИЧЕСКОГО ТАМИЛЬСКОГО ЯЗЫКА

(на материале «Тируккурала», IV—V вв. н. э.)

Информация передается в языке с помощью единиц сообщения, или смыслоразличительных единиц, которые состоят из сигнальных единиц, или фонем[1]. Тамильский язык характеризуется своеобразной дистрибуцией и детерминируемой ею системой пограничных сигналов, посредством которой реализуется делимитативная функция[2]. В данной статье нас интересует система пограничных сигналов на стыке двух морфем (морфофонемика) или двух слов (синтактофонемика)[3].

Представляется целесообразным кратко охарактеризовать основные признаки фонемной дистрибуции в тамильском. Фонологическая структура тамильского языка накладывает запрет на сочетание двух гласных подряд или двух взрывных согласных, но возможны сочетания согласных: сонанта и взрывного, взрывного и дрожащего или аффрикаты. Фонемы /m/ и /y/ являются единственными согласными фонемами, встречающимися во всех трех позициях: начальной, срединной и конечной. В начальной позиции после стыка наблюдаются фонемы: /k, c, t, n, p, v/; в срединной позиции: /k, ṅ, c, ñ, t, ṉ, p, r, l, v, ṟ, ḷ, r̲, n̲/; в конечной позиции: /ṉ, r, l, ṟ, ḷ, n̲/.

Конечные и начальные фонемы морфем и слов в результате взаимодействия подвергаются в определенных комбинациях существенным и строго определенным изменениям, которые в санскрите обозначаются термином «сандхи», а в тамильском языке, согласно грамматике Толкаппиям (первые века н. э.) — «puṇar-nilai», или «puṇar-moṟi-nilai»[4].

Сандхиальные изменения, происходящие в результате комбинаторных взаимовлияний начальных и конечных фонем морфем, составляющих слово, или минимально свободную форму, относятся к категории внутренних сандхи и рассматриваются в разделе морфофонемики, тогда как изменения, которым подвергаются соответствующие фонемы на стыке слов, относятся к категории внешних сандхи и рассматриваются в разделе синтактофонемики. Тамильский отличается достаточной полнотой морфофонематических и синтактофонематических изменений[5], причем древние тексты, в частности «Тируккурал» — классическое произведение тамильской афористической литературы первых веков н. э., весьма полно отра-

[1] Ch. F. Hockett, [рец. на кн.:] C. L. Shannon, W. Weaver, The mathematical theory of communication, «Language», 29, 1, 1953, стр. 72.

[2] О делимитативной функции см.: Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 299—301.

[3] Считаю своим долгом выразить искреннюю признательность чешскому дравидологу д-ру К. Звелебилу и Т. Я. Елизаренковой, высказавшим ценные критические замечания по рукописи статьи.

[4] См.: P. S. Subrahmanya Sastri, Comparative grammar of the Tamil language (далее обозначается сокращен. CGTL), Tiruvadi, 1947, стр. 74.

[5] См.: P. Meile, Quelques particularités du sandhi au tamoul, BSLP, XLV, 1 1949, стр. 135.

жают эти изменения. Это существенным образом облегчает задачу регистрации явлений внутреннего и внешнего сандхи.

Сандхи отражает тенденцию к устранению помех в сплошном потоке речи. В тамильской грамматической литературе принято классифицировать фонетические изменения в процессе сандхи по трем типам: выпадение звука (keṭutal), модификация звука (tirital), инкорпорация и удвоение звука (tōṉṟal). Эти изменения происходят в результате тенденции к устранению зияния, к ассимиляции и, в редких случаях, к диссимиляции.

Морфофонемика. 1.1. Касаясь прежде всего с а н д х и г л а с н ы х, следует отметить, что морфофонематические изменения, происходящие при взаимодействии конечных и начальных гласных в морфемах, отражают тенденцию к предотвращению зияния и характеризуются выпадением конечных гласных, инкорпорацией полугласных или начальных согласных, а также флективных инкрементов, представляющих собой сочетание гласных и согласных. В тамильском языке не наблюдается случаев такого взаимодействия гласных, при котором бы возникали другие фонемы, как это происходит, например, в санскрите или малаялам.

1. 1. 1. Выпадению подвергается конечный *и* преимущественно некорневых морфем. Относительно конечного *и* весьма трудно утверждать, является ли он отдельной фонемой, выступая в этом случае в качестве отдельной морфемы, или же представляет собой эвфонический звук. Выпадение конечного *и* глагольных и именных основ отмечается в позиции перед следующими начальными гласными ряда некорневых морфем: /a, i, u, ē, ai, o/. Случаи выпадения перед /ū, e, o, au/ не зарегистрированы.

1. 1. 2. При стечении конечных, кроме *и*, и начальных гласных наблюдается инкорпорация полугласных /v/, /y/, а также дентального /ṉ/, которые мы называем соединительными фонемами. Инкорпорация соединительных фонем, так же как и выпадение конечного *и*, отражает тенденцию к устранению зияния.

Инкорпорация /v/ отмечается в следующих случаях: /a/ + /a/ > /ava/; /a/ + /ā/ > /avā/; /a/ + /ō/ > /avō/; /ā/ + /ā/ > /āvā/; /u/ + /ā/ > /uvā/. Первый компонент означает конечный гласный глагольных и именных основ, второй — начальный гласный присоединяемых некорневых морфем.

Инкорпорация геминаты /vv/ наблюдается в случае присоединения морфемы 1-го лица мн. числа *-ēm* к глагольной корневой морфеме: *ovvēm* «мы не сравнимся» 1114.2[6] (< *o-vv-ēm*).

Инкорпорация /y/ отмечается в позициях: /i/ + /a/ > /iya/; /i/ + + /ā/ > /iyā/; /i/ + /i/ > /iyi/; /ī/ + /a/ > /īya/; /y/ + /a/ > /yyā/; /ai/+ + /a/ > /aiya/; /ai/ + /ā/ > /aiyā/; /ai/ + /u/ > /aiyu/; /ai/ + /ē/ > /aiyē/.

Таким образом, получаемый /v/ или его гемината /vv/ инкорпорируется после гласных среднего и заднего рядов и, как видно из вышеуказанного, перед гласными тех же рядов.

Полугласный /y/ инкорпорируется после глагольных и именных основ, оканчивающихся на гласные переднего ряда /i/, /ī/, перед некорневыми морфемами и флективными инкрементами, начинающимися с /a/, /ā/, /i/, а также после глагольных и именных основ, оканчивающихся на /y/ и дифтонг /ai/, перед некорневыми морфемами и флективными инкрементами, начинающимися с /a/, /ā/, /u/ и /ē/. Природу инкорпорируемого полугласного определяет предшествующий ему гласный: после широких гласных инкорпорируется /v/, а после узких гласных /y/.

---

[6] Цифрами здесь и далее указан номер двустишия «Тируккурала», откуда взят пример, и строка.

Инкорпорация назального /ṉ/, имеющая место при устранении зияния, наблюдается при присоединении: морфемы 3-го лица ед. числа жен. рода *-āḷ* к морфеме претерита *-i*[7]: *iṟaiñcinā̄l* 1093.1 (<*iṟaiñcu-iṉ-āḷ*); морфемы условного наклонения *-āl* к глагольной корневой морфеме *a*: *ānā̄l* 53.1 (<*ā-ṉ-āl*).

1.1.3. В морфофонемике классического тамильского языка выделяются флективные инкременты /iṉ/ и /aṉ/, лишенные всякого значения и называемые в тамильских грамматиках *cāriyai* (см. CGTL, стр. 76—77). К числу таких инкрементов можно также отнести /un/ в конструкциях типа *vāṟunam* (*vāṟ-un-am*) и /aṟṟu/. Конструкции, включающие инкременты /iṉ/, употребляются наравне с тождественными конструкциями, лишенными его; ср. *parriṉai* 350.1 (<*parru-iṉ-ai*) и *apparrai* 350.1 (<*a-p-parru-ai*). В обоих случаях к именной основе присоединяется морфема аккузатива *-ai*. Флективные инкременты возникают большей частью на границе морфем словообразования и словоизменения, и если предшествующая им морфема оканчивается гласным, то на стыке флективного инкремента и предшествующей морфемы происходит выпадение *u* или инкорпорация соединительных фонем /y/ и /v/: *nucuppiṟku* 1115.1 (<*nucuppu-iṉ-ku*), *pacaiyiṉaḷ* 1098.2 (<*pacai-y-iṉ-aḷ*).

Инкорпорация морфофонематического инкремента /-iṉ-/ отмечается при присоединении: 1) морфем косвенных падежей (локатива — *-uḷ*, аккузатива — *-ai*, аблатива инструментального — *-āṉ*, датива — *-ku*) к именной основе или основе косвенной формы, выраженной морфемой *-ttu*: *yāppiṉuḷ* 1093.2 (<*yāppu-iṉ-uḷ*), *parriṉai* 350.1 (<*parru-iṉ-ai*), *iyalbiṉāṉ* 47.1 (<*iyalbu-iṉ-āṉ*), *aṉbirkum* 71.1 (<*aṉbu-iṉ-ku-um*), *aṟattirkē* 76.1 (<*aṟa-ttu-iṉ-ku-ē*); 2) морфемы 3-го лица ед. числа жен. рода *-aḷ* к именной основе: *katuppiṉaḷ* 1105.2 (<*katuppu-iṉ-aḷ*).

Инкорпорация морфофонематического инкремента /-aṉ-/ отмечается при присоединении: 1) морфем косвенных падежей (аккузатива *-ai*, датива *-ku*) к местоименной форме *atu*: *ataṉai* 32.1 (<*atu-aṉ-ai*), *ataṟku* 1124.2 (<*atu-aṉ-ku*), а также в сложных конструкциях, где *atu* выступает в качестве словообразовательной морфемы: *eṉbilatanai* 77.1 (<*eṉbilatu-aṉ-āi*); 2) морфемы 3-го лица мн. числа Aḥr [8] к морфеме претерита: *iyaṉṟaṉa* 1106.2 (<*iyal-t-aṉ-a*).

Инкорпорация морфофонематического /un/, состоящего, строго говоря, из эвфонического *u* и назального инкремента /n/, наблюдается при присоединении морфемы прономинализованного имени 3-го лица ед. числа муж. рода *-aṉ* к именной основе, а также морфем *-am* и *-ar*, служащих для выражения соответственно 1-го лица и 3-го лица мн. числа *Uyar* в глагольных формах: *koṟuṉaṉ* 55.1 (<*koṟ-un-aṉ*), *vāṟunam* 1193.2 (<*vāṟ-un-am*), *vīṟunar* 1193.1(<*vīṟ-un-ar*). Пример типа *vīṟunar* «любящие» (указывает на интересный случай употребления соединительной фонемы /n/, предотвращающей появление нулевой морфемы отрицания в отличие от соединительных фонем /y/ и /v/ в таких конструкциях, как *aṟi-y-ār* 76.1 «незнающие» или *kā-v-ār* 127.1 «неохранящие».

Инкорпорация морфофонематического инкремента /-aṟṟu-/ отмечается при присоединении морфемы локатива *-uḷ* к морфеме прономинализо-

[7] Мнение, что морфемой претерита в таких конструкциях служит *iṉ*, едва ли можно считать основательным (см.: H. H. F i g u l l a, Die Struktur des Verbums in den dravidischen Sprachen, «Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin», 2. Abteilung — Westasiatische Studien, 1932, стр. 199). Морфофонематический характер /ṉ/ доказывается на примере конструкций претерита в малаялам: *nōkki* «[он] смотрел»; *tuṭaṅṅi* «[он] начинал».

[8] Посредством сокращения Aḥr обозначается Aḥriṉai, родовая категория имен низкого класса; посредством Uyar — Uyartiṉai, родовая категория имен высшего класса.

ванного имени 3-го лица мн. числа Аḥr посредством соединительной фонемы /v/: *perumavarruḷ* 61.1 (<*peru-um-ava-arru-uḷ*).

1.2. Сандхи согласных. Если на стыке морфем встречаются согласные фонемы, взаимодействие последних приводит к ассимиляции, которая может быть регрессивной или прогрессивной, частичной или полной. В процессе взаимодействия фонемы приобретают или утрачивают дифференциальные признаки, присутствующие или отсутствующие в смежной фонеме. Если при сочетании морфем встречаются гласная или согласная фонемы, то в ряде случаев наблюдается удвоение согласной фонемы.

1.2.1. Регрессивная ассимиляция иллюстрируется нижеприводимыми случаями.

/ṇ/ + /c/ → /ṭc/ — под влиянием глухого полусмычного *c* предшествующий назальный ретрофлексный сонант /ṇ/ превращается в глухой ретрофлексный смычный /ṭ/. Наблюдается при присоединении словообразовательной морфемы *-ci* к глагольной основе: *māṭci* 52.1 (<*māṇ-ci*), *kāṭci* 174.2 (<*kāṇ-ci*).

/m/ + /k/ → /ṁk/ — под влиянием глухого взрывного заднеязычного /k/ предшествующий лабиальный назальный сонант /m/ переходит в заднеязычный назальный /ṁ/. Наблюдается при присоединении морфемы *-kāl* к морфеме аориста настоящего-будущего времени 3-го лица ед. числа: *poṉṟuṁkāl* 36.2 (<*poṉṟu-um-kāl*).

/l/ + /k/ → /ṟk/ — под влиянием глухого взрывного заднеязычного /k/ предшествующий латеральный /l/ переходит в глухой дрожащий /ṟ/. Наблюдается при присоединении: 1) морфемы мн. числа Аḥr и Uyar *-kaḷ* к именным основам: *vāyccorkaḷ* 1100.1 (< *vayccol-kaḷ*); 2) падежных морфем: датива *-ku* и локатива *-kāṉ* к именной основе: *tirunutarku* 1123.2 (< *tirunutal-ku*), *pārkaṉ* 78.1 (< *pāl-kaṉ*); 3) морфемы оптатива *-ka* к морфеме отрицания *-al-*: *turavarka* 106.1 (< *tura-v-al-ka*); 4) морфемы аориста настоящего-будущего времени 3-го лица ед. числа Аḥr *-kum* к глагольной корневой морфеме: *nirkum* 1141.1 (< *nil-kum*).

/l/ + /p/ → /ṟp/ — под влиянием глухого взрывного лабиального /p/ предшествующий латеральный /l/ переходит в глухой дрожащий /ṟ/. Подобная аккомодация наблюдается при присоединении: 1) морфемы аориста настоящего-будущего времени *-p-* к глагольной основе: *nōṟpāriṉ* 48.2 (< *nōl-p-ār-iṉ*); 2) словообразовательной морфемы *-pu* к глагольной морфеме: *karpu* 54.1 (<*kal-pu*).

/l/ + /m/ → /ṉm/ — под влиянием лабиального назального /m/ предшествующий латеральный /l/ переходит в дентальный назальный /ṉ/. Наблюдается при присоединении словообразовательной морфемы *-māi* к именной или глагольной корневым морфемам: *nōṉmai* 48.2 (<*nōl-mai*), *aṉmai* 172.2 (< *al-mai*).

/ṉ/ + /k/ → /ṟk/ — под влиянием глухого взрывного заднеязычного /k/ предшествующий дентальный назальный /ṉ/ переходит в глухой дрожащий /ṟ/, как и в случае /l/ + /k/ → /ṟk/. Наблюдается при присоединении морфемы датива *-ku* к морфеме прономинализованного имени 3-го лица ед. числа муж. рода *-aṉ* или к флективному инкременту /-iṉ-/ либо /-aṉ-/: *oruvarku* 40.1 (<*oru-v-aṉ-ku*), *makarku* 110.2 (<*mak-aṉ-ku*), *atarku* 1124.2 (<*atu-aṉ-ku*), *aṉaittiṟke* 1129.1 (<*aṉaittu-iṉ-ku-ē*).

/ḷ/ + /k/ → /ṭk/ — под влиянием глухого взрывного заднеязычного /k/ предшествующий латеральный ретрофлексный /ḷ/ переходит в глухой взрывной ретрофлексный /ṭ/. Наблюдается при присоединении морфемы оптатива *-ka* к глагольной корневой морфеме: *kēṭka* 695.2 (<*kēḷ-ka*).

/ḷ/ + /b/ → /ṇb/ — под влиянием звонкого взрывного лабиального /b/ предшествующий латеральный ретрофлексный /ḷ/ переходит в назальный

ретрофлексный /ɳ/. Наблюдается при присоединении словообразовательной морфемы *bu* к глагольной корневой морфеме: *naɳbu* 74.2 (<*naḷ-bu*).

/ḷ/ + /p/ → /ʈp/ — под влиянием глухого взрывного лабиального /p/ предшествующий латеральный ретрофлексный /ḷ/ переходит в глухой взрывной ретрофлексный. Наблюдается при присоединении морфемы *-pu*, являющейся алломорфом *-bu*, к глагольной корневой морфеме: *naʈpu* 106.2 (<*naḷ-pu*). Таким образом, все фонетическое различие *naɳbu* и *naʈpu*, имеющих одинаковое значение, ведет к аллофонам *p* и *b*.

/ḷ/ + /m/ → /ɳm/ — под влиянием лабиального назального /m/ предшествующий ретрофлексный /ḷ/ переходит в назальный ретрофлексный /ɳ/. Наблюдается при присоединении словообразовательной морфемы *-mai* к глагольной основе: *āɳmai* 81.2 (<*āl-mai*), *kēɳmai* 106.1 (<*kēḷ-mai*).

1.2.2. Прогрессивная ассимиляция наблюдается сравнительно более редко, чем регрессивная ассимиляция.

/ɳ/ + /t/ → /ɳʈ/ — под влиянием назального ретрофлексного /ɳ/ последующий взрывной дентальный /t/ переходит в звонкий взрывной ретрофлексный /ʈ/. Наблюдается при присоединении морфемы претерита *-t-* или словообразовательной морфемы *-tal* к глагольной основе: *kaɳʈār* 91.2 (<*kāɳ-t-ār*), *uɳʈal* 82.2 (<*uɳ-tal*).

/n̲/ + /t/ → /n̲r/ [9] — под влиянием назального дентального /n̲/ последующий взрывной дентальный /t/ переходит в звонкую дентальную аффрикату /dr̲/. Наблюдается при присоединении: 1) морфемы претерита *-t-* к глагольной основе: *īn̲ru* 97.1 (<*īn̲-t-u*), *en̲ru* 174.1 (<*en̲-t-u*); 2) морфемы прономинализованного имени 3-го лица ед. числа Abr *-tu* к именной основе: *naṉr̲u* 49.2 (<*nal-tu*), *iyalbiṉr̲u* 331.1 (<*iyalbu-iṉ-tu*).

1.2.3. Взаимная ассимиляция иллюстрируется следующими случаями.

/ḷ/ + /t/ → /ɳʈ/ — под влиянием взрывного дентального /t/ предшествующий латеральный ретрофлексный /ḷ/ переходит в назальный ретрофлексный /ɳ/, а под влиянием /ḷ/ последующий /t/ переходит во взрывной ретрофлексный /ʈ/. Наблюдается при присоединении: 1) морфемы претерита *-t-* к глагольной корневой морфеме или основе: *koɳʈāɳ* 56.1 (<*koḷ-t-āɳ*), *maruɳʈu* 1139.2 (<*maruḷ-t-u*); 2) словообразовательной морфемы *-tu* к глагольной корневой морфеме: *uɳʈu* 54.2 (<*uḷ-tu*), *vēɳʈu* 177.1 (<*vēḷ-tu*).

/ḷ/ + /t/ → /ʈʈ/ — в процессе полной ассимиляции латеральный ретрофлексный /ḷ/ и взрывной дентальный /t/ образуют глухой взрывной ретрофлексный /ʈʈ/. Наблюдается в случаях, тождественных /ḷ/ + /t/ — → /ɳʈ/ : *kēʈʈa* 69.2 (<*kēḷ-t-a*), *kēʈʈal* 65.2 (<*kēḷ-tal*).

/l/ + /t/ → /n̲r/ — под влиянием последующего взрывного дентального /t/ латеральный /l/ переходит в назальный дентальный /n̲/, а /t/ под влиянием предшествующего согласного переходит в звонкую аффрикату /dr̲/. Подобное явление взаимной ассимиляции наблюдается при присоединении: 1) морфемы претерита *-t-* к глагольной корневой морфеме или основе: *niṉra* 41.2 (<*nil-t-a*), *iyaṉra* 1106.2 (<*iyal-t-a*); 2) словообразовательных морфем *-tu* и *-ti* к глагольным или адъективным корневым морфемам: *koṉru* 109.1 (<*kol-tu*), *naṉru* 109.2 (<*nal-tu*), *naṉ-ri* 67.1 (<*nal-ti*).

/l/ + /t/ → /r̲r̲/ — при сочетании латерального /l/ и взрывного дентального /t/ происходит также и полная ассимиляция, при которой возникает глухая аффриката /r̲r̲/. Наблюдается при присоединении морфемы претерита *-t-* к глагольной основе: *norr̲āɳ* 70.2 (<*nōl-t-āɳ*).

/r̲/ + /t/ → /r̲r̲/ — при сочетании дрожащего /r̲/ и взрывного дентального /t/ происходит полная ассимиляция, при которой возникает глухая

---

[9] Сочетание /n̲ r̲/ произносится как *ndr̲*, где *dr̲* рассматривается в качестве звонкой зубной аффрикаты.

аффриката /rr/, как и в случае /l/ + /t/ → rr. Наблюдается при присоединении морфемы претерита *-t-* к глагольной корневой морфеме: *cerrār* 1097.1 [< *cer(u)-t-ār*].

1.2.4. Удвоение согласного. При сочетании морфем, финаль и инициаль которых представляют собой соответственно гласную и согласную фонемы, наблюдается удвоение следующих согласных: взрывных /k/ и /p/, которыми начинается морфема, и сонантов /ṉ/, /l/, /ḷ/, /m/, /ṯ/, которыми заканчивается морфема.

1.2.4.1. Удвоение согласной инициали морфемы. Удвоение /k/ наблюдается при присоединении словоизменительных морфем локатива *-kaṉ* и условной формы *-kāl* соответственно к именным и глагольным основам: *manattukkaṉ* 34.1 (*mana-ttu-k-kaṉ*), *kāvākkāl* 127.1 (< *kā-v-ā-k-kāl*), *viṭṭakkāl* 69$\overline{5}$.2 [*viṭ(u)-t-a-k-kāl*].

Удвоение /p/ наблюдается при присоединении к морфеме инфинитива *-a*, *-kka* морфемы пассива *-paṯu*: *pōṟappaṭā* 1108.2 [*pōṟ-a-p-paṭ(u)-ā*], *vaikkappaṭum* 50.2 [< *vai-kka-p-paṭ(u)-um*].

1.2.4.2. Удвоение согласной финали морфемы. Удвоение /ṉ/, финали корневой морфемы, наблюдается при присоединении словообразовательных и словоизменительных морфем прономинализованного имени 3-го лица ед. числа муж. рода *-āṉ*, 3-го лица ед. числа жен. рода *-āḷ*, претерита *-i*, аблатива *-iṉ*, комитатива *-oṭu*, локатива *-uḷ*: *kaṉṉāṉ* 1103.1 (< *kaṉ-ṉ-āṉ*), *kaṉ-ṉāḷ* 1125.2 (< *kaṉ-ṉ-āḷ*), *nuṉṉiyar* 1126.2 (< *nuṉ-ṉ-i-y-ar*), *penniṉ* 54.1 (*peṉ-ṉ-iṉ*), *kaṉṉoṭu* 1100.1 (< *kaṉ-ṉ-oṭu*), *kaṉṉuḷḷār* 1127.1 (< *kaṉ-ṉ-uḷ-ḷ-ār*).

Удвоение /l/, которым заканчивается корневая морфема, наблюдается при присоединении к ней словообразовательных и словоизменительных морфем *-aval*, *-aṯu*, *-ai*, *-a*, *-ār*: *illaval* 53.1 (< *il-l-aval*), *nallavai* 96.1 (< *nal-l-avai*), *illatu* 53.1 (< *il-l-atu*), *illai* 61.1 (< *il-l-ai*), *val laiyēl* 1118.1 (< *val-l-ai-y-ēl*), *mella* 1094.1 (< *mel-l-a*), *nalla* 1115.2 (< *nal-l-a*), *illār* 1140.1 (< *il-l-ār*)

Удвоение /ḷ/, финали корневой или некорневой морфемы, наблюдается при присоединении корневой морфемы и некорневых морфем аблатива *-iṉ* и прономинализованного имени 3-го лица мн. числа Ahr *-ār*: *uḷḷār* 216.1 (< *uḷ-l-ār*), *kaṉṉuḷḷiṉ* 1126.1 (< *kaṉ-ṉ-uḷ-l-iṉ*), *kaṉṉuḷḷar* 1127.1 (< *kaṉ-ṉ-uḷ-ḷ-ār*).

Удвоение /m/, финали корневой морфемы, наблюдается при присоединении к ней морфемы аблатива *-iṉ*; *tammiṉ* 68.1 (< *tam-m-iṉ*).

Удвоение /ṉ/, финали корневой морфемы, наблюдается при присоединении к ней словоизменительных морфем аориста настоящего-будущего времени 3-го лица ед. числа Ahr *-um*, причастия отрицательной формы *-ā*, аблатива *-iṉ*; *eṉṉum* 54.1 (<*eṉ-ṉ-um*), *iṉṉā* 109.1 (< *iṉ-ṉ-ā*), *niṉṉiṉum* 111.1 (< *niṉ-ṉ-iṉ-um*).

1.2.5. Инкорпорация соединительной фонемы *-a-* отмечается при присоединении: 1) морфемы датива *-kku* к основе косвенной формы местоимений *yām* «мы» и *tām* «сами»: *emakku* 1114.2 (< *em-a-kku*), *tamakku* 72.1 (< *tam-a-kku*); 2) словообразовательной морфемы *-vu* к глагольной корневой морфеме: *kaḷavu* 1091.1 (< *kaḷ-a-vu*), *varavu* 1151.1 (< *vara-vu*).

1.2.6. В ряде случаев наблюдается компенсаторное удлинение корневого гласного /ā/: *pāttu* 44.1 (< *paku-tt-u*), *ōr* 1098.1 [< *oru* (*ōrer*)], *pēr* 215.2 [< *peru* (*pērarivu*)]. В первом случае компенсаторное удлинение вызвано выпадением интервокального /k/, в последних случаях — выпадением конечного *u*, что ставит под сомнение предположение об эвфоническом характере этой фонемы.

Синтактофонемика. 2. Ниже будут рассмотрены фонематические изменения, отмечаемые на границе слов, или, иными словами, внешнее

сандхи. Некоторые исследователи высказывают суждение, что в тамильском языке в общем нет различия в закономерностях внутреннего и внешнего сандхи [10]. Нижеследующий анализ позволит выяснить правильность или степень точности такого суждения. Вместе с тем едва ли можно согласиться с мнением, что в тамильском при сочетании слов правильное применение законов сандхи возможно при условии знания значения слов, что не является обязательным в аналогичных случаях в санскрите (CGTL, стр. 74). Представляется излишним подразделение (в соответствии с грамматикой Толькаппиям) внешних сандхи на падежные сандхи (*vēṟṟumai kuṟitta puṇar moṟi nilai*) и беспадежные сандхи (*vēṟṟumai-y-alvaṟip puṇar moṟi nilai*).

2.1. Выпадение *u* отмечается перед начальными гласными *a*, *ā*, *i*, *ī*, *u*, *ū*, *e*, *ē*, *o*, *ō*. Случаев выпадения *u* перед дифтонгами /ai/ и /au/ не встречается. В данном случае наблюдается выпадение /a/ перед /u/: *kāmuṟṟār* «те, что обуреваемы страстью» 1133.2 (<*kāma* [11] + *uṟṟār*).

При устранении зияния во внешних сандхи наблюдается инкорпорация полугласных соединительных фонем /y/ и /v/. Полугласный /v/ инкорпорируется после слова, оканчивающегося гласной среднего или заднего рядов; полугласный /y/ инкорпорируется после слова, оканчивающегося гласным переднего ряда или дифтонгом /ai/. Инкорпорация /v/ отмечается в различных синтагмах в позициях: /a/ + /a/ > /ava/; /a/ + /ā/ > > /avā/; /a/ + /i/ > /avi/; /a/ + /u/ > /avu/; /a/ + /o/ > /avo/; /ā/ + /ā/ > > /āvā/; /a/ + /i/ > /avi/; /ā/ + /u/ > /āvu/; /ō/ + /a/ > /ōva/.

Инкорпорация геминаты /vv/ наблюдается в атрибутивных синтагмах при взаимодействии прономинальных адъективов *i* «этот» и *e* «какой» с именными основами, начинающимися соответственно с долгого /ū/ или краткого /u/; например, /ivvūr/ «это селение» 1129.2 (< *i* «этот» + *vv* + + *ūr* «селение»).

Инкорпорация /y/ наблюдается в различных синтагмах в позициях: /i/ + /a/ > /iya/; /i/ + /ā/ > /iyā/; /ī/ + /i/ > /iyi/; /ī/ + /e/ > /iye/; /ē/ + + /a/ > /ēya/; /ē/ + /i/ > /ēyi/; /ē/ + /u/ > /ēyu/; /ē/ + /ē/ > /ēyē/; /ē/ + + /o/ > /ēyo/; /ai/ + /a/ > /aiya/; /ai/ + /ā/ > /aiyā/; /ai/ + /i/ > /aiyi/; /ai/ + /e/ > /aiye/.

2.2. В сфере внешнего сандхи согласных, как и во внутреннем сандхи, наблюдается регрессивная и прогрессивная ассимиляция, но в отличие от внутреннего сандхи здесь отмечаются более частые случаи полной ассимиляции.

2.2.1. Регрессивная ассимиляция проявляется в следующих случаях.

/ɳ/ + /p/ → /ṭp/ — под влиянием глухого взрывного лабиального /p/ предшествующий назальный ретрофлексный /ɳ/ переходит в глухой взрывной ретрофлексный /ṭ/. Наблюдается в адвербиальных синтагмах: *nayaṇuṭaiyāṇkaṭpaṭin* 216.2 (<*nayaṇuṭaiyāṇkaṇ* + *paṭin*).

/m/ + /k/ → /ṅk/ (ср. 1.1.2) — наблюдается в субъектных, объектных, атрибутивных синтагмах: *cirunōkkaṅkāmāttil* 1092.1 (<*cirunōkkām* + + *kāmattil*), *turantārkkuṅtuvvātavarkkum* 42.1 (<*turantārkkum tuvvātavarkkum*), *eṉṉuṅkuṟṟu* 29.1 (<*eṉṉum* + *kuṟṟu*).

/m/ + /c/ → /ñc/ — под влиянием щелевого дентального /c/ предшествующий лабиальный назальный /m/ переходит в палатализованный дентальный назальный /ñ/. Наблюдается в атрибутивных, объектных

[10] P. S. Subrahmanya Sastri, Historical grammar of the Tamil language, Annamalainagar, 1945, стр. 103.

[11] *Kāma* — санскритское заимствование. Возможно, однако, что с *uṟu* сочетается не *kāma*, а *kām*, ср.: K. Zvelebil, Iṉiyavaiṉāṟpatu, AO, 26/31, 1958, стр. 411. Возможно также, что форма *kāmuṟu* явилась результатом выпадения слога *vu* в *kāmavuṟu*, где *v* инкорпорировалось для устранения зияния.

и предикативных синтагмах: *koḷḷuñciru* + *nōkkam* 1092. 1 (< *koḷḷum* + + *cirunōkkam*), *ellāñceyal*¦ 33.1 (< *ellām* + *ceyal*), *iṉbañcevikku* 65.2 (< *iṉbam* + *cevikku*);

/m/ + /t/ → /nt/ — под влиянием глухого взрывного дентального /t/ предшествующий лабиальный назальный /m/ переходит в дентальный назальный /n̪/. Наблюдается в субъектных, объектных, атрибутивных и предикативных синтагмах: *marantaḷirttarru* 78.2 (< *maram* + *taḷirttarru*), *eṟuppirappuntīyavai* 62.1 (< *eṟuppirappum* + *tīyvai*), *peruntakka* 54.1 (< *perum* + *takka*), *palavuntarum* 275.2 (< *palavum* + *tarum*).

/l/ + /k/ → /rk/ (ср. 1.21) — наблюдается в объектных синтагмах: *corkāttu* 56.1 (< *col* + *kāttu*).

/l/ + /c/ → /rc/ — под влиянием глухой дентальной аффрикаты /c/ предшествующий латеральный /l/ переходит в глухой дрожащий /r̪/. Наблюдается в адвербиальных синтагмах: *ceyyāmarceyta* 101.1 (< *ceyyāmal* + *ceyta*).

/l/ + /p/ → /rp/ (ср. 1.21) — аккомодация латерального /l/ под влиянием последующего глухого взрывного лабиального /p/ [12] . Наблюдается в адвербиальных и других синтагмах: *poṉṟuṅkāl* + *poṉṟā*). 36.2 (< *poṉṟuṅkāl* + *poṉṟā*).

/l/ + /p/ → /np/ — под влиянием взрывного лабиального /p/ предшествующий латеральный /l/ переходит в дентальный назальный /n/. Наблюдается в атрибутивной синтагме *vaṉpāl* 78.1 (*val* + *pāl*). Возможно и то, что здесь имеет место обычное для языка «Тируккурала» чередование /l/ > /n/, например, в морфеме локатива *-il/-iṉ*.

/l/ + /m/ → /nm/ — под влиянием лабиального назального /m/ предшествующий латеральный /l/ переходит в назальный /n̪/. Наблюдается в атрибутивных и объектных синтагмах: *naṉmakkaḷ* 60.2 (< *nal* + *makkaḷ*), *micciṉmicaivān* 85.2 (< *miccil* + *micaivāṉ*).

/n̪/ + /k/ → /rk/ (ср. 1.21) — аккомодация наблюдается в объектных и адвербиальных синтагмах: *tarkāttu* 56.1 (< *taṉ* + *kāttu*), *kāṉirkuvaḷai* 1114.1 (< *kāṉiṉ* + *kuvaḷai*).

/n/ + /p/ → /rp/ — под влиянием глухого взрывного лабиального /p/ дентальный назальный /n̪/ переходит в глухой и дрожащий /r̪/. Наблюдается в субъектных и адвербиальных синтагмах: *perrārperiṉ* 58.1 (< *perrāṉ* + *periṉ*), *periṟperuvar* 58.1 (< *periṉ* + *peṟuvar*).

/ḷ/ + /k/ → /ṭk/ (ср. 1.2.1) — наблюдается в объектной синтагме: *crmporuṭkaṇṭār* 91.2 (< *cemporuḷ* + *kaṇṇār*).

/ḷ/ + /c/ → /ṭc/ — под влиянием глухой дентальной аффрикаты /c/ предшествующий латеральный ретрофлексный /ḷ/ переходит в глухой взрывной ретрофлексный /ṭ/. Наблюдается в объектных синтагмах: *celvattuṭcelvam* 241.1 (< *celvattuḷ* + *celvam*).

/ḷ/ + /p/ → /ṭp/ (ср. 1.2.1) — наблюдается в объектных синтагмах: *makkaṭpērru* 60.2 (< *makkaḷ* + *pēru*).

/ḷ/ + /m/ → /ṇm/ (ср. 1.2.1) — наблюдается в объектных синтагмах: *makkaṇmei* 65.1 (< *makkaḷ* + *mei*).

2.2.2. Прогрессивная ассимиляция наблюдается в комбинации /n̪/ + /t/ → /n̪r̪/ (ср. 1.2.2) в объектных синтагмах: *koṟunaṉ roṟutu* 55.1 (< *koṟunaṉ* + *toṟutu*), *aṭaṅkiyāṉrōrram* 124.1 (< *aṭaṅkiyāṉ* + *tōrram*).

2.2.3. Синтактофонемика отличается от морфофонемики как более частными случаями взаимной ассимиляции, так и ее богатой вариантностью.

---

[12] Древние надписи на языке малаялам свидетельствуют о том, что /l/ не переходит в/ r̪/. В этих случаях наблюдалась тенденция удвоения взрывного; см.: A. C. S e k h a r, Evolution of Malayalam, Poona, 1956, стр. 36.

/l̤/ + /t/ → /ṯṯ/ ~ /ṯ/ — взаимодействие латерального ретрофлексного /l̤/ и взрывного дентального /t/ вызывает ассимиляцию, при которой возникает либо удвоенный глухой взрывной ретрофлексный /ṯṯ/, либо краткий звонкий взрывной ретрофлексный /ṯ/.

/l̤/ + /t/ → /ṯṯ/ наблюдается в объектных синтагмах: *meṉrōṯṯuyiliṉ* 1103.1 (< *meṉrōl̤* + *tuyiliṉ*).

/l̤/ + /t/ → /ṯ/ наблюдается в субъектных синтагмах: *marṟaiyavarkaṭavam* 263.2 (< *marṟaiyavarkal̤* + *tavam*).

/ṉ̤/ + /t/ → /nṟ/ ~ /rṟ/ — взаимодействие дентального назального /n/ и взрывного дентального /t/ вызывает либо частичную прогрессивную ассимиляцию /ṉ̤/ + /t/ → /nṟ/ (ср. 2.2.2) — если /ṉ̤/ следует за гласной заднего ряда, либо полную взаимную ассимиляцию — если /ṉ̤/ следует за гласной переднего ряда, при этом возникает глухая дентальная аффриката /rṟ/. /n/ + /t/ → /rṟ/ наблюдается в объектных синтагмах: *tammirṟam* 68.1 (< *tammiṉ* + *tam*).

/l̤/ + /t/ → /nṟ/ ~ /rṟ/ ~ /ṟ/ — взаимодействие латерального /l̤/ и взрывного дентального /t/ вызывает взаимную ассимиляцию, в результате которой возникает либо стяжение из дентального назального и звонкой дентальной аффрикаты /dr/, либо образуется глухая палатализованная дентальная аффриката /tr/ или же краткий дрожащий /ṟ/. Так, /l̤/ + /t/ → /nṟ/ наблюдается в атрибутивной синтагме: *mēṉrōl̤* 1103.1 (< *mēl̤* + *tōl̤*); /l̤/ + /t/ → rr встречается в объектной и адвербиальной синтагмах: *nilayirriyātu* 124.1 (< *nilayil̤* + *tiriyātu*), *nōkkā kkārraṉōkki* 1095.1 (< *nōkkākkāl̤* + *tāṉōkki*); /l̤/ + /t/ → /ṟ/ отмечается в субъектных и объектных синтагмах: *ōmbaṟalai* 43.2 (< *ōmbal̤* + *talai*), *okkaṟāṉ* 43.1 (< *okkal̤* + *tāṉ*).

2.2.3.1. Синтактофонемика языка «Тируккурала» характеризуется такими случаями полной взаимной ассимиляции, при которой в результате взаимодействия двух согласных возникает один краткий согласный, как в вышеуказанных случаях /l̤/ + /t/ → /ṯ/ и /l̤/ + /t/ → /ṟ/. Такое явление наблюдается в различных синтагмах на стыке сонантов /ṉ̤/, /m/, /l̤/, /n/ и полугласного /y/ : /m/ + /ṉ̤/ → /ṉ̤/: *naṉkalanaṉmakkal̤* 60.2 (< *naṉkalam* + *naṉmakkal̤*), *āṟṟunaṉṟi* 67.1 (< *āṟṟum* + *naṉṟi*); /l̤/ + /n/ → /ṉ̤/: *pōnōkkum* 1097.1 (< *pōl̤* + *nōkkum*); /ṉ̤/ + /n/ → /ṉ̤/ → /ṉ̤/ → *kaṉṟ* 72.2 (< *kaṉ* + *nāṟ*); /ṉ̤/ + /n/ → /n/: *atanaṉkalam* 60.1 (< *ataṉ* + *naṉkalam*); /y/ + /y/ → /y/: *pōtāyām* 1123.1 (< *pōtāy* + *yām*).

Следовательно, при взаимодействии различных сонантов отличаются большей устойчивостью: дифференциальный признак дентальности в сравнении с дифференциальным признаком лабиальности (/m/ + /n/ → /ṉ̤/), дифференциальный признак назальности в сравнении с дифференциальным признаком латеральности (/l̤/ + /n/ → /ṉ̤/), дифференциальный признак ретрофлексности в сравнении с дифференциальным признаком дентальности (/ṉ̤/ + /n/ → /ṉ̤/).

2.2.4. Диссимиляция наблюдается в языке «Тируккурала» крайне редко. В анализируемом тексте отмечается случай регрессивной диссимиляции в атрибутивной синтагме, где при взаимодействии двух лабиальных назальных первый переходит в дентальный назальный: *taṉmakkal̤* 63.1 (< *tam* + *makkal̤*).

2.2.5. Удвоение согласного. На стыке гласного или полугласного и согласного при сочетании слов происходит удвоение смычных или полусмычных /k/, /c/, /t/, /p/ и сонантов /ñ/, /ṉ̤/, /n/, /l̤/, /j̤/.

Удвоение /k/, /c/, /t/ и /p/, стоящих в начале второго слова в синтагме, наблюдается прежде всего в адвербиальных синтагмах. Это касается /k/: *eṉakkēṯṯa* 69.2 (< *eṉa* + *k* + *kēṯṯa*), /t/: *ākittarkoṇṭāṉ* 51.1 (< *āki* + + *t* + *tarkoṇṭāṉ*); *pōyppeṟuvatu* 46.2 (< *pōy* + *p* + *peṟuvatu*). в атрибутив-

ной синтагме происходит удвоение /c/: *in̲n̲accol* 35.1 (<*in̲n̲ā* + *c* + *col*). Удвоение назальных сонантов /ñ/ и /n/, стоящих в начале слова, наблюдается в атрибутивных синтагмах: *eññān̲rum* 44.2 (<*e* + *ñ* + *ñān̲ru* + + *um*), *en̲n̲an̲ri* 110.1 (<e + *ñ*+*nan̲ri*). Удвоение назального ретрофлексного /ṇ/, латеральных дентального /l/ и ретрофлексного /ḷ/, стоящих в конце слова, наблюдается в атрибутивных и объектных синтагмах: *kaṇṇiṇai* 1100.1 (<*kaṇ* + *ṇ* + *iṇai*), *nallāru* 41.1 (<*nal* + *l* + *ār̲u*), *uḷḷār* 216.1 (<*uḷ* + *ḷ* + *ār*).

Таблица 1

Выпадение **и** *перед последующими гласными*

Перед гласной фонемой / Уровень анализа	*a*	*ā*	*i*	*ī*	*u*	*ū*	*e*	*ē*	*ai*	*o*	*ō*	*au*
Морфофонемика	+	+	+	—	+	—	—	+	+	—	—	—
Синтактофонемика	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	+	—

3. Сопоставим данные, полученные в результате морфофонематического и синтактофонематического анализа. Тождественность явлений внутреннего и внешнего сандхи оказывается далеко не всеобъемлющей.

Так, выпадение конечного /u/ перед различными гласными фонемами характеризуется большей полнотой для внешнего сандхи по сравнению с внутренним сандхи, что можно видеть из табл. 1, где знаком + обозначено выпадение конечного /u/ в указанной позиции; знак — указывает на отсутствие подобного явления.

Таблица 2

Регрессивная ассимиляция

Сочетания согласных / Уровень анализа	*n* + *c* → *cc*	*tp*	*n* + *p* → *mp*	*m* + *k* → *ṅk*	*m* + *c* → *ñc*	*m* + *t* → *nt*	*l* + *k* → *ṟk*	*l* + *c* → *cc*	*l* + *p* → *pp*	*l* + *p* → *vp*	*l* + *m* → *mm*	*l* + *p* → *mm*	*n* + *k* → *ṅk*	*n* + *p* → *mp*	*l* + *k* → *tk*	*l* + *c* → *cc*	*l* + *b* → *nb*	*l* + *p* → *tp*	*l* + *m* → *mm*
Морфофонемика	+	—	+	—	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	+	+	—
Синтактофонемика	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	+

В синтактофонемике отмечается единичный случай выпадения конечного /a/: *kāmurrār* 1133.2.

Что касается употребления соединительных фонем при устранении зияния и инкорпорации флективных инкрементов, морфофонемика характеризуется гораздо большей полнотой распространения указанных феноменов. Как во внутреннем сандхи, так и во внешнем для предупреждения зияния инкорпорируются полугласные /v/, /vv/ и /y/. Во внутреннем сандхи наблюдается инкорпорация соединительных фонем /a/ и /u̲/, так же как и инкрементов /iu̲/, /au̲/, /un/ и /arru̲/, что не встречается во внеш-

нем сандхи. В морфофонемике отмечаются случаи компенсаторного удлинения гласного, не наблюдаемые в синтактофонемике.

При общей бедности явлений прогрессивной ассимиляции как для внутреннего, так и для внешнего сандхи морфофонемика показывает более

Таблица 3

Взаимная ассимиляция

Уровень анализа \ Сочетания согласных	$\underset{\cdot}{t}+t\to\underset{\cdot}{t}\underset{\cdot}{t}$	$l+t\to\underline{n}\underline{r}$	$l+t\to\underline{r}\underline{r}$	$l+t\to\underline{r}$	$\underset{\cdot}{l}+t\to\underline{n}\underset{\cdot}{t}$	$\underset{\cdot}{l}+t\to\underset{\cdot}{t}\underset{\cdot}{t}$	$\underset{\cdot}{l}+t\to\underset{\cdot}{t}$	$\underline{r}+t\to\underline{r}\underline{r}$	$m+\underline{n}\to\underline{n}$	$l+n\to n$	$\underset{\cdot}{n}+n\to\underset{\cdot}{n}$	$v+\underline{v}\to v$	$n+n\to n$
Морфофонемика	+	+	+	—	+	+	—	+	—	—	—	—	—
Синтактофонемика	—	+	+	+	—	+	+	—	+	+	+	+	+

Таблица 4

Удвоение согласных

Уровень анализа \ Согласные	k	c	t	p	$\tilde{n}$	n	$\underset{\cdot}{n}$	l	$\underset{\cdot}{l}$	m	n
Морфофонемика	+	—	—	+	—	—	+	+	+	+	+
Синтактофонемика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—

частые случаи прогрессивной ассимиляции по сравнению с синтактофонемикой. Что касается явлений регрессивной и взаимной ассимиляции, то синтактофонемика по сравнению с морфофонемикой характеризуется значительно большей полнотой, что можно видеть из табл. 2 и 3.

Кроме того, синтактофонемике свойственна также большая вариантность ассимиляции, например, /l/ + /t/ → /n̲r̲/ ~ /r̲r̲/ ~ /r̲/. В то же время в морфофонемике отмечаются некоторые случаи регрессивной и взаимной ассимиляции, не имеющие места в синтактофонемике. В синтактофонемике отмечается явление диссимиляции, не свойственное морфофонемике в анализируемом тексте.

Наконец, в синтактофонемике наблюдается также и более широкая картина удвоения согласных (см. табл. 4).

№ 3 1964

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Г. А. ЛЕСКИС

О ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ РАЗМЕРОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО СТРУКТУРОЙ В РАЗНЫХ ВИДАХ ТЕКСТА

Размер предложения является одним из элементов его структуры. Поскольку разные виды устной и письменной речи характеризуются устойчивыми различиями в распределении предложений по их размерам и эти различия соотносятся определенным образом с различиями в содержании текстов[1], представляется и целесообразным и вполне возможным обнаружить более существенные грамматические различия, характерные для текстов разных видов (в частности, для текстов научных и художественных), скрытые за различиями в размерах предложений.

Средний размер предложения ($\bar{n}_g$) в любом тексте, насчитывающем N предложений, зависит, очевидно, во-первых, от среднего размера простого ($\bar{n}_s$)[2] и сложного ($\bar{n}_c$) предложения и, во-вторых, от числа сложных (M) и простых ($N - M$) предложений в этом тексте:

$$\bar{n}_g = \frac{(N - M)\bar{n}_s + M\bar{n}_c}{N}.$$

Таблица 1

Зависимость $\bar{n}_g$ от $\bar{n}_s$, $\bar{n}_c$ и M в сотнях предложений авторского сплошного повествования в «Накануне»

Порядок сотни в тексте романа	$\bar{n}_g$	M	$\bar{n}_s$	$\bar{n}_c$	Порядок сотни в тексте романа	$\bar{n}_g$	M	$\bar{n}_s$	$\bar{n}_c$
10-я	11,6	35	6,9	20,3	11-я	15,5	55	8,5	21,2
9-я	12,4	45	7,5	18,2	12-я	16,5	53	8,3	23,9
8-я	12,9	31	9,8	20,0	4-я	16,9	56	7,9	24,1
6-я	13,5	51	8,1	18,6	5-я	17,5	63	8,5	22,7
7-я	14,2	50	8,0	20,3	1-я	18,5	52	12,3	24,3
3-я	14,7	32	8,2	28,3	2-я	20,3	54	11,3	27,8
Всего					Всего				
в шести сотнях	13,2	244	8,8	20,9	в шести сотнях	17,5	333	9,4	24,0

[1] См.: Г. А. Лескис, О размерах предложений в русской научной и художественной прозе 60-х годов XIX в., ВЯ, 1962, 2; его же, О зависимости между размером предложения и характером текста, ВЯ, 1963, 3.

[2] «Простым предложением» здесь и далее считается такое предложение без подчинительных союзов, в котором каждое из имеющихся в его составе подлежащих относится к каждому из имеющихся в его составе сказуемых, а также предложения с одним сказуемым при отсутствии подлежащего и с одним подлежащим при отсутствии сказуемого.

Таблица 2

Размеры $\bar{n}_g, \bar{n}_s, \bar{n}_c$, $N - M$ и M в разных видах речи[1]

Вид речи и название произведения (автор)	$\bar{n}_g$	$N - M$ (%)	M (%)	$\bar{n}_s$	$\bar{n}_c$
	1	2	3	4	5
I. Дневники					
Дневники Л. Толстого 1858—1878 гг.	5,8	73,7	26,3	4,2	9,1
II. Речь персонажей					
«Казаки»	5,8	71,0	29,0	3,9	10,3
«Война и мир», т. I	7,2	64,9	35,1	4,4	12,5
«Идиот», ч. 1	11,6	49,3	50,7	5,2	17,8
Всего	8,2	61,7	38,3	4,4	14,3
III. Письма 60-х годов					
Достоевский	11,6	52,5	47,5	7,2	16,5
Л. Толстой	14,5	41,3	58,7	8,0	18,8
Тургенев	16,3	39,3	60,7	8,4	21,4
Всего	13,9	44,6	55,4	7,8	18,9
IV. Авторское сплошное повествование					
«Казаки»	14,0	61,5	38,5	10,7	19,5
«Накануне»	15,4	51,6	48,4	8,7	22,5
«Преступление и наказание»	15,6	53,8	46,2	10,3	21,3
«Отцы и дети»	16,4	48,7	51,3	9,1	23,8
«Война и мир», т. I *	16,6	52,5	47,5	10,4	23,5
«Обрыв»	16,9	52,5	47,5	10,5	24,6
«Дым»	17,1	50,3	49,7	9,0	25,1
«Война и мир», т. II *	17,4	53,3	46,7	11,6	24,0
«Некуда»	17,6	53,7	46,3	11,5	23,9
«Помпадуры и помпадурши»	18,6	41,6	58,4	10,2	23,9
«Идиот»	18,8	48,6	51,4	11,1	25,7
«Что делать?»	19,4	40,4	59,6	8,3	27,4
«Война и мир», т. IV	19,7	42,8	57,2	11,4	25,9
«Война и мир», Эпилог, ч. 1	20,3	42,4	57,6	—	—
Всего	17,2	49,5	50,5	10,2	23,9
«Война и мир», Эпилог, ч. 2	24,8	30,2	69,8	—	—
V. Научная проза[2]					
Сеченов *	26,1	30,0	70,0	17,7	29,9
Ключевский	26,8	30,9	69,1	14,5	31,9
Чернышевский	27,6	25,6	74,4	11,6	32,3
Бутлеров *	29,0	31,3	68,7	18,1	34,5
Потебня	30,2	22,3	77,7	15,7	34,6
Ал-др Веселовский *	34,0	18,1	81,9	14,9	38,2
Всего	28,5	26,2	73,8	15,9	33,5

[1] Размеры $\bar{n}_g$ в произведениях, отмеченных знаком *, определены здесь по выборкам объемом приблизительно в 1400 предложений каждая, поэтому они несколько отличаются от указанных в предыдущих статьях.

[2] Список обследованных произведений научной прозы см. в статье: Г. А. Лескис, О размерах предложений..., стр. 79.

Примечание. В табл. 2 художественные тексты по обоим параметрам ($\bar{n}$ и M) четко отличаются от текстов научных, так что между максимальными $\bar{n}$ и M художественных текстов и минимальными $\bar{n}$ и M научных текстов имеется довольно большой интервал. Можно с большой вероятностью допустить, что при увеличении обследуемого материала в русской художественной и научной литературе найдутся тексты с такими значениями $\bar{n}$ и M, что этот интервал практически сводится к нулю. Например, одним из таких «промежуточных» текстов является авторское повествование в т. I «Мертвых душ», где $\bar{n}_g = 24{,}8$, а $M = 69{,}3$. Поскольку, однако, для выборки достаточно большого объема, составленной из текстов разных авторов, мы все равно получаем $\bar{n}_g$, лежащее в интервале, характерном для данного вида письменной речи [3], можно предположить, что и значение M для такой выборки тоже будет располагаться в характерном интервале.

Наблюдения показывают (см. табл. 1), что изменения $\bar{n}_g$ в сравнительно небольших отрезках (по 100 предложений в каждом отрезке) сплошного текста могут определяться преимущественно (и даже только) изменениями одного из параметров — или $\bar{n}_s$ и $\bar{n}_c$ или M.

Так, различие в $\bar{n}_g$ в 1-й и 6-й сотнях (18,5 и 13,5) обусловлено только различиями $\bar{n}_s$ и $\bar{n}_c$ в этих сотнях, тогда как M в этих сотнях примерно совпадает; различие в $\bar{n}_g$ в 7-й и 10-й сотнях обусловлено в основном разной величиной M (35 и 50), так как $\bar{n}_c$ в этих сотнях совпадают, а $\bar{n}_s$ разнятся несущественно (8,0 и 6,9).

В то же время сравнение итоговых данных левой и правой частей таблицы показывает, что в достаточно больших текстах (в данном случае $N = 600$ в каждой части) величина $\bar{n}_g$ определяется одновременно и средними размерами простого и сложного предложения, и величиной M.

Эта двойная зависимость обнаружена во всех обследованных текстах (см. табл. 2), так что разные виды письменной (и устной) речи характеризуются не только разными $\bar{n}_g$, но также и разными $\bar{n}_s$, $\bar{n}_c$ и M.

Остановимся на характеристике величины M. Как видно из табл. 2, существует (по-видимому, линейная) зависимость, хотя и не очень строгая, между $\bar{n}_g$ и M, так что увеличению $\bar{n}_g$ чаще всего соответствует увеличение M. Это верно, как видно из таблицы, для всех обследованных видов письменной и устной речи, однако для разных видов речи соотношение M и $\bar{n}_g$ оказывается несколько различным. По мере уменьшения $\bar{n}_g$ уменьшается не только M, но и $\bar{n}_s$ и $\bar{n}_c$, а поэтому доля сложных предложений в тексте $\left(\frac{M}{N}100\right)$ падает медленнее, чем уменьшается величина $\bar{n}_g$. Поэтому, например, в переписке, где в целом $\bar{n}_g$ ниже, чем в авторском повествовании в романе, процент сложных предложений выше, чем в авторском повествовании (55,4% и 50,5%).

Из этого следует, что каждый вид речи характеризуется не только более или менее устойчивыми $\bar{n}_g$, но также и «своими» более или менее устойчивыми $\frac{M}{N}100$, а также $\bar{n}_s$ и $\bar{n}_c$.

В то же время в пределах каждого жанра сохраняется (хотя и с некоторыми отклонениями) прямая зависимость $\bar{n}_g$ от M.

Раз существует зависимость между «содержанием» внеязыковых ситуаций и способом их описания — «дискретным» или «суммарным», раз — далее — существует зависимость между способом описания ситуаций и $\bar{n}_g$ [4] и, наконец, существует зависимость между $\bar{n}_g$ и M, то, очевидно,

---

[3] См.: Г. А. Лесскис, О зависимости между размером предложения и характером текста, стр. 104—105.

[4] См. там же, стр. 107—112.

существует и какая-то зависимость между «содержанием» текста и распределением в нем простых и сложных предложений. Чтобы проверить это предположение, можно в графических схемах, на которых отмечены колебания $\bar{n}_g$ в сплошном авторском повествовании по главам (или в выборках по 100 предложений) и указано содержание текста каждой главы (или сотни предложений), отметить также и M (число сложных предложений) в каждой главе (или сотне). На рис. 1 отмечены 89 точек (на линии α), соответствующие значениям $\bar{n}_g$ для каждой из 89 глав т. IV «Войны и мира», и 89 точек (на линии β), соответствующие процентному содержанию в этих главах сложных предложений $\left(\frac{M}{N}100\right)$. Направление (вверх, вниз или сохранение прежнего уровня) линии α совпадает с направлением линии β в 63 случаях (из 89). Это позволяет предположить наличие зависимости между содержанием текста и числом в нем сложных предложений (вероятность того, что зависимость здесь отсутствует и это совпадение линий, идущих от точек α и β, случайно, очень мала: $P \approx 0{,}0003$). Как видно из приведенного рисунка, в описании наиболее динамичных моментов в развитии сюжета (бал в Воронеже, встреча Пьера с Даву, расстрел пленных, смерть князя Андрея, генеральский бал, Тарутинское сражение, смерть Пети и др.) используются преимущественно простые предложения. Анализ графических схем т. I «Войны и мира», «Казаков», «Накануне», «Дыма» [5] показывает, что это приблизительное соответствие

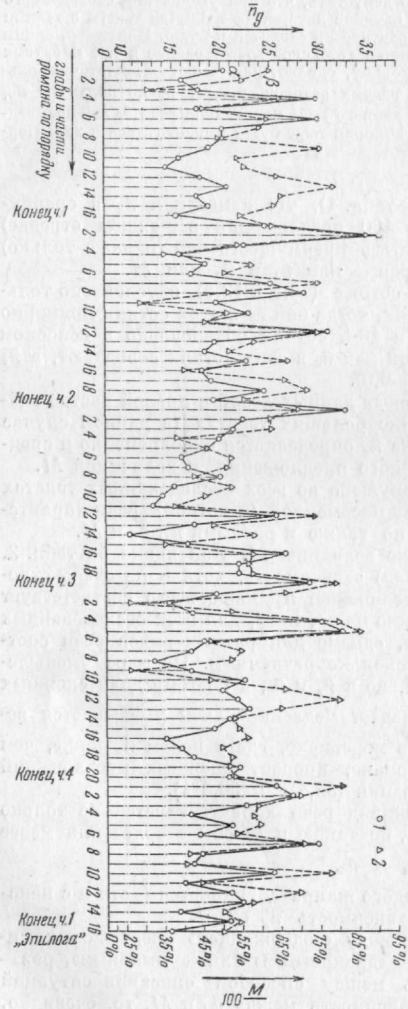


Рис. 1. Авторское сплошное повествование. «Война и мир» Л. Толстого, т. IV и «Эпилог», ч. 1. Соотношение средних размеров предложения ($\bar{n}_g$) и процента сложных предложений $\left(\frac{M}{N}100\right)$ по главам: 1 — средние размеры предложений ($\bar{n}_g$) по главам; 2 — процент сложных предложений $\left(\frac{M}{N}100\right)$ по главам

[5] За отсутствием места соответствующие рисунки здесь не приводятся.

между долей M и характером сюжетных ситуаций, очевидно, свойственно всей художественной прозе [6]. Таким образом, одним (но не единственным и, может быть, не самым существенным) из грамматических признаков дискретного способа описания внеязыковых ситуаций является преобладание в нем простых предложений.

Хотя наличие зависимости между $\bar{n}_g$ и M представляется весьма вероятным, зависимость эта все же менее очевидна, чем зависимость между характером ситуаций и $\bar{n}_g$. Во-первых, она сравнительно часто нарушается (примерно в $^1/_3$ случаев). Во-вторых, при совпадении направления линий, идущих от соответствующих точек, скорость изменения $\bar{n}_g$ и M чаще всего бывает различна. Это обстоятельство, очевидно, обусловлено тем, что $\bar{n}_g$ зависит не только от M, но и от $\bar{n}_s$ и $\bar{n}_c$, которые также не являются постоянными.

Обратимся теперь к характеристикам $\bar{n}_s$ и $\bar{n}_c$. Как видно из табл. 2, показатели эти, как и $\bar{n}_g$, располагаются в каких-то определенных для каждой сферы письменной и устной речи интервалах.

Примечание. Для отдельных произведений здесь также возможны «нарушения» интервала, например, $\bar{n}_s$ в «Эстетике» Чернышевского = 11,6 (т. е. лежит в интервале, характерном для художественной прозы), а $\bar{n}_c$ в т. I «Мертвых душ» = 30,5 (т. е. лежит в интервале, характерном для научной прозы). Однако в любой достаточно большой выборке, составленной из текстов одного жанра разных авторов, эти интервалы будут достаточно устойчивы. Показательно также, что $\bar{n}_c$ в «Эстетике» Чернышевского (=32,3) и $\bar{n}_s$ в т. I «Мертвых душ» (=11,9) не выходят за пределы ожидаемых интервалов.

Для определения «жанровых» различий $\bar{n}_s$ и $\bar{n}_c$ представляется удобным использовать графический способ характеристики плотности распределения предложений в зависимости от их размеров $[P(x)]$. Способ этот представляется тем более удобным, что при разбиении предложений на простые и сложные кривые, характеризующие плотность распределения, аппроксимируются (с некоторым приближением) функцией типа

$$P(x) = A\,exp\left\{\frac{-ln^2\frac{x-b}{a-b}}{\sigma^2}\right\},\ \text{где}\ A = \frac{1}{(a-b)\,\sigma\, e^{\frac{\sigma^2}{4}}\sqrt{\pi}},$$

а

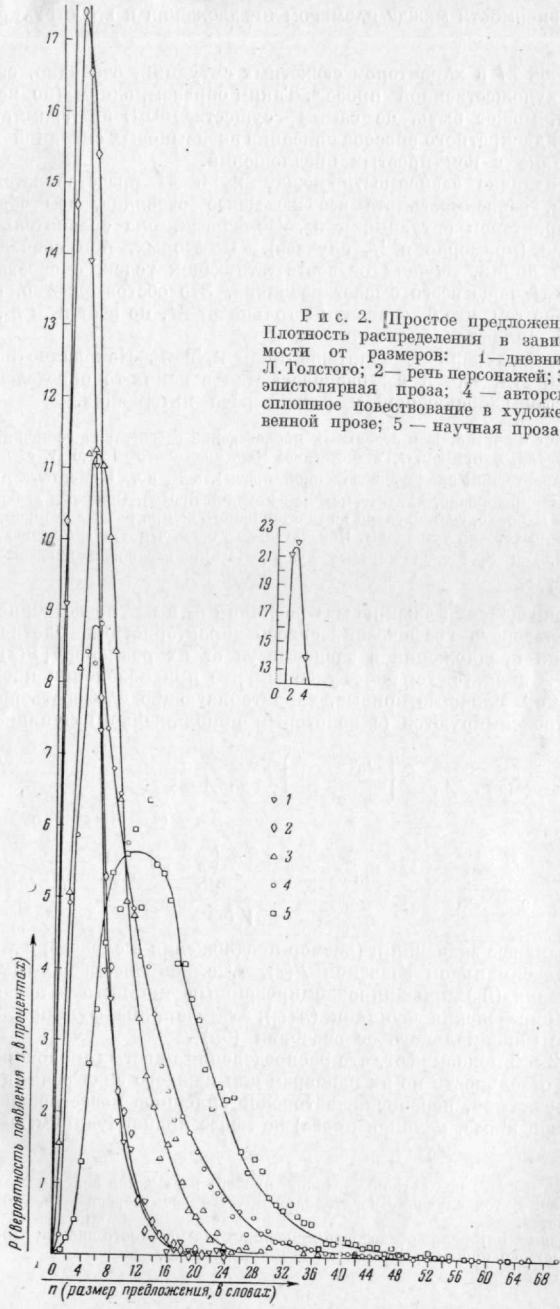
$$\sigma = \frac{ln\dfrac{\frac{\delta x}{a-b} + \sqrt{\left(\frac{\delta x}{a-b}\right)^2 + 4}}{2}}{\sqrt{ln2}}$$

[x проходит все значения n (размер предложения в словах); a — значение x при максимальном значении $P(x)$, т. е. наиболее вероятный размер предложения (n_p) при аппроксимировании функции; b — левая граница области определения функции (n_{min}); δx — ширина функции, взятая по половине максимального ее значения (δn)].

Рис. 2 и 3 показывают, что распределения простых и сложных предложений в отдельности по их размерам для каждого вида речи (дневники [7], речь персонажей, переписка, авторское сплошное повествование в художественной прозе, научная проза) не менее индивидуальны, чем обнару-

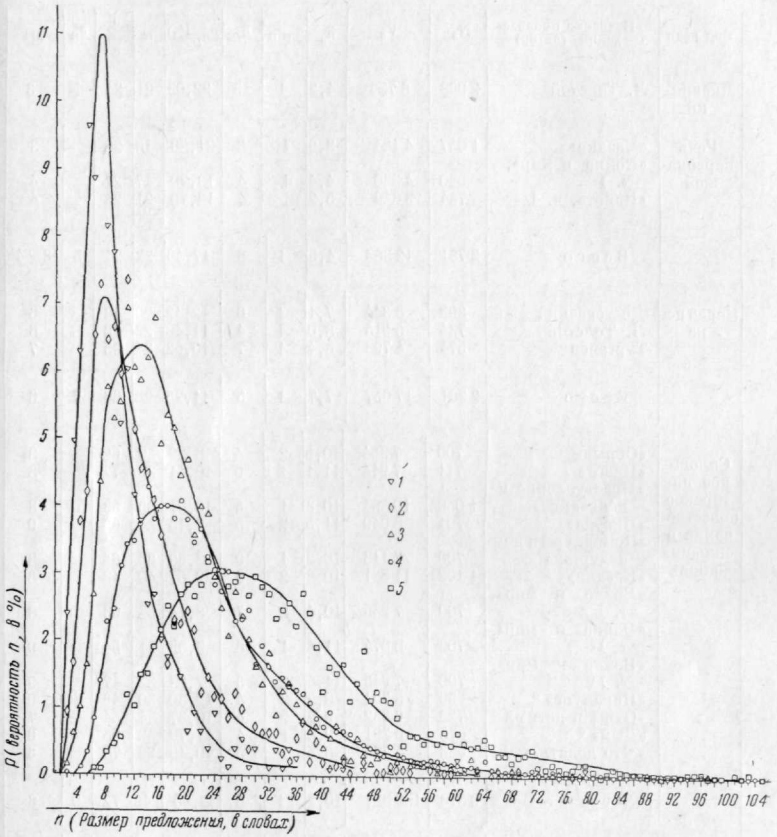
[6] Здесь и далее под «художественной прозой» разумеется сплошное авторское повествование. В тех случаях, когда анализируется речь персонажей, это специально оговаривается.

[7] В нашем материале обследованы дневники только одного автора, что, разумеется, значительно ограничивает выводы по этому виду речи.



Р и с. 2. Простое предложение. Плотность распределения в зависимости от размеров: 1—дневники Л. Толстого; 2— речь персонажей; 3— эпистолярная проза; 4 — авторское сплошное повествование в художественной прозе; 5 — научная проза

женные ранее [8] для тех же видов речи типы распределения простых и сложных предложений, взятых вместе. Эти различия устойчивы не только для каждого вида речи в целом, но и для каждого отдельного произведения (см. табл. 3 и 4) [9].



Р и с. 3. Сложное предложение. Плотность распределения в зависимости от размеров: 1 — дневники Л. Толстого; 2 — речь персонажей; 3 — эпистолярная проза; 4 — авторское сплошное повествование в художественной прозе; 5 — научная проза

Таким образом, величины $\bar{n}_s$ и $\bar{n}_c$ оказываются почти всегда различными для разных видов текста. Эти различия $\bar{n}_s$ и $\bar{n}_c$ представляются несравненно более существенными признаками того или иного вида речи, чем величина M, так как они свидетельствуют о существовании на синтак-

[8] См.: Г. А. Л е с с к и с, О размерах предложений..., рис. 1, 2, 3, 4, 5.

[9] Рисунки, показывающие распределение простых и сложных предложений для каждого произведения в отдельности, не приводятся из-за отсутствия места.

Таблица 3

Простое предложение[1]

Вид речи	Название произведения (автор)	N_s	V_s	$\bar{n}_s$	n_{min}	n_p	p_{n_p} (%)	n_0	n_{max}	δ_n	Mi
Дневники	Л. Толстой	2 088	8 726	4,2	1	3	22,03	21	24	4	3
Речь персонажей	«Казаки»	1 057	4 184	3,9	1	3	21,80	18	20		3
	«Война и мир», т. I	980	4 330	4,4	1	4	13,70	17	21		4
	«Идиот», ч. 1	744	3 849	5,2	1	4	13,70	21	24		4
	Всего	2 781	12 363	4,5	1	3	17,40	22	24	5	3—4
Переписка	Достоевский	893	6 344	7,1	1	6	12,42	20	48		6
	Л. Толстой	734	5 915	8,0	1	4	11,43	23	66		6
	Тургенев	574	4 798	8,4	1	7	10,62	24	35		7
	Всего	2 201	17 057	7,7	1	5	11,25	28	66	7	6
Сплошное авторское повествование в больших жанрах	«Обрыв»	700	7 354	10,5	2	4	8,29	30	62		8
	«Идиот»	711	7 914	11,1	1	6	10,41	33	72		8
	«Преступление и наказание»	1 059	10 854	10,3	1	5	10,01	36	53		8
	«Некуда»	701	8 049	11,5	2	5	7,13	34	65		9
	«Помпадуры и помпадурши»	700	7 113	10,2	1	9	8,60	36	65		8
	«Казаки»	1 102	11 381	10,3	2	6	9,07	40	48		8
	«Война и мир», т. I	700	7 235	10,4	2	7	8,14	38	63		8
	«Война и мир», т. II	708	8 074	11,4	1	6	8,33	31	54		9
	«Война и мир», т. IV	700	7 945	11,4	2	5	7,28	32	47		9
	«Накануне» *	656	5 704	8,7	2	4	12,50	30	46		6
	«Отцы и дети» *	723	6 632	9,2	2	4	10,37	34	54		7
	«Дым» *	675	6 291	9,3	1	4	11,70	32	55		6
	«Что делать?»	683	5 775	8,5	1	5	10,40	26	70		6
	Всего	9 818	100 321	10,2	1	6	8,80	49	72	9	8
Научная проза	Бутлеров	700	12 688	18,1	4	14 и 15	6,14	38	63		16
	Ал-др Веселовский *	373	5 559	14,9	2	6	6,70	34	47		13
	Ключевский	704	10 184	14,5	2	13	8,24	30	45		13
	Потебня *	379	5 929	15,7	3	9	7,91	39	54		13—14
	Сеченов	703	12 430	17,7	3	13	5,97	44	58		15
	Чернышевский *	290	3 351	11,6	1	8	9,31	26	39		9—10
	Всего	3 149	50 141	15,9	1	13	6,35	50	63	16	14

[1] В отмеченных знаком * текстах учтены все простые предложения.

Таблица 4

Сложное предложение

Вид речи	Название произведения (автор)	N_c	V_c	$\bar{n}_c$	n_{min}	n_p	p_{n_p} (%)	n_o	n_{max}	δ_n	Mi
Дневники	Л. Толстой	847	7 741	9,1	2	7	9,92	31	79	7	9
Речь персонажей	«Казаки»	444	4 466	10,1	2	7	12,16	22	59		8
	«Война и мир», т. I	516	6 522	12,6	2	10	9,12	34	53		10
	«Идиот», ч. 1	756	13 496	17,9	2	11	6,22	45	88		14
	Всего	1 716	24 484	14,3	2	11	7,35	45	88	12	11
Переписка	Достоевский	807	13 113	16,3	2	8	6,19	50	74		14
	Л. Толстой	1 043	19 632	18,8	2	11	6,33	44	97		16
	Тургенев	883	18 817	21,3	2	15	5,44	58	90		18
	Всего	2 733	51 562	18,9	2	11	6,92	58	97	17	16
Сплошное авторское повествование в больших жанрах	«Обрыв»	700	17 206	24,6	4	22	5,43	49	104		21
	«Идиот»	700	17 962	25,5	5	22	4,86	53	120		22
	«Преступление и наказание»	936	20 247	21,6	2	14	6,20	44	85		19
	«Некуда»	700	16 743	23,9	5	17 и 20	5,00	55	82		21
	«Помпадуры и помпадурши»	700	17 139	24,5	5	20	4,29	46	72		21
	«Казаки»	699	13 825	19,5	4	14	7,07	45	86		17
	«Война и мир», т. I	707	16 605	23,5	4	16	6,23	51	94		20
	«Война и мир», т. II	700	16 846	24,1	4	22	5,43	54	87		21
	«Война и мир», т. IV	700	18 085	25,8	5	22	4,00	54	129		22
	«Накануне»	612	14 006	22,9	4	17	5,55	56	84		18
	«Отцы и дети»	740	17 540	23,7	5	14	5,69	55	193		20
	«Дым»	686	17 199	25,1	2	13	4,37	53	131		20
	«Что делать?»	701	19 158	27,4	5	11 и 17	4,57	66	224		21
	Всего	9 281	222 561	23,9	2	14	4,29	95	224	21	20
Научная проза	Бутлеров	700	24 166	34,5	8	23, 25, 27	3,57	68	136		32
	Ал-др Веселовский	700	26 707	38,2	6	32	3,57	84	180		35
	Ключевский	700	22 232	31,9	6	21, 23	4,14	66	124		28
	Потебня	710	24 559	34,6	8	29	4,08	72	128		32
	Сеченов	700	20 933	29,9	7	25	4,28	52	95		28
	Чернышевский	700	22 618	32,3	6	17	3,57	73	131		27
	Всего	4 210	141 215	33,5	6	23	3,17	100	180	30	30

сическом уровне структурных различий разных видов речи, о какой-то их функциональной формализации.

*

Анализ этих структурных различий естественно начать с простого предложения[10]. Представляется целесообразным сначала вычленить вводные конструкции[11], поскольку они не существенны для структурной основы предложения. Оказалось, что в научных текстах на равное число простых предложений приходится в шесть раз больше вводных конструкций, чем в текстах художественных. Устойчивые различия в $\bar{n}_s$ в двух видах текста сохраняются и за вычетом вводных конструкций (см. табл. 5).

Таблица 5

Число и размеры вводных конструкций

Автор	N_s	V_s	$\bar{n}_s$	Число вводных конструкций	Число слов в вводных конструкциях	Средний размер вводных конструкций	$\bar{n}_s$ без выводных конструкций
Достоевский	711	7 914	11,1	49	236	4,8	10,8
Л. Толстой	700	7 235	10,4	40	92	2,3	10,2
Тургенев	723	6 632	9,2	48	113	2,4	9,0
Всего	2 134	21 781	10,2	137	441	3,2	10,0
Бутлеров	700	12 688	18,1	493	1 204	2,4	16,4
Ключевский	704	10 184	14,5	105	275	2,6	14,1
Сеченов	703	12 430	17,7	289	756	2,6	16,6
Всего	2 107	35 302	16,8	887	2 235	2,5	15,7

Прежде чем перейти к анализу структур, отметим различия в составе классов слов, используемых для их построения в художественной и научной прозе. Мы разделили все слова на служебные (сл.) и знаменательные. К служебным словам отнесены союзы, предлоги, частицы, междометия, связка и вспомогательные глаголы (по списку). Знаменательные слова разделены на 4 класса: существительные (N), прилагательные (A), наречия (D) и глаголы (V), причем в особый класс выделены предикативы (краткие прилагательные — A_{br} и предикативные наречия — D_m).

Состав простого предложения по классам слов у разных авторов представлен в табл. 6 (ср. аналогичные данные по прозе Пушкина в табл. 7).

Из табл. 7 следует, что: 1) данные по двенадцати произведениям почти совпадают с данными, полученными первоначально на материале первых четырех произведений, и, стало быть, выборка, равная одной пятой всей совокупности текстов, вполне достаточна для дальнейшего анализа на этом уровне; 2) распределение классов слов в двенадцати художественных произведениях Пушкина принципиально не отличается от распределения классов слов в романах 60-х годов XIX в.; 3) сравнительно небольшие отклонения наблюдаются в распределении классов N, V и подкласса

[10] В ряде случаев для сопоставления используются три выборки (каждая примерно по 700 простых предложений) из художественной прозы и три выборки из научной прозы.

[11] Вводными считаются, во-первых, все конструкции, заключенные в скобки, во-вторых, ряд типовых конструкций, заданных списком.

Таблица 6

Состав простого предложения по классам слов

Название произведения (автор)	Объем выборки в словах	Доли классов слов (в процентах)					
		N	A	D	V	$A_{br} + D_m$	сл.
«Обрыв»	6 400	39,5	11,0	9,6	14,8	0,8	24,3
«Преступление и наказание»	6 400	34,2	12,1	12,2	13,9	1,1	26,5
«Идиот»	7 678	35,0	14,6	11,6	12,2	0,9	25,7
«Некуда»	6 400	38,8	16,3	9,1	12,0	0,9	22,9
«Помпадуры и помпадурши»	6 400	37,5	15,1	8,1	13,2	1,4	24,7
«Казаки»	6 400	38,4	13,2	10,3	12,5	1,1	24,5
«Война и мир», т. I	7 143	40,4	13,1	9,5	13,7	0,6	22,7
«Война и мир», т. IV	6 400	41,5	15,1	7,5	11,1	0,9	23,9
«Накануне»	2 400	40,1	11,4	8,5	16,7	0,4	22,9
«Отцы и дети» (весь текст)	6 519	39,9	12,1	8,2	16,1	0,4	23,3
«Дым» (весь текст)	6 165	38,9	11,4	9,8	15,6	0,4	23,9
«Что делать?»	3 248	38,7	11,9	9,0	14,7	1,2	24,5
Всего	71 553	38,4	13,3	9,5	13,7	0,9	24,2
«Война и мир», Эпилог, ч. 2	1 890	43,9	14,7	6,7	10,3	0,9	23,5
Бутлеров	11 484	41,8	22,2	5,9	5,9	1,8	22,4
Веселовский (весь текст)	5 079	43,5	20,7	5,4	7,2	1,1	22,1
Ключевский	9 909	42,5	18,8	5,6	7,3	0,8	25,0
Потебня (весь текст)	5 375	42,3	19,0	6,0	7,5	1,5	23,7
Сеченов	11 674	41,6	24,3	5,1	5,9	1,6	21,5
Чернышевский (весь текст)	3 248	41,6	19,1	7,3	6,8	2,3	21,5
Всего	46 769	42,1	21,2	5,7	6,6	1,5	22,9

предикативов (эти отклонения, по-видимому, не случайны, они устойчиво сохраняются и в «малой» выборке и усиливаются в произведениях «нетипичных» для художественной прозы); 4) «Путешествие в Арзрум» и даже исторический труд «История Пугачева» дают сравнительно небольшие, хотя, очевидно, совершенно закономерные отличия в распределении тех же классов слов, опять-таки в основном (кроме класса *N*) не выходящие за пределы распределения, характеризующего романы 60-х годов XIX в.; 5) принципиальные отличия от распределения, характеризующего как всю прозу Пушкина, так и романы 60-х годов, наблюдаются только в «Истории села Горюхина», причем отклонения эти сближают распределение классов слов в этом произведении с типом, характерным для научной прозы 60-х годов XIX в. Совершенно очевидно, что это отклонение — результат авторской пародийной стилизации под историческое повествование. Такой результат стилизации сам по себе уже является доказательством устойчивости определенных типов распределения классов слов как признака принадлежности текста к тому или иному виду речи.

Как видно из табл. 6, классы слов распределяются по-разному в художественных и научных текстах. Различия эти можно разбить на две группы: 1) различия в разных видах текста (научных и художественных), не выходящие за пределы колебаний, отмеченных в произведениях текста одного вида (или художественного, или научного), и 2) различия, значительно превышающие колебания в одном из видов текста по отдельным авторам.

Таблица 7

Состав простого предложения по классам слов у Пушкина[1]

Название произведения	Объем выборки в словах	Доли классов слов (в процентах)					
		N	*A*	*D*	*V*	$A_{br}+D_m$	сл.
«Барышня-крестьянка»	1 079	39,8	13,8	7,9	15,8	1,1	21,6
«Выстрел»	442	39,2	13,8	8,8	14,7	1,1	22,4
«Кирджали»	683	43,2	11,9	5,8	13,3	2,7	23,1
«Пиковая дама»	1 900	40,7	13,1	7,8	16,7	0,6	21,2
Всего по четырем произведениям	4 104	40,8	13,1	7,6	15,7	1,1	21,7
«Арап Петра Великого»	2 159	41,3	14,2	7,9	15,3	0,9	20,4
«Гробовщик»	416	39,5	14,4	7,2	12,7	3,1	23,1
«Дубровский»	3 827	40,9	12,1	7,1	16,0	0,8	23,1
«Египетские ночи»	521	40,9	17,3	5,4	13,6	1,5	21,3
«История села Горюхина»	1 362	39,7	19,4	6,9	9,8	2,1	22,1
«Капитанская дочка»	7 328	40,7	12,3	6,6	15,9	1,5	23,0
«Метель»	776	40,6	11,6	7,4	14,4	2,1	23,9
«Станционный смотритель»	767	38,7	15,6	6,5	13,8	0,9	24,5
Всего по двенадцати произведениям	21 260	40,6	13,3	7,1	15,2	1,3	22,5
«Путешествие в Арзрум»	5 603	43,1	14,8	6,4	13,4	1,8	20,5
Всего по художественным текстам	26 863	41,2	13,6	6,9	14,8	1,4	22,1
«История Пугачева»	12 861	44,1	13,0	5,7	12,3	1,8	23,1
Всего по прозе Пушкина	39 724	42,1	13,4	6,5	13,9	1,5	22,6

[1] Учтены все имеющиеся в обследованных произведениях простые предложения.

К первой группе относится разделение на служебные и знаменательные слова, распределение существительных, наречий, подкласса предикативов [12]. По-видимому, эти различия также не случайны, так как, во-первых, обследованный материал достаточно велик, и они достаточно устойчиво повторяются в большинстве произведений (особенно — различие в распределении наречий) и, во-вторых, эти различия легко можно объяснить структурными особенностями простого предложения в художественной и научной прозе. Однако, несмотря на устойчивый характер этих различий, они недостаточно велики, чтобы их можно было с уверенностью отличить от теоретически допустимых случайных колебаний, а потому их едва ли следует использовать в качестве основных признаков, различающих научные и художественные тексты.

Ко второй группе относится распределение глаголов и прилагательных. Распределение этих двух классов слов оказывается — на данном уровне анализа — самым существенным отличительным признаком для определения принадлежности текста к научной или художественной прозе [13].

[12] Сюда же относится распределение служебных слов (по данным выборки из 6 авторов): связка и вспомогательные глаголы — 1,7 и 1,4; союзы — 7,6 и 6,2; предлоги — 12,2 и 13,5; частицы — 2,3 и 1,6; междометия — 0,02 и 0,00 (первая цифра указывает процентное отношение данной группы слов ко всем словам в художественных текстах, вторая — в научных).

[13] Примечательно, что наши данные по распределению классов *A* и *V* в русской научной и художественной прозе 60-х годов XIX в. очень близки к данным, полученным на материале современной английской научной и художественной прозы. См.: С. И. Кауфман, Об именном характере технического стиля (На материале американской литературы), ВЯ, 1961, 5.

Примечание. Ср. графические схемы распределения различных классов слов в сотнях слов простого предложения научного и художественного текстов (см. рис. 4—8). При сохранении одного типа распределения для всех классов слов очевидны различия в параметрах распределения глаголов, прилагательных и отчасти наречий.

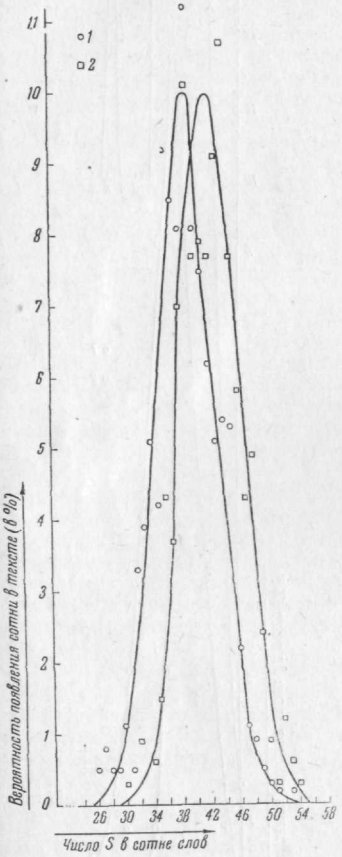


Рис. 4. Плотность распределения существительных в сотнях слов простого предложения: 1 — художественный текст (644 сотни); 2 — научный текст (327 сотен)

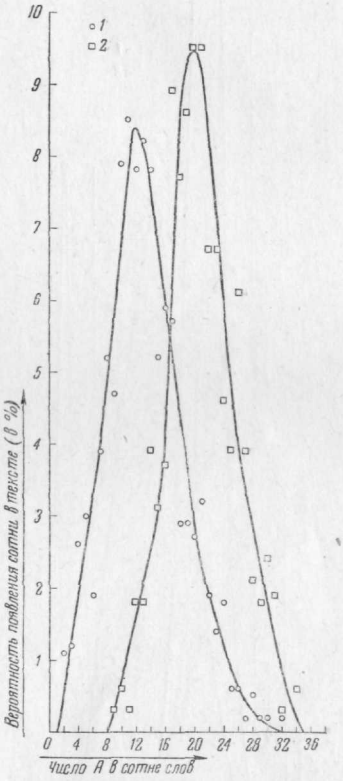


Рис. 5. Плотность распределения прилагательных (*A*) в сотнях слов простого предложения: 1 — художественный текст; 2 — научный текст

Что касается распределения наречий, то оно в значительной степени зависит от распределения глаголов. Но различия в распределении глаголов и прилагательных — двух классов слов, обычно непосредственно синтаксически не связанных, по-видимому, являются устойчивыми характерными признаками научной и художественной прозы.

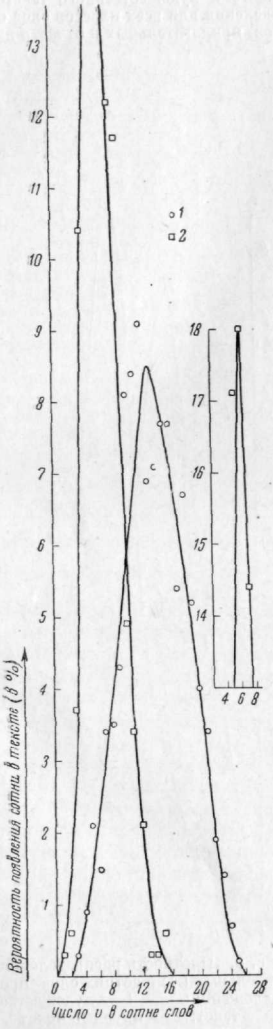


Рис. 6. Плотность распределения глаголов (V) в сотнях слов простого предложения: 1 — художественный текст; 2 — научный текст

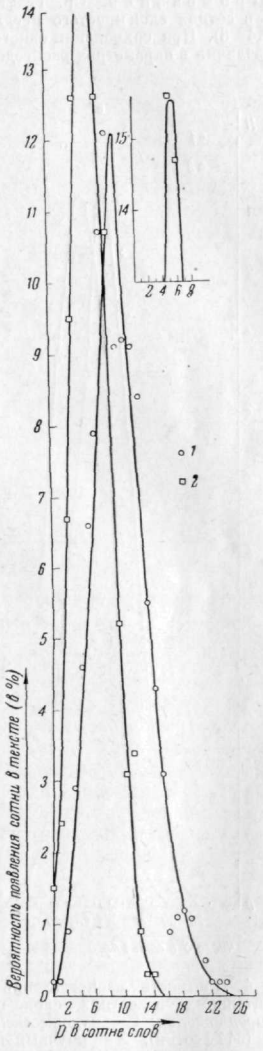


Рис. 7. Плотность распределения наречий (D) в сотнях слов простого предложения: 1 — художественный текст; 2 — научный текст

Наличие зависимости в распределении A и V в равных по размерам текстах и зависимость самого характера этого распределения от $\bar{n}$ в этих текстах можно было бы предвидеть a priori. Совершенно очевидно, что чем меньше $\bar{n}$, тем большее число предложений содержится в равных текстах. Но чем больше предложений в тексте, тем выше вероятность встретить в тексте глагол в спрягаемой форме. Следовательно, в равных по размеру текстах число глаголов будет тем больше, чем меньше в тексте $\bar{n}$. Но чем меньше $\bar{n}$, тем меньше вероятность встретить в нем A, так как в однословных и двухсловных предложениях A, как правило, будет отсутствовать, а в трех- и четырехсловных будет встречаться редко [14]. Кроме того, в предложениях художественного текста вероятность встретить знаменательный глагол в спрягаемой форме значительно выше, чем в равных по размеру предложениях научного текста, так как, во-первых, предложения художественного текста содержат большее число предикатов, чем предложения научного текста (см. табл. 15), и, во-вторых, в художественном тексте 87% всех предикатов выражено знаменательными глаголами в спрягаемой форме, тогда как в научном тексте — только 62,5% [15].

Таким образом, $\bar{n}$ и распределение классов A и V в текстах не являются параметрами независимыми, они связаны между собой, и эта связь подтверждается анализом нашего материала.

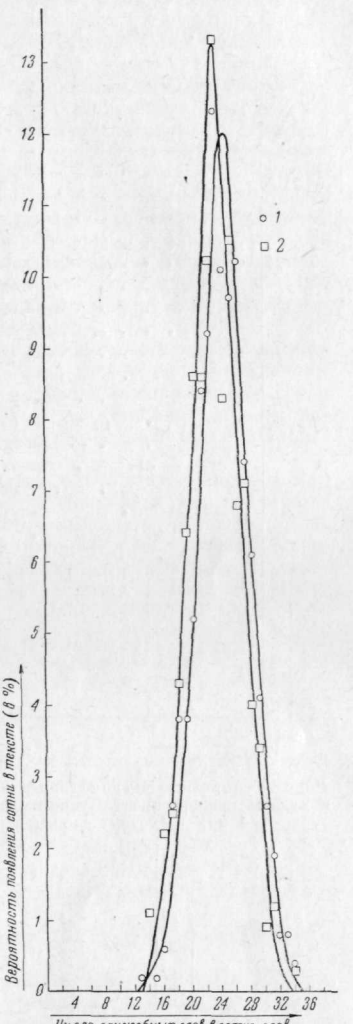
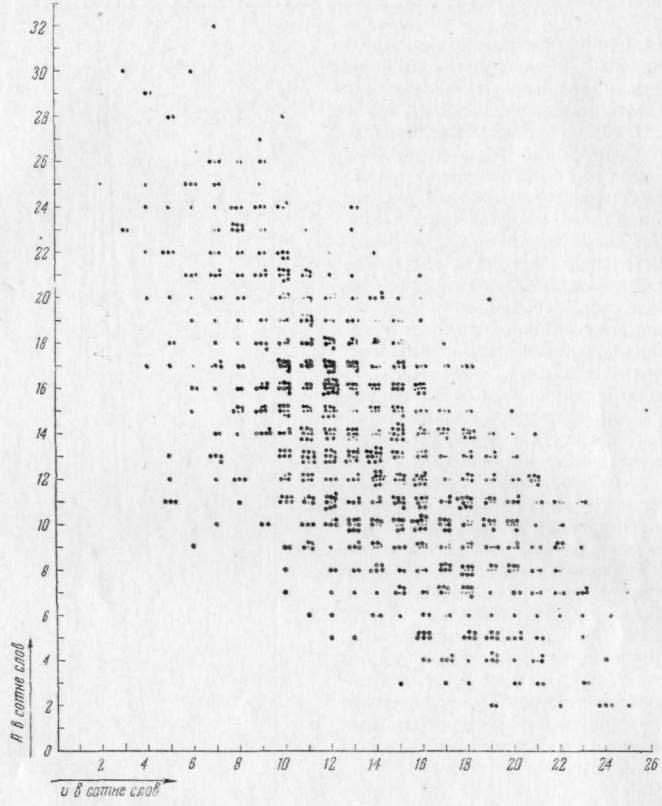


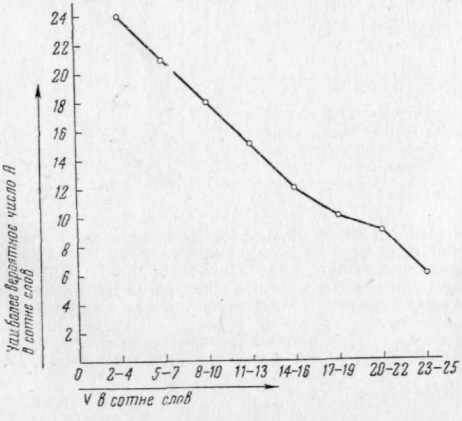
Рис. 8. Плотность распределения служебных слов (сл.) в сотнях слов простого предложения: 1 — художественный текст; 2 — научный текст

[14] Например, в «Отцах и детях» вероятности встретить хотя бы одно прилагательное в предложениях из трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, двадцати и более слов соответственно $\approx$ 0,0754; 0,1315; 0,2727; 0,3188; 0,4821; 0,4516; 0,4146; 0,6222; 0,9491. Процентные доли прилагательных по отношению ко всем словам в предложениях этих размеров соответственно $\approx$ 2,5%; 3,3%; 5,5%; 6,5%; 9,4%; 8,8%; 8,4%; 11,1%; 18,2%.

[15] См.: Г. Лесскис, О некоторых различиях простого предложения в научной и художественной прозе, «Р. яз. в нац. шк.», 1963, 6, стр. 10, 12.



Р и с. 9. Авторское сплошное повествование. Романы 60-х годов XIX в.(○○○) и художественная проза Пушкина (...). Соотношение распределения классов A и V в сотнях слов простого предложения (1112 сотен)



Представление о зависимости, существующей в распределении классов A и V в простом предложении в художественной прозе, дает рис. 9, где по оси x отложено число V, а по оси y — число A в соответствующих сотнях слов простого предложения. Несмотря на довольно большой разброс, видно, что чем больше в сотне слов содержится глаголов, тем в большинстве случаев меньше в ней содержится прилагательных. Заметим, что данные по всей художественной прозе Пушкина совпадают с данными, полученными на материале романов 60-х годов XIX в. Это еще более убеждает в устойчивости данного признака.

Если для каждых трех значений глаголов, отмеченных на рис. 9, построить функцию распределения прилагательных, отмеченных на том же рис., и найти (после аппроксимирования) максиму, то можно затем построить функцию зависимости числа прилагательных в сотнях слов простого предложения художественного текста от числа глаголов в этих же сотнях, откладывая по оси x значения глаголов, а по оси y найденные при аппроксимировании максимальные значения A (см. рис. 9 а).

Несколько иначе выглядит картина соотнесенного распределения классов A и V в научной прозе (см. рис. 10). Здесь при больших различиях в содержании A в сотнях слов (от 9 до 34, причем основная масса сотен лежит в промежутке от 17 до 26) наблюдаются несравненно меньшие различия в содержании класса V (от 1 до 15, причем основная масса сотен лежит в промежутке от 4 до 9).

Таким образом, в художественных текстах существует зависимость в распределении классов A и V, которая не обнаруживается в научных текстах, где распределение V сравнительно устойчиво. Это различие, по-видимому, объясняется тем, что в научной прозе предложения распределяются по размерам несравненно однороднее, чем в художественном тексте, причем короткие предложения встречаются в научном тексте довольно редко.

Примечание. В педагогических статьях Л. Толстого и во второй части «Эпилога» «Войны и мира» распределение классов A и V примерно совпадает с типом распределения этих классов в научной прозе, тогда как в «Истории Пугачева» Пушкина — с типом распределения в художественной прозе.

*

Для структуры предложения не менее важными, чем распределение классов слов, являются некоторые характеристики самих классов слов, существенно различающиеся в научных и художественных текстах. Наиболее значительными представляются различия в глаголах и существительных[16].

Глагол (см. табл. 8). 1. В научных текстах преобладают формы несовершенного вида (83,6%), тогда как в художественных текстах они составляют меньшинство форм (44,0%).

2. Доля инфинитива в научных текстах — 22,7%, в художественных — 10,9%.

3. В научных текстах преобладают формы настоящего времени (46,4%), тогда как в художественных текстах они составляют 0,7%. Преобладание форм настоящего времени (как и форм несовершенного вида) в научных текстах, по-видимому, связано с вневременным использованием глагола. Настоящее (будущее) время в научном тексте в исследуемом материале чаще всего вообще не соотнесено с моментом речи, а обозначает действия по существу всевременные («вечные») или вневременные. Например: «У позвоночных животных встречается центральное скопление нервных

[16] Приводимые ниже данные взяты из текстов шести авторов: Достоевского, Л. Толстого, Тургенева, Бутлерова, Ключевского, Сеченова.

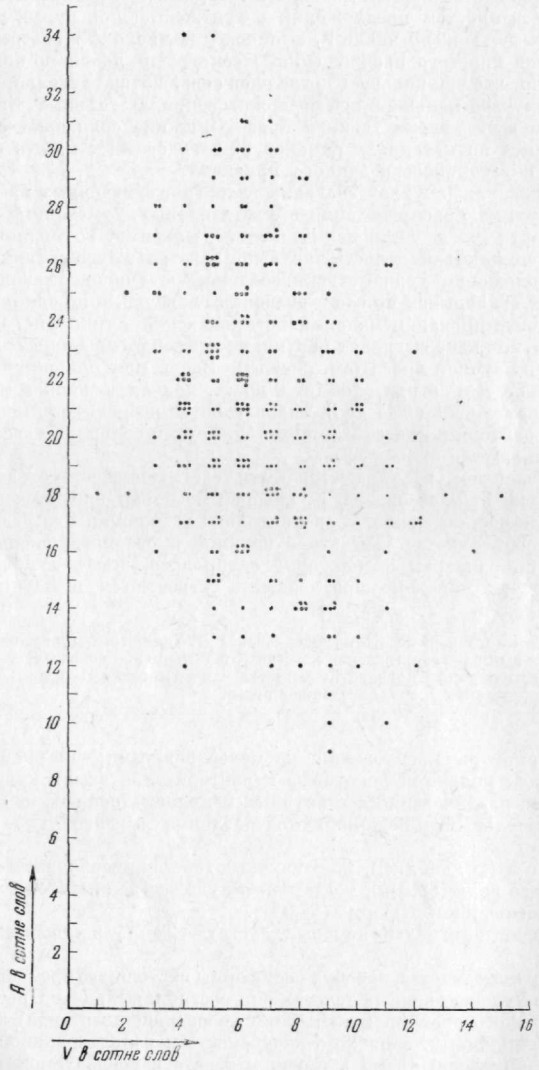


Рис. 10. Научная проза 60-х годов XIX в. Соотношение распределения классов A и V в сотнях слов простого предложения

Таблица 8

Распределение глагольных форм в научной и художественной прозе

		Настоящее время				Прошедшее время				Будущее время				Условное накл.			
		Худож. проза		Науч. проза		Худож. проза		Науч. проза		Худож. проза		Науч. проза		Худож. проза		Науч. проза	
Сов. вид	без -ся	—	—	—	—	1198	41,7%	90	4,3%	6	0,2%	27	1,3%	3	0,11%	1	0,05%
	с -ся	—	—	—	—	540	18,7%	23	1,1%	2	0,06%	11	0,5%	—	—	—	—
Несов. вид.	без -ся	14	0,5%	659	32,1%	628	21,7%	313	15,2%	—	—	9	0,4%	2	0,06%	5	0,3%
	с -ся	7	0,25%	294	14,3%	168	5,8%	142	6,9%	—	—	6	0,3%	1	0,03%	—	—
Всего		21	0,7%	953	46,4%	2534	87,9%	568	27,5%	8	0,3%	53	2,5%	6	0,2%	6	0,3%

		Повелительное накл.				Инфинитив				Всего			
		Худож. проза		Науч. проза		Худож. проза		Науч. проза		Худож. проза		Науч. проза	
Сов. вид	без -ся	—	—	2	0,1%	127	4,4%	170	8,2%	1334	46,2%	290	14,1%
	с -ся	—	—	—	—	31	1,1%	15	0,7%	573	19,8%	49	2,3%
Несов. вид	без -ся	—	—	10	0,5%	130	4,5%	205	10,4%	774	26,9%	1201	58,7%
	с-ся	—	—	—	—	28	0,9%	71	3,4%	204	7,1%	513	24,9%
Всего		—	—	12	0,6%	316	10,9%	461	22,7%	2885	100,0%	2053	100,0%

масс» (Сеченов); «Псейдопропильный алкоголь кипит около 85°» (Бутлеров); «К югу от Лапландии до пределов Новгородской области простирается Карелия» (Ключевский).

Примечание. В текстах Бутлерова и Сеченова преобладание форм настоящего времени еще большее — соответственно 61,8% и 61,7%. Снижение общей доли происходит за счет текста Ключевского (естественно, что в историческом труде преобладают формы прошедшего времени — 65,7%, тогда как у Бутлерова их менее 10%, у Сеченова — 3,8%). Но научный характер описания обусловил меньшее использование форм прошедшего времени даже в описании событий исторического прошлого у Ключевского, чем в художественной прозе (87,9%), и несравненно более частое использование форм настоящего времени (18,4% у Ключевского; ср. у Достоевского — 1,0%, у Тургенева—0,5%, у Л. Толстого—0,3%).

4. С этим же связана и важная особенность глагольной лексики в научном тексте — преобладание глаголов с отвлеченным значением над глаголами с конкретным значением, очень часто — с самым отвлеченным значением бытия или принадлежности к какому-либо классу предметов: *быть*, *существовать*, *лежать* (= находиться где-нибудь), *находиться*, *встречаться*, *иметься*, *относиться* (к чему-нибудь), *принадлежать* (к чему-нибудь), *представлять* (что-нибудь), *состоять* (из чего-нибудь) и т. п.

Отмеченные особенности употребления глагольных форм в научной прозе связаны с аналитическим характером всякого научного описания, в большинстве случаев — в отличие от художественного описания — не имеющего своей целью воспроизведение конкретных, единичных ситуаций в их непосредственной динамике.

Примечание. Абсолютное преобладание форм прошедшего времени в художественных текстах (98,6% всех спрягаемых форм), по-видимому, явление типичное (по крайней мере, для литературы XIX в.), но не обязательное. Например, в ранних рассказах Чехова повествование очень часто ведется в настоящем времени («В Москве на Трубной площади», «Хирургия», «Налим», «Гриша», «Полинька» и *др.*); иногда эта манера сохраняется и в его зрелых произведениях («Спать хочется», «Скуч-

Таблица 9

Распределение форм существительных в художественной прозе[1]

№№ п/п	Им.	Род.	Дат.	Вин.	Твор.	Предл.	Всего		Примеры
1	1106	266	131	247	130	25	1905	24,1	*Андрей, человек, собака*
2	341	858	183	1040	589	420	3431	43,4	*стол, истина*
3	56	91	25	85	58	48	363	4,6	*удлинение, бег, перерезка*
4	72	53	8	109	14	15	271	3,4	*пять*
5	458	231	161	184	61	18	1113	14,1	*я*
6	20	34	12	65	9	10	150	1,9	*оно*
7	219	65	23	23	16	3	349	4,4	*Базаров, Мышкин, Болконский*
8	15	10	2	9	4	2	42	0,5	*животное, слепой*
9	3	20	4	36	—	17	80	1,0	*столовая, Марьино*
10	—	1	—	—	—	—	1	0,01	*первый*
11	51	11	10	11	1	1	85	1,1	*все*
12	31	10	9	19	7	10	86	1,1	*все*
13	4	8	2	4	2	—	20	0,3	*млекопитающее*
14	1	—	—	—	—	—	1	0,01	*ученый*
Всего	2377	1658	570	1832	891	569	7897	100,0	

[1] Разряды существительных в табл. 9 и 10 даны в следующем порядке: 1 — одушевленные, 2 — неодушевленные, 3 — глагольные, 4 — числительные, 5 — местоимения одушевленные, 6 — местоимения неодушевленные, 7 — субстантивированные прилагательные одушевленные собственные, 8 — субстантивированные прилагательные одушевленные нарицательные, 9 — субстантивированные прилагательные неодушевленные, 10 — субстантивированные прилагательные числительные, 11 — субстантивированные прилагательные местоимения одушевленные, 12 — субстантивированные прилагательные местоимения неодушевленные, 13 — субстантивированные действительные причастия, 14 — субстантивированные страдательные причастия.

ная история», «Гусев», гл. 1 «Палаты № 6» и др.). Использование формы прошедшего времени в авторском повествовании, кажется, не обусловлено спецификой художественной литературы, так как и в обычном разговоре, и в переписке чаще всего используется прошедшее время как основная повествовательная форма. Она, очевидно, является эстетически нейтральной в отличие от формы настоящего времени, которая и в художественном произведении, и в обычном разговоре воспринимается как стилистически маркированная (ср. «Скучную историю» и «Мою жизнь» Чехова).

Существительное (см. табл. 9 и 10). В классе *N* самыми существенными представляются различия в частотах употребления в научных и художественных текстах глагольных существительных (17,0% и 4,6%), местоименных существительных (4,6% и 16,0%) и субстантивированных прилагательных (3,4% и 8,4%), а также значительное распро-

Таблица 10

Распределение форм существительных в научной прозе

№№ п/п	Им.	Род.	Дат.	Вин.	Твор.	Предл.	Всего	
1	275	358	61	47	77	23	841	6,1
2	1472	3506	462	1371	974	1019	8804	64,8
3	426	792	185	336	242	337	2318	17,0
4	119	160	42	109	37	37	504	3,7
5	74	41	22	23	15	3	178	1,3
6	74	225	25	46	52	29	451	3,3
7	3	12	—	—	—	—	15	0,1
8	18	42	3	2	5	2	72	0,5
9	47	39	6	22	5	9	128	0,09
10	1	2	—	3	1	—	7	0,05
11	8	3	—	—	1	—	12	0,9
12	43	63	21	24	29	27	207	1,5
13	3	2	2	2	1	3	13	0,09
14	3	10	3	1	1	—	18	0,13
Всего	2566	5255	832	1986	1440	1489	13 568	100,0

Примечание. В распределении форм существительных (как и глаголов) все три художественных текста дают приблизительно одинаковую картину, тогда как из трех научных текстов текст Ключевского в обоих случаях занимает промежуточное положение: группа глагольных существительных составляет в нем 8,1% всех *N* (тогда как у Сеченова — 25,7%; у Бутлерова — 16,2%), группа одушевленных существительных — 20,9% (у Сеченова —3,8%; у Бутлерова — 1,9%).

странение в художественных текстах (44,5%) одушевленных существительных (в научной прозе — 9,1%).

Большой процент глагольных существительных в научном тексте как бы компенсирует малую употребительность в нем глаголов. Однако глагольное существительное, сохраняя лексическое значение глагольной основы, значение процесса, утрачивает значение единичного акта, протекающего во времени. Действие приобретает при этом характер более обобщенный и отвлеченный и лишается временно́й координации.

Второе различие, касающееся употребительности падежных форм, обусловлено, с одной стороны, ослаблением группы глагола в научном тексте, с другой, — большой распространенностью в нем глагольных существительных.

Таблица 11

Распределение падежных форм существительных (частоты в процентах)

Научная проза

Род.	Им.	Вин.	Предл.	Твор.	Дат.
38,9	18,9	14,6	10,9	10,6	6,1

Художественная проза

Им.	Вин.	Род.	Твор.	Дат.	Предл.
30,1	23,1	21,0	11,3	7,2	7,1

Порядок следования падежей по убывающим частотам их употребления и сами эти частоты в научном и художественном тексте, приведенные в табл. 11, совпадают с данными, опубликованными В. А. Никоновым. Наши наблюдения подтверждают объяснение преимущественного использования род. падежа в научной прозе и значительного использования

винительного падежа в художественной прозе, предложенное В. А. Никоновым [17].

Таким образом, не только распределение классов слов, но и лексико-грамматические характеристики, а также частоты появления различ-

Таблица 12

*Характеристика класса **A** в научных и художественных текстах* [1]

№№ п/п	Науч. проза		Худож. проза	
	число	%	число	%
1	4275	60,5	1626	59,2
2	285	4,0	55	1,9
3	1214	17,1	629	22,8
4	573	8,1	163	5,9
5	143	2,0	50	1,8
6	513	7,2	208	7,6
7	30	0,4	23	0,8
8	55	0,8	—	—
Всего	7088	100,0	2754	100,0

[1] Разряды прилагательных в табл. 12 даны в следующем порядке: 1 — собственно прилагательные, 2 — прилагательные числительные, 3 — прилагательные местоимения, 4 — действительные причастия без -ся, 5 — действительные причастия с -ся, 6 — страдательные причастия, 7 — сравнительная степень, 8 — субституты прилагательного.

Таблица 13

*Характеристика класса **D** в научных и художественных текстах* [1]

№№ п/п	Науч. проза		Худож. проза	
	число	%	число	%
1	1498	78,9	1562	76,6
2	133	7,0	302	14,8
3	31	1,6	105	5,1
4	238	12,5	72	3,5
Всего	1900	100,0	2041	100,0

[1] Разряды наречий в табл. 13 даны в следующем порядке: 1 — собственно наречия, 2 — деепричастия от глаголов без -ся, 3 — деепричастия от глаголов с -ся, 4 — сравнительная степень.

ных грамматических форм этих классов, как и размеры простого предложения, различны для разных видов речи (научной и художественной) и могут быть использованы как их различительные признаки.

[17] В. А. Никонов, Статистика падежей русского языка, сб. «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 3(10), 1959.

Примечание. В классе *A* (см. табл.12) порядок следования падежей (по частоте) в научной прозе тот же, что и в классе *N*; несколько иной он в художественной прозе, причем существенно отличаются (от класса *N*) доли падежей (им. — 26,3%; вин. — 22,9%; твор. — 20,5%; род. — 17,1%; предл.— 9,3%; дат.— 3,9%). В распределении *A* по разрядам не отмечено таких значительных различий, какие отмечены в классе *N* (даже доли причастий в двух видах текста очень близки: 17,3% и 15,3%).

В классе *D* (см. табл. 13) в научных текстах наблюдается меньшая употребительность деепричастий (8,6% —19,9%) и бóльшая сравнительной степени (12,5% —3,5%), чем в художественных текстах, что связано с особенностями употребления слов класса *V* в двух видах текста.

Различия в классах слов и их формах, очевидно, связаны с различиями в синтаксических конструкциях, характерных для простого предложения в научной и художественной прозе. Так как наибольший интерес представляют основные конструкции, рассмотрим сперва простое предложение без осложняющих его так называемых обособленных конструкций, т. е. без распространенных определений, деепричастий и зависимых от них слов, приложений и уточняющих обстоятельств (см. табл. 14).

Обособленные конструкции в научных текстах встречаются значительно чаще и на них приходится бóльшая доля слов (18,0%), чем в художественных текстах (16,4%), так что различие в размерах простых предложений в двух видах текста сокращается, однако в структуре самого простого предложения заключены наиболее существенные различия этих двух видов текста, которыми и обусловлен дискретный или суммарный характер описания одних и тех же внеязыковых ситуаций.

Таблица 14

Число и размеры обособленных конструкций

Автор	N_s	V_s (без вводных слов)	$\bar{n}_s$ (без вводных слов)	Число обособленных конструкций	Число слов в обособленных конструкциях	$\bar{n}_s$ (без вводных и обособленных конструкций)
Достоевский	711	7678	10,8	283	1148	9,2
Л. Толстой	700	7143	10,2	380	1496	8,1
Тургенев	723	6519	9,0	229	863	7,8
Всего	2134	21 340	10,0	892	3507	8,4
Бутлеров	700	11 477	16,4	519	2698	12,5
Ключевский	704	9 909	14,1	319	1548	11,9
Сеченов	703	11 674	16,6	383	2016	13,7
Всего	2107	33 060	15,7	1221	6262	12,7

Простое предложение может включать несколько предикатов, относящихся к одному подлежащему, например: *Базаров встал и толкнул окно.* Это простое предложение является аналогом сложного предложения; ср. *Базаров встал, и Аркадий толкнул окно.* В обоих предложениях имеются две предикативные группы, соединенные сочинительной связью: 1) $N^1_n V^1$ и 2) $N^2_n {}_t V^2 \; N^3_a$, но так как в первом предложении N^2_n из второй группы лексически тождественно с N^1_n из первой группы, можно считать, что оно опускается. В строгой грамматической записи этот член следовало бы записать со знаком нуля ($^{\emptyset}N^1_n$), чтобы показать синтаксические связи,

так как именно предикативная группа, т. е. группа слов, объединенных одним и только одним предикатом, является мельчайшей законченной по смыслу синтаксической единицей, тождественной в ряде случаев (но не всегда) с ядерной конструкцией, а не простое предложение, могущее включать в себя несколько ядерных конструкций. В частном случае простое предложение может быть равно предикативной группе, но очень часто оно состоит из нескольких предикативных групп (см. табл. 15).

Таблица 15

Предикативные группы в простом предложении

Автор	N_8	V_8 (без вводных и обособленных конструкций)	Число предикатов	Отношение числа предложений к числу предикатов	Средний размер предикативной группы
Достоевский	711	6530	1005	0,7	6,5
Л. Толстой	700	5647	987	0,7	5,7
Тургенев	723	5656	1001	0,7	5,7
Всего	2134	17833	2993	0,7	5,9
Бутлеров	700	8779	793	0,9	11,9
Ключевский	704	8361	808	0,9	10,2
Сеченов	703	9658	751	0,9	12,9
Всего	2107	26 798	2352	0,9	11,3

Как видно из таблицы, обследуемый материал обнаруживает устойчивые различия, во-первых, в числе предикативных групп, приходящихся на равное число предложений в двух видах текста, во-вторых, в размерах предикативных групп, образующих простое предложение в научной и художественной прозе. Очевидно, что за этой разницей в размерах стоят более существенные структурные особенности.

Сравним две предикативные группы одного типа ($N^1_n\ V^1_{fin}\ N^2_a$): *Базаров толкнул окно* и *Катя с Аркадием слышали шелест платья*. Первая группа является «атомарной», так как ее невозможно подвергнуть дальнейшему разложению, не уничтожив при этом самой предикативности. Вторая группа по этому признаку может быть названа «молекулярной», так как один из ее элементов (N^2_a) является трансформом и может быть подвергнут детрансформации, в результате которой из одной исходной предикативной группы возникнут две предикативные группы: *Катя с Аркадием слышали, что шелестело платье*. «Молекулярные» предикативные группы встречаются в научном тексте значительно чаще, чем в художественном (см. табл. 16).

Кроме того, так как место любого элемента в предикативной группе может быть занято трансформом, а сами трансформы, по крайней мере теоретически, могут быть любой степени сложности и, стало быть, могут подвергаться соответствующее число раз детрансформации, то и «молекулярные» предикативные группы могут теоретически иметь любую степень сложности. Ср., например, такие «молекулярные» группы: *В основу этих явлений и кладут вообще мысль о существовании в спинном мозгу... препятствий к движению возбуждений в различных направлениях...* → *В основу этих явлений и кладут вообще мысль о том, что существ-*

ствуют в спинном мозгу... препятствия к тому, чтобы возбуждения двигались в различных направлениях...; При изучении влияния различных веществ на двигательные и чувствующие аппараты животного тела... важно знать не только способы определения совершенной потери раздражительности в той или другой части нервной системы, но и приемы, употребляемые для открытия менее резких колебаний ее... → Когда изучают, как влияют различные

Таблица 16

Молекулярные предикативные группы в простом предложении

Автор	Число молекулярных групп	% от всего числа предикативных групп	Автор	Число молекулярных групп	% от всего числа предикативных групп
Достоевский	98	9,7	Бутлеров	241	30,4
Л. Толстой	83	8,5	Ключевский	173	21,4
Тургенев	97	9,7	Сеченов	380	50,6
Всего	278	9,3	Всего	794	33,6

вещества на двигательные и чувствующие аппараты животного тела, важно знать не только, каким способом определить, совершенно ли потерялась раздражительность в той или другой части нервной системы, но и приемы, употребляемые для того, чтобы открыть, когда она колеблется менее резко...

По степени сложности «молекулярных» групп, т. е. по числу трансформов, используемых вместо простых элементов в предикативных группах, различие между научными и художественными текстами еще более возрастает (см. табл. 17).

Таблица 17

Число трансформов в простом предложении

Автор	Число трансформов	Автор	Число трансформов
Достоевский	115	Бутлеров	366
Л. Толстой	128	Ключевский	256
Тургенев	111	Сеченов	657
Всего	354	Всего	1279

Преимущественное использование в тексте предикативных групп того или иного типа — «атомарных» или «молекулярных» — является, как и преобладание в тексте простых или сложных предложений (и даже в еще большей степени), грамматическим признаком дискретного или суммарного способа описания внеязыковых ситуаций и основным различительным признаком двух видов текста на синтаксическом уровне.

№ 3 1964

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХЕТТОЛОГИИ

(Работы Г. Ноймана и А. Хойбека)

Сфера научных интересов геттингенского филолога доктора Гюнтера Ноймана весьма широка: его занимают проблемы хетто-лувийских и германских языков, греческого и латинского языка, не дешифрованного пока языка документов линейного письма А, лингвистической дешифровки в целом. Все исследования Г. Ноймана — будь то монография, оригинальные статьи или рецензии — отличаются ювелирной тщательностью обработки материала, четкостью композиции и лаконичностью языка: понятно, почему автору удается создавать произведения, весьма сложные по тематике и в то же время очень небольшие по объему.

Г. Нойман в принципе поддерживает интерпретацию линейного письма А, впервые предложенную А. Фурумарком в 1956 г.; в соответствии с этой интерпретацией, знаки письма А в целом соответствуют силлабемам письма В (которым пользовались греки, видимо, перенявшие его у племен, писавших на линейном А) не только по графической форме, но и по звуковому содержанию. Этот вывод подтверждается не только фактами хронологии, но и тем обстоятельством, что в обоих видах письма в определенных графических чередованиях участвуют одни и те же знаки [1].

Продолжая начатые в 1957—1958 гг. исследования по идентификации отдельных минойских слов, относящихся к определенным лексическим сферам (обозначения плодов; названия сосудов) [2], Г. Нойман получил результаты, которые убедительно подтверждают вывод (сделанный им еще в 1957 г.) о соответствии структуры звуковых цепей минойского языка графической структуре линейного письма А (равномерное чередование согласных и гласных по схеме *CVCVCV*...). Г. Нойман идентифицирует в качестве минойских заимствований не только отдельные греческие, но и некоторые хетто-лувийские слова, в частности лин. А, лин. В *ka-ti*, иерогл. лув. *gati-*, хет. *gazzi* «сосуд» (с обычным соответствием лув. *-ti* ~ хет. *-zi*) [3]. По мнению автора, слой анатолийской лексики, из которого подобного рода слова заимствовались в хеттский и лувийский, принадлежал неиндоевропейскому «долувийскому» или «протолувийскому» языку («Praeluwisch» или «Protoluwisch») [4]. Поскольку минойские и «протолувийские» названия сосудов в ряде случаев совпадают, причем слова эти характеризуются отмеченной выше специфической структурой, Г. Нойман склоняется к мысли, что язык линейного А и «протолувийский» генетически тождественны. Тем самым автор фактически исключает мысль о возможном хетто-лувийском (индоевропейском) характере минойского. Весьма интересным в этой связи представляется то обстоятельство, что ликийский язык (близкородственный лувийскому) обладает структурой, почти автоматически сводимой к исходной схеме *CVCVCV*.... Действительно, в ликийском крайне редки конечные закрытые слоги; на то, что и слоги внутри слов имели ту же структуру, указывает, во-первых, сходство между начальными и интервокальными группами согласных, во-вторых, сводимость этих групп к фонетической схеме *CVC(VCV)*: так, группы типа $C_1C_2C_2$ восходят к образованиям типа *CVC*, как это следует из сопоставления

---

[1] См.: G. Neumann, Zur Sprache der kretischen Linearschrift A, «Glotta», XXXVI, 1/2, 1958, стр. 156, примеч. 2.

[2] G. Neumann, Weitere mykenische und minoische Gefässnamen, «Glotta», XXXIX, 3/4, 1960/61; его же, νικόλεον, там же, XL, 1/2, 1962.

[3] G. Neumann, Weitere mykenische und minoische Gefässnamen, стр. 172—175 и 176.

[4] Там же, стр. 176.

лик. *pttarazẽ* ~ Παταρέων [5]; очевидно, группы вроде *ptt-*, *pdd-* произносились в ликийском с редуцированным гласным: ср. запись русск. *подожди* как /пъддажди/ в транскрипции Булича — Трахтерова; в отношении лик. *q̃ñna-* ср. русск. /фына-ри/ и т. д. Таким образом, можно утверждать, что слова, вроде *pzziti* и *pasbbã*, имели не по два, а по три фонетических слога (структура *CVCVCV*). Поскольку на наличие фонетического слога указывают не только удвоенные согласные, но и скопления вроде *CñC-*, *CrC-*, можно прийти к выводу, что довольно распространенный тип написаний $C_1rC_2C_2C_3V$ обладал фонетической структурой *CVC(V)CVCV* (ср. *mrssqã*, *zrbblã*, *mrßßdi-*, *qrbbli-*). Очевидно, со вставным гласным произносились и такие группы, как *pdu-*, *kba-*, *tbi-*, поскольку здесь отсутствует указание на ассимиляцию; к тому же сочетания смычных в пределах слога маловероятны в языке с относительно равномерным следованием гласных и согласных (в звуковых целях); аналогичным образом произносились и заимствования, как это следует из написаний типа *wizttasppazñ*. Таким образом, фонетическое скопление хотя бы двух согласных звуков было редким явлением в ликийском, тогда как скопления из двух и более согласных фонем встречались довольно часто.

Если исходить из концепции Г. Нойманна, можно объяснить это ликийское (или во всяком случае «праликийское») языковое состояние влиянием неиндоевропейского («протолувийского») субстратного языка, родственного или идентичного языку линейного письма А (на несомненную связь между этим языком и ликийским указывают, в частности, такие лексические параллели, как лик. *wa-du-ni-mi*: лик. *βadunimi* — в обоих случаях предположительно собственные имена). Тем же влиянием можно было бы объяснить колебание в артикуляции смычных в ликийском (и в других хетто-лувийских) языках, наличие в хетто-лувийских многочисленных именных основ на гласные и т. д. Однако в ряде появившихся в недавнее время работ (Л. Палмер, А. Хойбек и др.) многие явления, общие минойскому (и догреческому), с одной стороны, и хетто-лувийскому, с другой, объясняются тесным генетическим родством указанных языков (а именно, их лувийским, или «хеттским» характером). В таком случае структуру *CVCVCV*... языка линейного письма А (минойского) следовало бы объяснять влиянием иного — неиндоевропейского — языка, что приводит к значительным трудностям (заимствование минойцами письма А, созданного для фиксации «языка *CVCVCV*...» у соответствующего «*CVCVCV*.-язычного» народа). Ввиду того, что минойский язык несомненно содержит многие черты, свойственные всем или некоторым хетто-лувийским языкам (среди них такие, как датив ~ локатив на *-i*), следует, видимо, — во всяком случае до окончательного установления языковой принадлежности минойского — ввести в обиход понятие хетто-минойского языкового союза, охватывающее всю совокупность «хеттских» языков (в терминологии А. Хойбека, см. ниже).

Ряд своих исследований Г. Нойман посвятил хеттскому языку. Интересны предложенные им недавно хеттские этимологии *auiti-* «лев» < и.-е. * *oui-edis* (буквально ^ «овце-ед», ср. русск. *медведь*, литов. *pelėda* «сова», буквально «мыше-едка», *zmõgėdis* «людо-ед» и т. д.); *ištagga* «тетива (лука)» ~ др.-исл. *stag* «канат» < и.-е. **sta-* «стоять» (с детерминативом *-k*) и др. [6]. Г. Нойман много занимается так называемыми малыми языками Анатолии и прежде всего ликийским [7]. В своих работах по ликийскому языку Г. Нойман совершенно правомерно исходит из предпосылки, что собственно ликийский (ликийский А, или термильский) лишь в незначительной степени отличается от милийского (ликийского В); констатация диалектной близости ликийского А и ликийского В, естественно, исключает различного рода фантастические гипотезы о гетерогенном происхождении ликийского.

Хотелось бы подробнее остановиться на монографии Г. Нойманна, посвященной проблемам «малых» языков Анатолии: ликийского, лидийского, карийского, писидийского, сидетского, мизийского, киликийского и некоторых других — как засвидетельствованных, так и тех, лексические элементы которых сохранились в греческой передаче [8]. Автор монографии ставил себе целью проследить, в какой мере хетто-лувийское языковое наследие сохранилось в «поздних» языках Малой Азии (относящихся в основном ко второй половине I тысячелетия до н. э.).

[5] См.: R. Shafer, Greek transcription of Lukian, «Jahrbuch für kleinasiatische Forschung», II, 1, 1951, стр. 8.

[6] G. Neumann, Hethitische Etymologien III, KZ, 77, 1/2, 1961 (I — KZ, 75, 1/2, 1957; II — KZ, 75,3/4, 1958).

[7] См. из последних работ: G. Neumann, Beiträge zum Lykischen, II, «Die Sprache», VIII, 2, 1962 (I — там же, VII, 1, 1961); ср. также рубрику «Над чем работают ученые», ВЯ, 1963, 4.

[8] G. Neumann, Untersuchungen zum Weiterleben hethitischen und luwischen Sprachgutes in hellenistischer und römischer Zeit, Wiesbaden, 1961 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи сокращенно — «Untersuchungen...»).

В результате этой работы были выявлены новые факты, свидетельствующие в пользу хетто-лувийского (индоевропейского) характера ликийского и лидийского языков. Так, лик. **ebije* (при *ebije-hi*) сопоставляется с хет. *apiia* «там»; лик. *ebette*, *ebtte* с хет. *apadda*, иерогл. лув. *apata* «там» (ср. лид. *ebad* «здесь»): лик. *masχχm̃* (в транскрипции Х. Педерсена) с хет. *maskan* «дар», лик. *laχa-di* «он ударил» (по Ф. Кенигу) с хет. *lahiiāi-* «бить»; лик. *e/arawa-* (ср. *erawazi* «памятник») с хет. *ar(u)uāi-* «чтить» (ср. хет. *arkuuāi-* «молить» <и.-е. **erk^u-* «восхвалять»); лик. τουξ- с хет. *tuhš-* «очищаться» (термин культа); лик. *tuce-dri* «ανδριάς» (лик.-*dri*: хет. -*tar*) с хет. *tuekka-* «тело, человек», др.-инд. *tvac* «кожа, шкура» <и.-е. **tuak*, ср. греч. σάκος <*τϜακος «щит»; в связи с трактовкой лик. -*dri* как особого суффикса заслуживает внимания точка зрения П. Мериджи, возводящего лик. *wedri* «город» к *wi-j-edri*, ср. также лик. *uwedri*; А. Хойбек полагает, однако, что *wedri* образовано посредством суффикса -*ri* от корня **uedh-* «строить» — ср. хет. *uet-un*: лид. *vid-v* «я построил»; лид. **teju-s* «разбойник» (ср. глоссу Гесихия τεγουν. Λυδοὶ τὸν ληστήν) возводится к и.-е. **tāiu-s* «вор»; тот же корень засвидетельствован в хет. *taia-* «красть» (ср. русск. *таить*) и т. д. (см. «Untersuchungen», стр. 51—56 и 65). Материал, собранный автором, позволяет предположить, что и многие другие «малые» языки Анатолии также являются индоевропейскими. Так, выявленные П. Метри и Л. Згустой генитивы на -*s* в писидийском, возможно, имеют аналогии в сидетских формах *pordors* и *ϑanpius* (и соответственно — в хеттском и палайском). Л. Згуста предполагает, кроме того, наличие в писидийском номинативов без специального согласного форманта; аналогичную форму можно видеть в сидетск. *poloniu* (= греч. Ἀπολλώνιος); важно добавить, что формы на -*u* (и другие гласные) широко распространены в «хеттских» языках (по терминологии А. Хойбека)[9].

В сидетском языке имеется форма *mašara-* «бог(ам)», которую Г. Нойман первым сблизил с лув. *massana-* «бог»; Г. Нойман, установивший наличие целого ряда гетероклитических форм в хетто-лувийских языках, в данном случае не уделил достаточного внимания чередованию *r*:*n*. На то, что здесь действительно имеется чередование *r*:*n* (: нуль), указывают прежде всего такие формы, как карийск. *mesna-*, **mes-r-*, *mes-*; Μασαρις, Μασανωραδα, Μαστα·υρα, Μασα и т. д., ср. также лик. *mahãna* и лид. Μασνης[10]. Г. Нойман отметил существование формы на -*n*, входящей в гетероклитический ряд *r*:*n*, в языке Катаонии (**kommana* «тень» при хет. *kammara-* «дым, туман, облако» с закономерным переходом *a*>*o*; обе формы, очевидно, восходят к и.-е. **kem-* «покрывать, скрывать»). Хетто-лувийскую по происхождению форму **atis* «отец» Г. Нойман обнаружил в киликийском (ср. хет. *attaš*, лид. *ataš*, «отец») («Untersuchungen...», стр. 34—35). Индоевропейское по происхождению слово **derwa* обозначало в ликаонском вид дерева (ср. хет. *taru-* «дрова») (там же, стр. 38). Видимо, писидийск. **aska-* тождественно по исходному значению хет. *aška-* «ворота; место, где вершится правосудие». Можно, наконец, указать на некоторые, по всей вероятности, индоевропейские, черты мизийского языка[11]. Уже материал, собранный Г. Нойманом, позволяет нам с большей или меньшей долей вероятности предположить, что сидетский, писидий-

---

[9] Номинатив без специального форманта несомненно имелся и в карийском — карийские надписи, целиком или почти целиком состоящие из собственных имен, как правило, включают номинативы на -*e*, -*i*, -*ŭ*, -*ù*, -*o*, -*a*; см.: В. В. Шеворошкин, Карийский вопрос, ВЯ, 1962, 5, стр. 96. В недавней своей работе (L. Zgusta, Die epichorische pisidische Anthroponymie und Sprache, AO, 31/3, 1963) Л. Згуста приходит к заключению о тесном родстве писидийского и ликийского языков (см. ниже).

[10] См. В. В. Шеворошкин, указ. соч., стр. 97—98. Независимо от меня наличие гетероклизии *r*:*n* в основах этого типа установил А. Хойбек (см.: A. Heubeck, [рец. на кн.:] G. Neumann, Untersuchungen..., «Gnomon», 34, 1962, стр. 376). О связи карийск. Μασαρις, сидетск. *mašara* с лув. *massana-*, карийск. Μασσανωραδα и т. д. см.: R. Gusmani, Masnes e il problema della preistoria Lidia, «La parola del passato», [15] LXXIV, 1960, стр. 334, примеч. 40.

[11] Этот язык едва ли относится к хетто-лувийским. Нойман отмечает, что сочетание *braterais patrizi*, встречающееся в единственной мизийской надписи, хотя и звучит «по-индоевропейски», заставляет скорее думать о близости к фригийскому, чем к хеттскому: хетто-лувийские языки не сохранили старой индоевропейской терминологии родства («Untersuchungen...», стр. 80); ср., однако, хет. *gaena*, лид. *kāna* «зять». Заметим, что именно отсутствие в известных хетто-лувийских языках подобного рода образований заставило А. Хойбека с сомнением отнестись к трактовке лин. А *i-da-ma-te* как Μήτηρ Ἰδαί (Э. Перуцци); см.: A. Heubeck, Praegraeca, Sprachliche Untersuchungen zum vorgriechisch-indogermanischen Substrat, Erlangen, 1961 (ссылки на это издание далее в тексте статьи даются сокращенно — «Praegraeca»), стр. 76—77.

ский, киликийский, ликаонский и катаонско-каппадокийский языки суть хетто-лувийские по происхождению (важно отметить, что к выводу о возможном хетто-лувийском характере сидетского, а также карийского, пришел недавно и А. Хойбек). Этот вывод подтверждается и внешними данными: не вызывает сомнения, что к хетто-лувийской группе относятся три наиболее хорошо сохранившиеся позднеанатолийских языка — ликийский, лидийский и карийский.

Сам Г. Нойман воздерживается в своей работе от определения языковой принадлежности карийского, хотя и приводит некоторые параллели, общие карийскому и известным хетто-лувийским языкам (суффиксы *-asa, *-l-, *-(u)mn(a), слово *dolpa ~ хет. taluppi «хлеб»; все на основе греческих передач и глосс; «Untersuchungen...», стр. 77—79). Замечая, что глоссы в целом не дают материала для сближения карийского с хетто-лувийскими языками, Г. Нойман поступает тем самым гораздо осмотрительнее, чем В. Георгиев. Последний — также без учета материала карийских надписей — пытается доказать индоевропейский характер карийского языка на основе греческих данных [12], допуская при этом ошибки, дискредитирующие верное в своей основе положение о индоевропейском характере карийского: так, в карийском не было делабиализации лабиовелярных, как это утверждает В. Георгиев, интервокальное *-ḫ- в карийском не выпадало, карийск. -mn- не восходило к *-(m)pn-; вопреки мнению Георгиева, старое *k в карийском сохранялось. Слово καλλ'αβη не является карийским и значит не «конь», как полагает Георгиев, а «сосуд» (см. «Untersuchungen...», стр. 77); κολοσσος не восходит к *ḫulikjo, κ'αννωκος не восходит к *ganw-ōkuos; Λων- не восходит к laḫḫijani-, а соотносится с Ρων-; слова *Ουσσωλος никогда не существовало (есть только греч. Θυσσωλος); κῶς никогда не выступало в значении, приписываемом ему Георгиевым; Σαμωυος, видимо, следует членить не на *Σα+μωυος, а на Σαμ+ωυος (*sam-uve); этимологии слов Σουάγγελα, τυμνισσός, τουσσώλος и т. д., предложенные Георгиевым, бездоказательны. Не выдерживает критики и утверждение Георгиева о развитии карийск. -he ‹и. е.*-si̯o [13]: во-первых, в карийском не было перехода *s› h (ср. карийск. mes- при лик. A mah-, карийск. slm- при лик. B sl̃mm-, лик. A hl̃mm- и т. д.), во-вторых, карийск. -he не является окончанием генитива, в-третьих, карийск. e было звуком типа æ, а не типа e̯ (i̯) [14]. Как показали исследования А. Гётце и Ф. Хоуинка тен Кате [15]; элементы ликийской топономастики (суффиксы, приставки, основы) совпадают с элементами сидетской, писидийской, киликийской и ликаонской топономастики: эти элементы имеют ярко выраженный лувийский характер. Известные выводы Э. Ларошa, идентифицировавшего ликийский язык как близкородственный лувийскому, могут получить, таким образом, соответствующее дополнение. Недавно О. Карруба доказал, что лидийский язык близкородствен хеттскому [16] (это предполагалось и ранее). Видимо, карийский язык был очень близок лидийскому: ср. лидийские -li-адъективы и карийские -λ-адъективы (-λ-‹-li-) при лувийских -ssa-адъективах и ликийских -ha-адъективах (‹*-sa, ср. лик. B-sa) и т. д. По-видимому, хетто-лувийские языки Малой Азии можно разделить на две подгруппы, включив в «хетто-лидийскую» подгруппу хеттский, палайский, лидийский и карийский языки, а в «лувийско-ликийскую» подгруппу — оба лувийских, ликийский, сидетский, писидийский, ликаонский, киликийский и катаонский языки [17].

В заключение коснусь некоторых мыслей Г. Ноймана, содержащихся в двух из его недавних рецензий. Анализируя новое издание хеттской грамматики И. Фридриха, Г. Нойман приходит к выводу о том, что в очень употребительных формах типа хет. a-pa-a-at-ta-i̯a «idam-que» конечное—a̯i̯a было графическим эквивалентом -i̯a в положении после согласного (имеем таким образом: [abat–i̯a]) [18]. Как известно, незадолго

[12] V. Georgiev, Der indoeuropäische Charakter der karischen Sprache, AO, 28/4, 1960.

[13] В. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, М., 1958, стр. 164.

[14] Подробнее о карийском языке см. мои работы в ВЯ, 1962, 5; ВЯ, 1963, 3, а также в ВДИ, «Revue hittite et asianique» и «Kadmos» (в печати).

[15] См. из последних работ: A. Goetze, Cilicians, «American journal of archaeology», 2, 16, 1962, стр. 48—58; Ph. H. J. Houwink ten Cate, The Luwian population groups of Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic period, Leiden, 1961.

[16] O. Carruba, Lydisch und Lyder, «Mitteilungen des Instituts für Orientsforschungen», 3, 8, 1963, стр. 383—408.

[17] Противопоставления — хеттский, палайский, лидийский: лувийский, иероглифический лувийский, ликийский — склонен придерживаться и Г. Нойман; А. Хойбек возражает, однако, против слишком резкого разграничения обеих языковых подгрупп (ср. A. Heubeck, «Gnomon», 34, 1962, стр. 377).

[18] G. Neumann, [рец. на кн:] J. Friedrich, Hethitisches Elementarbuch, I, IF, LXVII, 2, 1962, стр. 200.

до смерти ряд новых фонетических интерпретаций хетто-лувийских слов дал Х. Боссерт. Подобные интерпретации помогают воссоздать истинный фонетический облик хеттской речи (в значительной степени искаженный клинописным и иероглифическим письмом), что чрезвычайно важно не только с точки зрения хетто-лувийского, но и общего языкознания.

Останавливаясь на общих вопросах оценки исследований по дешифровке в своей рецензии на работу С. Дэвиса, представляющую собой очередную и явно неудачную (что и отмечает Г. Нойман) попытку дешифровать фестский диск [19], Г. Нойман справедливо полагает, что чем меньше текст, тем более общими должны быть заключения относительно его содержания, причем различного рода категорические утверждения, связанные с интерпретацией, должны быть исключены; фестский же текст вообще невозможно дешифровать в буквальном смысле этого слова. Г. Нойман, видимо, не прав, полагая, что фестский диск должен читаться от краев к центру: очень веские возражения против этой господствующей в настоящее время точки зрения недавно выдвинул Э. Грумах [20].

*

Основные научные интересы профессора Эрлангенского университета А. Хойбека связаны с изучением творчества Гомера, Гесиода, Фукидида и некоторых других античных авторов. Лингвистам А. Хойбек известен как автор работ по древнегреческому языку и его диалектам (прежде всего, по тем древнегреческим диалектам, на которых написаны документы линейного письма B) [21] и языкам хетто-лувийской группы [22]; перу Хойбека принадлежат многочисленные рецензии на работы по самым различным проблемам филологии.

В последние годы А. Хойбек выступает как автор весьма интересной и стройной гипотезы, в соответствии с которой на территории материковой и островной Греции и в Малой Азии во II тысячелетии до н. э. жили индоевропейские племена, говорившие на близкородственных диалектах, восходящих к общехеттскому языку-основе. Судьба этих племен, наслоившихся, по мнению А. Хойбека, на доиндоевропейское (также, возможно, единое в лингвистическом отношении) автохтонное население Анатолии и Средиземноморья, оказалась различной: если на востоке (на территории Малой Азии) индоевропейцы-хетты долгое время сохраняли свой язык, то на западе (т. е. в южной части Балкан и на островах) они рано подверглись ассимиляции со стороны греков, пришедших с севера или северо-востока [23]. Именно «западно-хеттские» языковые элементы и соответствуют, по мнению А. Хойбека, тому индоевропейскому догреческому субстрату, существование которого давно уже предполагается для греческого языка, причем влиянием того же «хеттского» слоя объясняется наличие ряда негреческих элементов в древнегреческих диалектах, записанных линейным письмом B.

«Хеттская» гипотеза, впервые сформулированная А. Хойбеком в 1958 г. [24],

---

[19] G. Neumann, [рец. на кн.:] S. Davis, The Phaistos disk and the Eteocretan inscriptions from Psychro and Praisos, «Gnomon», 34, VI, 1962.

[20] E. Grumach, Die Korrekturen des Diskus von Phaistos, «Kadmos», I, 1, 1962, стр. 20—25. Некоторые интересные замечания относительно методики исследования надписи на диске из Феста высказал недавно сотрудник ИРЯз АН СССР М. И. Трофимов.

[21] См. из его последних работ: A. Heubeck, Zur dialektologischen Einordnung des Mykenischen, «Glotta», XXXIX, 3/4, 1960—61; его же, Zu einigen Namen auf den Pylos-Tafeln, «Kadmos», I, 1, 1962, его же, Myk, *u-pi-ja-ki-ri-jo*, BzNf., Jg. 13, 2, 1962.

[22] См., в частности: A. Heubeck, Lydiaka. Untersuchungen zu Schrift, Sprache und Götternamen der Lyder, Erlangen, 1959 (ссылки на это издание далее приводятся в тексте статьи сокращенно — «Lydiaka»); его же, Kleinasiatisches, «Die Sprache», VI, 2, 1960 и VIII, 1, 1962.

[23] А. Хойбек считает, что следы иноземного вторжения в Грецию, датируемого археологами началом II тысячелетия до н. э., свидетельствуют не о приходе греков, а о приходе «хеттов». Соответственно приход греков и появление табличек письма B связывается с более поздней эпохой. Аналогичную точку зрения высказал Л. Палмер (см.: L. R. Palmer, Mycenaeans and Minoans. Aegean prehistory in the light of the Linear B tablets, London, 1961, особенно стр. 225—226); ср. в этой связи также: F. Hampl, Die Chronologie der Einwanderung der griechischen Stämme und das Problem der Nationalität der Träger der mykenischen Kultur, «Museum Helveticum», 17, 2, 1960 и ряд других работ. Весьма скептическую позицию по этому вопросу занимает археолог Ф. Шахермайр (F. Schachermeyr, Luwier auf Kreta?, «Kadmos», I, 1, 1962); следует учесть, однако, что лингвистические аргументы Шахермайра (признающего, кстати, один лишь «эгейский» субстрат) подчас не выдерживают критики.

[24] A. Heubeck, Die Entzifferung der griechischen Linearschrift B und das vorgriechische Substrat, «IV. Internationaler Kongreß für Namenforschung. Kongreßberichte», II, München, 1961,

в гораздо более полном виде изложена в книге «Praegraeca», специально посвященной этой проблеме.

Называя язык документов линейного письма А «минойским», А. Хойбек идентифицирует его в качестве одного из диалектов «хеттского»[25]. В качестве «минойских» определяются элементы «хеттского» субстрата в греческом языке островов, тогда как соответствующие элементы в греческом языке материка рассматриваются как реликты «минийского» диалекта, входящего в ту же «хеттскую» языковую группу («Praegraeca», стр. 18). Итак, по А. Хойбеку, «минойцы» — это островные «хетты», «минийцы» — «хетты» Балкан[26]. Кроме «минойского» и «минийского» на западе и хеттского, палайского, лидийского, клинописного лувийского, иероглифического лувийского, ликийского на востоке, в «хеттскую» языковую группу, возможно, входят, по мнению А. Хойбека, сидетский, карийский, этеокипрский, а также этрусский, обнаруживающий ряд общих черт с лидийским (этрусский является в таком случае наиболее дальним родственником «хеттского»: «Praegraeca», стр. 17—18)[27].

стр. 333—338. В этом докладе А. Хойбек останавливается лишь на *-i-* и *-u-* основах собственных имен негреческого происхождения, засвидетельствованных в документах линейного В, отождествляя их в генетическом отношении с соответствующими основами собственных имен, известных из хетто-лувийских языков. Следует отметить, что в этой работе приход греков в Пилос еще датируется ранней эпохой (за семь веков до появления табличек письма В; стр. 335).

[25] Соответственно Л. Палмер отождествляет язык документов линейного А с лувийским. В настоящее время Л. Палмер располагает новыми — пока не опубликованными — данными, подтверждающими, по его мнению, гипотезу о лувийском характере минойского. Заметим, что в пользу хетто-лувийского (индоевропейского) характера минойского высказываются и другие ученые — из последних работ см.: G. Huxley, Crete and the Luwians, Oxford, 1961; ср., однако, возражения против позднего массированного вторжения лувийцев в Грецию: F. Schachermeyr, Luwier auf Kreta?, стр. 27—39; ср.: его же, Prähistorische Kulturen Griechenlands, в кн.: Pauly—Wissowa, Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 1954, passim.). По мнению Э. Перуцци, минойский можно рассматривать в качестве древнейшего из исторически засвидетельствованных индоевропейских языков (см.: E. Peruzzi, Le iscrizioni minoiche, Firenze, 1960, стр. 126; его же, Структура и язык минойских надписей, ВЯ, 1960, 3, стр. 27).

[26] Не прав, таким образом, М. Лежен, утверждающий в своей рецензии на «Praegraeca» (BSLP, 57, 2, 1962, стр. 54), что А. Хойбек определяет в качестве «минийского» язык документов линейного письма А и называет «минийцами» всех западных «хеттов».

[27] Весьма убедительные лидийско-этрусские параллели приводит Э. Феттер (E. Vetter, Zu den lydischen Inschriften, «Sitzungsberichte [der Österreichischen Akademie der Wissenschaften]», 232, 3, Wien, 1959, стр. 59—61); новые подтверждения к выводам Феттера недавно привел К. Ольцша (см.: K. Olzscha, Studien über die VII. Kolumne der Agramer Mumienbinden, «Studi etruschi», XXX, Ser. II, Firenze, 1962, стр. 179); мнение о родстве этрусского с лидийским склонны разделить П. Мериджи, В. Пизани и Г. Нойман. Недавно тезис о хетто-лувийском характере этрусского попытался доказать В. Георгиев (см.: V. Georgiev, Hethitisch und Etruskisch. Die hethitische Herkunft der etruskischen Sprache, Sofia, 1962), однако этот автор подчас исходит в своих рассуждениях из различного рода трудно доказуемых или явно мнимых созвучий (особенно в «переводах»), стремясь уложить материал в априорные схемы и игнорируя некоторые несомненные факты этрусскологии и хеттологии. Достаточно привести в пример его трактовку лидийского термина родства *šuλoś*: это слово транскрибируется им как *šuñoś* и генетически отождествляется со словом *сын*. Однако лид. λ, как известно, восходит к *l*(′), а не к **n*; в частности, лид. *šuλoś* восходит к хет. *sulla-* (см.: O. Carruba, указ. соч., стр. 397, примеч. 22). Лид. *šuλoś* не имело значения «сын» (ср. лид. *varoś* «сын»?). В то же время произведенные Георгиевым парадигматические сопоставления хеттских и этрусских грамматических морфем заслуживают внимания, особенно интересны установленные им весьма четкие параллели между хеттскими и этрусскими местоимениями (V. Georgiev, указ. соч., стр. 7).

Следует отметить исключительно важные результаты, достигнутые советским этрускологом А. И. Харсекиным (г. Кременец, УССР): идентифицированные им без учета хеттских данных этрусские морфемы свидетельствуют объективно о весьма вероятном хеттском характере этрусского (рецензия Харсекина на книгу Георгиева публикуется в сб. «Этимология»). Особенно интересны исследования А. И. Харсекина в области идентификации этрусских числительных. В последнее время этрусско-ликийскими и другими подобными сопоставлениями много занимался Х. Штольтенберг, от-

В чтении минойских надписей А. Хойбек опирается на результаты, достигнутые А. Фурумарком, М. Попом, Дж. Гульдом, П. Мериджи, Э. Перуцци, Дж. Пульесе-Каррателли и другими учеными. По их мнению, оба вида линейного письма — А и В — восходят почти к одной и той же эпохе и, следовательно, соответствуют друг другу не только по форме силлабем, но и по их звуковому содержанию (греки, наслоившиеся на население, пользовавшееся линейным А, кое-как приспособили его к записи своей речи). Этот вполне естественный вывод подтверждается и данными непосредственных сопоставлений линейного А с линейным В (сходство в чередованиях определенных знаков, идентичное написание слов, предположительно обозначавших одни и те же реалии и т. д.). Отметим, что А. Хойбек использовал в своих «Praegraeca» лишь те слова линейного А, в чтении которых названные исследователи сходятся полностью или почти полностью (см.: «Praegraeca», стр. 16—17, а также таблицу на стр. 8—10).

В подтверждение гипотезы о «хеттском» характере догреческого индоевропейского населения Средиземноморья А. Хойбек приводит многочисленные лингвистические данные; рассмотрим некоторые из них. А. Хойбек полагает, например, что в «хеттских» языках, видимо под влиянием доиндоевропейского субстрата, исчезла фонологическая корреляция смычных по глухости — звонкости — придыхательности, иначе говоря, произошло склеивание трех рядов смычных в один [28]. Об этом свидетельствует, по его мнению, ситуация, имевшая место в «минойском» (греки, заимствовавшие у «минойцев» линейное письмо, вынуждены были передавать, например, слоги πα, βα, φα посредством одного и того же слогового знака *pa*), на то же явление указывают колебания типа κ: γ, π: φ в греческой передаче «хеттских» слов, а также известные графические колебания в клинописных, иероглифических и буквенных текстах на хетто-лувийских языках. (Соответственно А. Хойбек полагает, что материал хеттских языков не дает оснований для заключения о передвижении согласных в этих языках: «Praegraeca», стр. 19, 23—24, 81 [29].)

Как видим, в этом пункте выводы А. Хойбека резко отличаются от положений, выдвигаемых представителями теории «пеласгов», полагающими, что в догреческом индоевропейском языке-субстрате (пеласгском, в их терминологии) имело место передвижение согласных. А. Хойбек специально исследует ряд «пеласгских» (соответственно, по А. Хойбеку, «хеттских») слов, весьма убедительно показывая, что для объяснения их звуковой формы вовсе необязательно прибегать к версии о передвижении согласных в догреческом. В принципе, не отрицая этимологии Γόρτυς <* *ghordh*, Хойбек указывает, однако, на существование таких параллелей, как Κόρτυς, Γ/Κυρτώνη, Γορδυνία, лин. В *ko-tu*, м.-аз. γνρτο-, хет. *gurta-* «город, крепость» и т. д., свидетельствующих о колебании в произношении смычных и ставящих под сомнение тезис о передвижении согласных в этом слове («Praegraeca», стр. 58—62 и 82). Аналогичным образом трактуются параллели πυργός: Πέργη: Βαργυλια: Παρκαλλα: хетто-лув. *Parka-*, анализ которых сводит на нет положение о развитии Πυργός из **bhergh-* через ступени **bergh-* > *perg-* («Praegraeca», стр. 63—64); ср. также πρύτανις/βρυτανεύω («Praegraeca», стр. 67—68). Следует, однако, учесть, что некоторые из названных колебаний свидетельствуют, возможно, о древнейших индоевропейских, а в ряде случаев — праиндоевропейских чередованиях; такова, например, пара **bher* : *per* (важно отметить, что чередования типа **bh* : *p*, **dh* : *t* могут свидетельствовать в пользу выдвинутой Р. Якобсоном гипотезы, которой в общеиндоевропейском не было звонких придыхательных, хотя «третий ряд» смычных, несомненно, имелся).

Далее А. Хойбек полагает, что «хеттские» языки, в основном, сохранили индоевропейские лабиовелярные, в частности в хеттском отсутствовал переход $\kappa^{u}_{\frown}$>*p*. Действительно, хет. *pippit*, ранее возводившееся к местоименной форме * $k^{u}_{\frown}i\kappa^{u}_{\frown}it$, представляет собой собственное имя: таким образом, отпадают причины, заставлявшие предполагать развитие лабиальных из лабиовелярных в этом слове; что же касается лидийской бук-

---

носящий этрусский (наряду с ликийским, карийским и минойским) к постулированной группе «ларских» языков (см.: H. Stoltenberg, Das Minoische und andere larische Sprachen. Etruskisch, Termilisch, Karisch, München, 1961). Резко отрицательная и несомненно справедливая оценка исследовательских «методов» Х. Штольтенберга содержится в рецензии А. Хойбека на указанную книгу (см.: «Gnomon», 34, 1962, стр. 315—316).

[28] Как известно, подобного рода фонологическая конвергенция имела место в тохарском — см.: Вяч. Иванов, Тохарские языки и их значение для сравнительно-исторического исследования индоевропейских языков, сб. «Тохарские языки», М., 1959, стр. 9 и 11.

[29] Ряд явлений, возможно, свидетельствующих о тенденции к передвижению согласных, А. Хойбек отмечает лишь в «позднехеттских» языках — лидийском («Lydiaka» стр. 80) и ликийском (Praegraeca», стр. 82); ср. в этой связи также «Untersuchungen..», стр. 105.

вы $\pm$, которую обычно транскрибировали через *p*, то А. Хойбек убедительно показал, что эта буква передавала лабиовелярный (тогда как индоевропейское *p* обычно переходило в лидийском в *f*: ср. лид. *fa-*, русск. *no-*), поэтому, например, лид. $\pm$*iś* «кто» и хет. *kuiš* «кто» в фонетическом отношении тождественны. Проблеме лидийского $\pm$ А. Хойбек посвятил бо́льшую часть своих «Lydiaka». В связи с тем, что против одного из важнейших аргументов А. Хойбека, в соответствии с которым заимствованное греками πάλμυς не обязательно свидетельствует о начальном *p-* в лид. $\pm$*almlus* «царь», в критической литературе выдвигались возражения (И. Фридрих, О. Массон), я позволю себе привести здесь таблицу, содержащуюся в одном из личных писем А. Хойбека к рецензенту; эта таблица наглядно иллюстрирует ход рассуждений автора «хеттской гипотезы»:

1. Микенская эпоха:

в «хеттских» языках	в греческом
еще произносится лабиовелярный: q^{u}*almlus*	еще произносится лабиовелярный (ср. IF, 65, 1960, стр. 252—262, особ. 260), например q^{u}*alin*

2. После $\pm$ 1200 г. (до н. э.)

еще произносится лабиовелярный; q^{u}*almlus* греками	заимствуется	→ еще произносится лабиовелярный: q^{u}*almus* наряду с q^{u}*alin*

3. Перед $\pm$ 900 г.

еще произносится лабиовелярный: лид. $\pm$*almlus*	переход $q^{u}a- >$ πα — в греческом возникает форма πάλμυς точно так же, как и πάλιν

Наконец, на существование лабиовелярного в карийском и, видимо, в лидийском указывают сочетания типа Κο,-Κου- и т. д. в греческих передачах карийских имен («Lydiaka», стр. 28); заметим, что аналогичным способом лабиовелярные передавались и в самом карийском; ср. карийск. в греческой передаче Κεκου- = карийск. *kikui-* — собственное имя; ср. также карийск. *kuoz* (относительное местоимение в аблативе).

Соответственно ряд лабиовелярных предполагается для линейного А: знаки *qe*, *qo*, *qa* (та же группа знаков имелась и в линейном В: греки, в языке которых в эпоху заимствования линейного письма еще имелись лабиовелярные, естественно, сохранили эти знаки в том же значении в письме В) («Praegraeca», стр. 27—28).

А. Хойбек не отрицает наличия «сатемных» элементов в «хеттских» языках, справедливо полагая, что определенные тенденции к палатализации могут характеризовать не только языки типа сатем («Praegraeca», стр. 65) [30]. В то же время Хойбек выступает против утверждения о строго «сатемном» характере догреческого.

Хойбек останавливается также на некоторых элементах плана содержания, общих всем «хеттским» языкам; специальный раздел «Praegraeca» он посвящает анализу именных основ, оканчивающихся на гласные *-u*, *-i*, *-e*,*-o* (стр. 31—50), а также основ, содержащих догреческие суффиксы- σσος и -(ϝ)Fονες (стр. 50—56); характерную особенность он усматривает также в наличии в «хеттских» языках типа имен, состоящих из двух основ (стр. 56—57).

Несмотря на то, что каждый аргумент, выдвигаемый А. Хойбеком в пользу существования «хеттской» языковой группы, заслуживает самого пристального внимания, даже вся совокупность его аргументов не может на данном этапе исследования рассматриваться как доказательная. В этой связи особенно досадным представляется то обстоятельство, что аргументация А. Хойбека сама по себе не всегда безупречна. Спорно, например, положение об отсутствии фонологического различия по типу артикуляции смычных в хетто-лувийских языках; на то, что такое различение имело место, указывает почти полное

[30] А. Хойбек считает, однако, что иерогл. лув. *asuua-* «конь» не является свидетельством палатализации в хетто-лувийских языках, а заимствовано из хет. *aššuššanni* «ἱππόκομος», представляющего собой контаминацию индоарийского заимствования с хурритским суффиксом (см.: A. Heubeck, Kleinasiatisches, «Die Sprache», VIII, 1, стр. 85). На мой взгляд, более стройная концепция сатемных элементов в анатолийских языках изложена в работе: В я ч. В. И в а н о в, Проблема языков centum и satem, ВЯ, 1958, 4, стр. 19—23; ср. е г о ж е, Хеттский язык, М., 1963, стр. 90—93.

отсутствие в хеттском написаний, передававших последовательности типа $-C_1C_1-$, которые восходили бы к звонким смычным (кроме случаев, когда подобное написание передает звук, возникший из сочетания «звонкий $+H$») [31]. В своем утверждении об отсутствии указанных фонологических различий А. Хойбек опирается на работы Ф. Зоммера и Х. Кронассера, не приводя каких-либо дополнительных аргументов («Ptaegtaeca», стр. 23). Надо, однако, заметить, что Зоммер не ставил, а Кронассер не ставит вопрос столь прямолинейно [32].

Возможно, доиндоевропейский субстрат оказал определенное влияние на фонетическую трактовку смычных в хетто-лувийских языках (отсюда *колебания типа t : d* и т. п., в особенности в позднехеттских языках; ср. в этом отношении также фригийский); однако, как правило, в хеттском сохраняется расстояние между двумя рядами смычных (предполагается, что «звонкие придыхательные» *слились с другими согласными*), причем этимологическим глухим в позднехеттских языках и топономастике обычно соответствуют глухие (с фонетической точки зрения, возможно, придыхательные — ср. современный английский), а этимологическим звонким — звонкие (*ср. примеры выше, стр. 125*; см. также материал, собранный в упомянутой выше монографии Хоуинка тен Кате; подробнее см. в нашей статье «Малоазийские языковые параллели», публикуемой в сб. «Этимология»). При этом важно отметить, что редкие в целом отклонения от нормы в позднехеттских языках в определенных случаях обусловлены позиционными особенностями смычного в слове или звуковой цепи. Имелись также «отклонения», связанные с существованием категорий палатальных в позднехеттских языках, и т. д.

Перечисляя особенности, роднящие «хеттские» языки, А. Хойбек часто ищет причину их возникновения все в том же влиянии доиндоевропейского субстрата. Но в таком случае следовало бы поставить вопрос не об изначальном, а о сложившемся единстве, т. е. о единстве типа языкового союза, тем более, что и сам А. Хойбек указывает на наличие типично «хеттских» явлений за пределами «хеттской» языковой группы, например во фракийском [33].

Здесь важно подчеркнуть, что каково бы ни было это единство, оно, видимо, существовало, причем в пользу этого последнего положения можно было бы привести *ряд дополнительных аргументов*. Так, многие черты, общие «хеттским» (в понимании А. Хойбека) языкам, обнаруживает карийский, представляющий, по крайней мере в географическом отношении, своего рода связующее звено между «западнохеттскими» и «восточно-*хеттскими*» языками (сам по себе карийский язык относится к хетто-лувийской группе). К таким особенностям относятся: наличие лабиовелярных (см. выше), разветвленная система гласных (минойский, лидийский, карийский), система слоговых плавных (минийский, лидийский, ликийский, карийский); колебания в произношении фонетически близких звуков (гласные, смычные — см. выше); гетероклитическое чередование нуль : *n* [минийский, минойский (?), лидийский, карийский]; *i*-падеж — очевидно, датив ~ локатив [минойский, ликийский, карийский (?)]; индоевропейский тип сложных собственных имен (особенно минойский и карийский); разветвленная система гласных основ имен (минойский, минийский, ликийский, лидийский, карийский), чистая основа в номинативе (минойский, минийский, ликийский, карийский, сидетский); именные суффиксы типа *-ate, -ave, -ete, -eve, -ove* (минойский, лидийский, карийский); идентичные основы собственных имен (минойский и карийский, минойский и ликийский, минойский и лидийский и т. д.).

Едва ли можно возражать и против того, что хеттоязычные племена обитали в древности на Крите и в материковой Греции (возможно, правда, это были спорадические поселения): ср. такие параллели как топонимы критск. догреч. Πριανσος (**prija + ns-*): карийск. Σ(α)ρανσος (**sara + ns*); ср. хеттский суффикс *-ица* в «западных» именах типа **Min-ица* и т. д. [34].

---

[31] См.: Т. В. Гамкрелидзе, Передвижение согласных в хеттском (неситском) языке, «Переднеазиатский сборник», М., 1961, стр. 231. По мнению Т. В. Гамкрелидзе, первоначальная фонологическая корреляция по глухости — звонкости — придыхательности (три ряда) заменилась в хеттском — в результате передвижения согласных — корреляцией по придыхательности — непридыхательности (два ряда) (там же, стр. 254); ср. в этой связи известные особенности этрусской графики.

[32] Ср. особенно: H. Kronasser, Etymologie der hethitischen Sprache, I, 1, Wiesbaden, 1962, стр. 13.

[33] A. Heubeck, [рец. на кн.:] D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste, BzNf, Jg. 9, 1, 1958, стр. 121.

[34] В этой связи новое истолкование могут получить противоречивые, как обычно считают, свидетельства о первоначальном расселении карийцев: поскольку карийцы пришли вместе с другими «хеттами» в юго-западную часть Малой Азии с востока и лишь потом распространились на островную и материковую Грецию (а свидетельства того, что карийцы жили на этих территориях,

Какой бы вид ни приняла «хеттская» гипотеза в ее окончательной редакции, несомненно одно: работы, подобные исследованиям А. Хойбека, играют и будут играть в исследовании сложных взаимоотношений средиземноморских и анатолийских народов и их языков исключительно положительную роль.

В. В. Шеворошкин

неопровержимы), постольку они могут рассматриваться в качестве малоазийских автохтонов; поскольку впоследствии карийцы были оттеснены на исходную территорию в Карию, версия о «первоначальном» расселении карийцев на островах также может считаться вполне обоснованной, хотя и несколько односторонней: основная часть карийского этноса, по-видимому, не покидала малоазийской территории.

РЕЦЕНЗИИ

Ф. П. Филин. **Образование языка восточных славян.** — М.— Л., Изд-во АН СССР, 1962. 294 стр.

Новая книга Ф. П. Филина является не только систематическим изложением всего круга вопросов, относящихся к ее заглавию, но захватывает и более широкую проблематику — вопрос о происхождении всех славян, о их прародине, об общеславянском языке и путях его распадения. Эта более широкая проблематика занимает бóльшую часть книги (222 стр.), тогда как часть, посвященная самим восточным славянам и их языку, занимает только последние 70 страниц книги (стр. 223—292). Это вполне понятно и оправдано: без предложения собственного решения более широких (общеславянских и даже «балто-славянских») проблем, по которым сейчас сосуществуют самые разнообразные и трудно примиримые друг с другом точки зрения, нельзя даже подойти к решению *«восточнославянской проблемы»*.

Книга представляет собою незаурядное обобщающее исследование и вместе с тем результат кропотливых собственных *изысканий автора, анализа фактов*, иногда впервые вводимых в научный оборот. В ряде случаев сводки фактического материала и *историография* специального вопроса *даются полнее*, чем это когда-либо было сделано в предшествующей научной литературе. Некоторые из таких обзоров являются как бы маленькими специальными монографиями. Поэтому книга Ф. П. Филина, вне зависимости от того, можно или нельзя принять его точку зрения на тот или иной вопрос, будет серьезною вехою в развитии славяноведения. Таких обобщающих исследований в нашей отечественной литературе не было со времени классических трудов акад. А. А. Шахматова, но Ф. П. Филин затрагивает в своей книге и такие вопросы, которых Шахматов совсем не касался.

Ф. П. Филин, как и А. А. Шахматов и крупнейшие польские и чешские слависты (Т. Лер-Сплавинский, И. М. Коржинек и др.), прослеживает историю языковых фактов, начиная с эпохи распадения индоевропейского языкового единства, к которому восходят в конечном счете и славянские языки, и кончая образованием данной ветви славян (у Филина — славян восточных). Совершенно новым по сравнению, например, с Шахматовым моментом является прослеживание отдельных промежуточных этапов, отделяющих «индоевропейскую» эпоху от «праславянской», «праславянскую» от «восточнославянской»: у Шахматова эти этапы намечались лишь очень эскизно, и если у Ф. П. Филина они тоже не всегда приведены к полной ясности, то здесь вина не автора, а общего состояния нашей науки, в которой господство младограмматических воззрений, оказывая влияние даже на выдающихся ученых, мешало видеть реальный исторический процесс и толкало к примитивным схемам.

Решительным шагом в направлении отхода от этих мертвящих схем были в свое время (конец 20-х годов) статьи Н. С. Трубецкого, подвергнутые А. М. Селищевым *традиционалистской критике*. Ф. П. Филин в основном идет по пути, намеченному Трубецким, хотя, как будет показано ниже, старая традиция иногда, к сожалению, заставляет его делать менее четкие выводы из проводимого им же самим анализа, чем это можно было бы сделать.

Автор настоящей рецензии во многом расходится со взглядами Ф. П. Филина как в плане методики исследования, так и в плане конкретных исторических выводов. Однако было бы нецелесообразно вступать с автором в полемику по каждому из таких пунктов. Собственные взгляды рецензента изложены им недавно в книге «Из предыстории образования общеславянского языкового единства» (М., 1963), и различие концепций может быть ясным из простого сопоставления этой книги с рецензируемою. Нескольких пунктов все-таки нужно коснуться, и эти пункты следующие:

1. Ф. П. Филин крайне скептически относится к комплексному рассмотрению конкретных вопросов, при которых

археологические данные привлекаются на равных более или менее правах с данными лингвистическими. Мы думаем, что, если бы он отличался меньшим скепсисом в этом вопросе, его работа от этого только выиграла бы. На стр. 78—79 Ф. П. Филин приводит довольно пространную цитату из нашей работы 1956 г., солидаризируясь с нашими методическими положениями. Речь идет о неверности того пути, когда, сделав определенные выводы о смене археологических культур на одной территории, о их хронологии или путях перемещения и экспансии этих культур, затем «подставляют» на место этих культур этно-языковые единицы. Такой путь, нередко используемый археологами, действительно методически неверен: лингвист обязан исходить прежде всего из с в о и х фактов, из с в о и х реконструкций. Но, сделав свои выводы, он обязан проверить их историческую реальность, их возможность в ту эпоху, на которую указывает — в плане относительной хронологии — лингвистическая реконструкция. Иначе все лингвистические выводы повиснут в воздухе, как это было у Мейе, у Шахматова и многих, многих других, или даже приведут к таким невероятным гипотезам, как «прибалтийская прародина славян» у Шахматова или «нордическая прародина индоевропейцев» у немецких шовинистов (последние, правда, пытались обосновать свои фантазии и археологически). Чтобы наши лингвистические выводы и реконструкции не повисали в воздухе, нужно проверять их историческую в о з м о ж н о с т ь, а этого без использования доисторической археологии сделать нельзя: только она покажет, было ли данное предположение возможно. Но, конечно, если лингвистическая гипотеза неверна сама по себе (т. е. построена на ложной интерпретации самих языковых фактов), то археология в одних случаях может помочь это вскрыть, а в других и она оказывается бессильной. Повторяем, Ф. П. Филину в д а н н о й книге доисторическая археология могла бы только помочь, а приводить большой давности рассуждения Л. Нидерле по этому поводу (см. стр. 68) едва ли следовало: археология Европы в его время была еще в младенческом состоянии, и лингвисту оперировать ее данными тогда было более чем трудно. Что же касается Ю. Костшевского (см. там же), то у него мы действительно имеем дело с «подстановкою», о которой мы говорили выше, причем эту «операцию» принимают затем за «факт» и Т. Лер-Сплавинский, и М. Рудницкий, и В. В. Мартынов, и другие сторонники «висло-одерской» гипотезы «прародины славян».

2. Ф. П. Филин проявляет максимальную осторожность в подходе к «балто-славянской проблеме». Не считая себя балтистом, он не решается положить в основу своего собственного исследования то или иное решение этой проблемы, а только указывает на существование диаметрально противоположных точек зрения. И в конце концов его позиция остается неясной: он справедливо указывает на субъективизм и произвольность подбора фактов у современных сторонников «балто-славянского» генетического единства (стр. 125—126), но тут же находит «неубедительность» и даже «фантастичность» у сторонников иной точки зрения (о А. Сенне см. стр. 127). Указывая на концепции Э. Френкеля и Хр. Станга (можно было бы добавить С. Б. Бернштейна), Ф. П. Филин только более чем кратко сообщает о их сущности и ... не делает никаких выводов. Все это представляется недопустимым, так как н и к а к о е р е ш е н и е с л а в я н с к о й п р о б л е м ы н е в о з м о ж н о б е з з а н я т и я о п р е д е л е н н ы х н е к о л е б л ю щ и х с я п о з и ц и й в п р о б л е м а т и к е «б а л т о - с л а в я н с к о й». Мы воздерживаемся от противопоставления позиции Ф. П. Филина какой-либо другой и отсылаем к упомянутой нашей книге «Из предыстории...» (гл. VII, стр. 93—104, 135—137).

Указывая на эти два момента, с подходом автора к которым мы согласиться не можем, мы подчеркиваем, что, по нашему мнению, при ином подходе к ним книга только выиграла бы, но это отнюдь не значит, что методическая спорность подхода Ф. П. Филина в какой-либо степени обесценивает его дальнейшее исследование. Оно остается вехою в истории нашей науки, и ни один славист, который в будущем будет заниматься теми же вопросами, не сможет пройти мимо данной книги, и каждый почерпнет из нее много поучительного.

Переходим теперь к частным замечаниям (в порядке текста книги):

1. Стр. 26—27. Не все этимологии А. И. Соболевского должны быть безоговорочно отброшены, и никак нельзя утверждать, что все они «не могут приниматься всерьез» (стр. 27). Неудачная формулировка общей гипотезы этого ученого о «балто-иранском» скрещении, якобы давшем в результате «праславянский язык», не зачеркивает вопроса о большой роли иранцев (не только скифов, но и «доскифских» этнических образований) в этногенезе славян. В северных «скифских» племенах Геродота можно видеть какие-то части «праславян», подвергнувшихся до некоторой степени «скифизации» не только в быте, но и в языке, поскольку Геродот последовательно различает «скифские» и «нескифские» (хотя бы и живущие скифским бытом) племена п о я з ы к у (невры у него — «нескифское» племя, т. е. славяне или «балты», сохранившие свой

резко отличный от иранцев язык). Поскольку культуры лесостепи днепровского правобережья послескифского периода (уже явно принадлежавшие, хотя бы частично, славянам) обнаруживают возрождение культурных традиций предскифского периода (IX—VIII вв.) — можно сделать вывод о временной поверхностной «скифизации» скифов-пахарей (славян?) и некоторых других племен лесостепи. Эта возможность глубокого иранского влияния на славян как в скифскую, так и в сарматскую эпохи (вплоть до первых веков н. э.) Ф. П. Филиным *явно недооценивается, и в связи* с этим переоценивается значение полудилетантских работ А. Л. Погодина (стр. 28—31); заслугой этого автора может быть признана критика упомянутой гипотезы А. И. Соболевского (что́ сделать было очень легко), но положительного он ни в своих ранних, ни в поздних работах ничего не дал. Где же у него «улавливается общий ход истории славян I—VI—VII вв.»? (стр. 28). Ничего нового по сравнению с П. И. Шафариком, М. С. Дриновым и византинистами конца XIX в. он не дал. Критические замечания Ф. П. Филина по частным положениям А. Л. Погодина не изменяют положения: надо было ясно сказать, что этот ученик В. И. Ламанского (историка) и последователь раннего Потебни никакой лингвистической школы не имел, излагал материал бессистемно и даже сопоставляться с выдающимся лингвистом А. И. Соболевским (пусть *ошибавшимся, но способным на гениальные* идеи) не может. Эти страницы Ф. П. Филина — наиболее досадные во всей его книге.

2. Стр. 31—34. Об устарелости взглядов Л. Нидерле на соотношение лингвистики и археологии было сказано выше. Но и в чисто лингвистическом плане его общие взгляды более чем устарели, а Ф. П. Филин об этом не говорит, хотя из-за них несостоятельна вся его славянская концепция. Современные индоевропеисты за редкими исключениями (например, В. И. Георгиев), не признавая распадения индоевропейской языковой общности как единого исторического акта и не допуская, что в III тысячелетии до н. э. (или еще ранее) могли существовать те языковые группы («ветви»), которые известны нам в историческое время, не могут оперировать теми приемами, которыми Л. Нидерле искал славян в доистории. А Ф. П. Филин, который сам ниже (стр. 99 и сл.) дает совершенно точную и соответствующую современным научным взглядам формулировку этого вопроса, пишет, что без книги Нидерле «не может обойтись ни один исследователь» (стр. 31). Либо наука идет вперед, либо она стоит на месте. Слависту бывают иногда нужны и «древности» Шафарика, но из этого не следует, что можно возрождать его концепции и теории (как это делал покойный А. Д. Удальцов). Факт, что «Manuel» Нидерле (устаревший в момент своего выхода в 1923 г.) переиздан в Чехословакии в 1953 г. и у нас в 1956 г., ничего не значит: и старые («классические») работы следует переиздавать, но в исследовании можно исходить только из современного состояния науки. Литература же по славянским древностям в СССР и славянских странах за последние 15—20 лет огромна, и в свете ее труды Нидерле стали только достоянием истории науки.

3. На стр. 58 и сл. Ф. П. Филин подробно разбирает проблему исторического значения этнонима «анты». В его соображениях много правильного, но много и спорного. Отождествление антов с еще не распавшимся восточным славянством (Шахматов) несостоятельно, но столь же необоснованно и мнение, что «славянские племена, находившиеся в среднем Поднепровье, к „антам“ отношения не имели» (стр. 62) и что «никакого „антского периода“ в истории восточных славян не было» (стр. 61). Конечно, гипотеза некоторых историков об «антском государственном образовании» да еще с центром у «полян — Руси» («княжество Кия»!) неосновательна, но «антский союз племен» — историческая документированная византийскими источниками реальность: он охватывал, разумеется, не всех будущих «восточных славян», а только юго-западную их часть, доходя до границ Волыни (где позже создался *указываемый арабскими писателями* новый центр) и Киевщины, где никакого «центра» в те времена не было. Иранская этимология (др.-инд. *ántas* «край, конец») более убедительна, чем тюркская (*ant* «клятва»), и гипотеза об «исчезновении» антов, когда они перестали быть «побратимами» (Eidgenossen) аваров, не может быть принята.

4. На стр. 77 Ф. П. Филин развивает свое понимание «лингвистической палеогеографии» и высказывает в связи с этим ряд интересных соображений. Однако некоторые его высказывания вызывают неудовлетворенность. Исследователь реконструируемых доисторических периодов в жизни языка должен прежде всего исходить из собственно лингвистических «ареальных схем», которые никакой карте не соответствуют, а затем пытаться перевести эти схемы в «языковые ландшафты», существовавшие в данную эпоху и изменявшиеся в эпоху последующую. В операции такого перевода существенную помощь оказывает археология. Палеогеоботаника, как и вообще палеогеография, играет также существенную роль, но у Ф. П. Филина, как и у К. Мошинского, эта роль все-таки преувеличивается. Использование же топонимических данных (о них в книге стр. 79—82) требует максимальной осто-

рожности, оперирования массовым материалом, а не единичными фактами, и даже при соблюдении этого условия может повести к рискованным выводам (ср. вывод о возможности непосредственного балто-иранского контакта в книге В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева «Лингвистический анализ гидронимики Верхнего Поднепровья», М., 1962, стр. 231 и сл.).

5. В заголовках §§ 4 и 5 второй части книги (стр. 110 и 123) и в тексте этих и следующих параграфов вводится термин «прародина», употребление которого не совсем ясно. Что такое «прародина» (Urheimat)? Территория завершения этногенических процессов, приведших к образованию определенной этническо-языковой единицы (в данном случае «праславян»), т. е. то, что обозначается немецким термином *Kerngebiet*? Или же территория, занимавшаяся этою этнической единицею («праславянами») в момент прекращения ее исторического существования и распадения на новые единицы? (В нашем случае следует говорить именно о «распадении», тогда как в других приходится говорить об интеграции нескольких этнически-языковых единиц в одну новую.) Эти два значения термина нельзя смешивать, и хотя Ф. П. Филин преимущественно занимается исследованием понятия во втором из указанных значений, он и для первого значения употребляет тот же термин. Это проходит через всю книгу. Кроме того, «праславяне», как и любая другая «ветвь» индоевропейцев, не могли появиться в определенный момент как Deus ex machina: их сложению предшествовала длительная «протославянская» эпоха с рядом этапов, каждому из которых соответствовала своя географическая территория со своим «языковым ландшафтом». Этого тоже нельзя не учитывать, и поэтому никакая проблема «прародины» не допускает однозначного решения.

6. На стр. 94 и в разных других местах книги Ф. П. Филин говорит о «лесных ландшафтах» средней и восточной Европы, не делая различия между раннеисторической эпохой и временем позднего неолита, энеолита и бронзы. Иными словами, он не учитывает так называемого «ксеротермического» периода, продолжавшегося примерно с 3000 до 500 г. до н. э., когда степные полосы глубоко вклинивались на север. Это облегчало движение кочевых скотоводческих орд, каким было движение «племен боевых топоров» (resp. «шнуровой керамики»), сыгравшее огромную роль в формировании многих «ветвей» индоевропейской языковой семьи, в том числе и славянской (превращение «протославянских» групп в «праславян»). Однако нужно иметь в виду, что в восточной Европе «ксеротермический» период кончился, по-видимому, несколько раньше, чем в средней, и заболачивание Полесья служило барьером для скотоводов уже тогда, когда в западной Польше и в Германии таких барьеров еще не было.

7. На стр. 132 в параграфе «Древние славяне — южные соседи балтийцев» повторяется очень распространенное мнение, что славяне, «являясь непосредственными соседями балтийцев», никогда не прерывали с ними контакта. Противоположная точка зрения, впервые высказанная Я. Розвадовским (1913 г.), а позже В. Пизани, А. Сенном, В. Кипарским, Р. Шмиттлейном и др., развивается нами в книге «Из предыстории...». Здесь нет возможности излагать ее, но допущение Ф. П. Филина ошибочно, и эта ошибочность не может не влиять на все построение схемы доисторического развития славянства.

8. Ф. П. Филин считает, что «контакт между славянами и иранцами устанавливается... с середины I тысячелетия до н. э., когда скифы начинают проникать в лесостепную и лесную полосу...» (стр. 139). Но откуда это выводится? Из легендарных сообщений Геродота о вторжении скифов из-за Дона и покорении ими киммерийцев с априорным допущением, что последние были «иранцами»? Но кто из славистов сомневается сейчас, что комаровско-тшинецкая среднебронзовая культура была «протославянскою» (на грани перехода к «праславянскому» этапу), а синхронная им «срубная» культура — иранскою, из которой прямым путем развилась скифская? А соприкосновение срубной культуры с комаровской имело место примерно на 800—1000 лет раньше. И как представляет себе Ф. П. Филин образование изоглоссы «satəm» и второго ее этапа—славяно-иранского, не захватившего ни балтов, ни индо-арийцев? Можно ли отнести его к середине первого тысячелетия до н. э.? Выходит, однако, что можно, если более ранние славяно-иранские контакты отрицаются.

Этими замечаниями по поводу первой части книги мы вынуждены ограничиться, хотя можно было бы высказать сомнения и по поводу некоторых других высказываний автора. Еще раз следует указать, что все эти замечания не умаляют общих достоинств исследования.

По поводу последней части «Образование языка восточных славян» размер рецензии вынуждает сделать тоже только несколько наиболее важных замечаний.

1. Нам кажется, что на стр. 181—188 Ф. П. Филину не удалось опровергнуть (очень различные, но ведущие к одному и тому же выводу) высказывания Л. Л. Васильева, А. И. Соболевского, Б. М. Ляпунова, Н. С. Трубецкого и Б. А. Ларина по поводу обстоятельств возникновения *gl*, *kl* из *dl*, *tl*. А вывод из всех этих разнообразных интерпретаций фак-

та один: кривичи по происхождению гетерогенны остальным восточным славянам, гетерогенны и славянам ильменским. Сам Ф. П. Филин признает (стр. 188), что трехчленное деление славянства моложе изменения исконного сочетания *dl*, *tl*. Почему же тогда «смелая гипотеза (Б. А. Ларина. — *Б. Г.*) вряд ли может быть когда-нибудь доказана»? Нельзя, конечно, говорить, что кривичи вышли из «западных славян», потому что такой группы не было, может быть, до конца I тысячелетия н. э., но что они своими корнями уходят в «пралехитскую» (*или* «северную») диалектную группу «праславян»,— такую гипотезу выдвигать можно, а лехиты и «пралехиты»: а) вступили раньше других славян в контакт с летто-литовскими племенами, из которых сложились литовцы и латыши; б) до наступления этого контакта всегда соприкасались с «протопрусскими» (прусо-ятвяжскими) племенами, занимавшими промежуточное положение между «праславянами» и летто-литовцами.

2. Параграф 6-й «Древние славянские диалектные зоны по данным лексики» (стр. 205—218) исключительно богат фактическим материалом — и обобщенным ранее известным, и новым. Но решительных выводов из него, к сожалению, не делается, и следующий параграф («Итоговые замечания о процессе распада общеславянского языка», стр. 218—223) несколько разочаровывает своею робостью. Мало признать, что «распад общеславянского единства был очень сложным процессом» (стр. 219), что «одновременно возникали изоглоссы, шедшие в разных направлениях», и диалектные зоны «накладываются» друг на друга (стр. 220), что «в VIII—IX и особенно X—XI вв. диалектологическая карта славянства серьезно изменилась» (стр. 290). Сегодня при том материале, каким уже располагает Ф. П. Филин, и при его выдающихся интерпретативных способностях нужно быть много смелее. Нужно со всею решительностью заявить, что ориентировка в исследованиях языковой доистории на трехчленное деление славянства (или, что еще хуже, на принятие в качестве первичного деления на «западное» и «южно-восточное» славянство) — это тормоз для всякого позитивного построения не только в области языка, но и в области доисторической культуры. Этнографическая картина «Повести временных лет» ни в чем не отражает положения до VII—VIII вв. Это надо разъяснять примерно так же, как Бодуэн де Куртенэ разъяснял студентам разницу между звуками и буквами. На стр. 219 у Ф. П. Филина это сказано достаточно ясно и там же подчеркнута роль интеграционных процессов в образовании позднейших группировок славянских наречий. Но через всю книгу это все-таки проходит недостаточно четко и недостаточно подчеркивается в заключительной части (стр. 223—292).

3. Следствием недооценки высказываемых самим автором положений является иногда сохранение традиционного доверия к тем случаям, когда изоглосса раннеисторической эпохи действительно совпадает с одною из частей трехчленного деления. Пример этого явления — «полногласие», считающееся одной из главных примет обособления «восточного славянства» от «праславян» или «южно-восточных» славян (см. стр. 232 и 240). На несовпадение изоглоссы **tort*>*trat* с границею между двумя другими частями трехчленного деления при этом обычно закрываются глаза, хотя это прямо указывает на очень позднийй характер всех изоглосс изменения старого **tort*. Не обращается внимания и на то, что К. Буга еще более 40 лет назад доказал, что славяне, двигавшиеся в середине I тысячелетия н. э. с юга в Полесье и Белоруссию, сохраняли **tort*, **tert* (ср. гидроним *Меречь* из *Merkys*; это важнее и яснее данных Константина Багрянородного, приводимых на стр. 248; так же важно *Karl*>**korlь* >*король*, *круль*, *краль*, о чем см. стр. 251).

Ф. П. Филин, изложив с исчерпывающей полнотою на стр. 231—292 проблему изменений **tort* в освещении разных ученых последнего полустолетия (такого монографического изложения до сих пор у нас не было), на стр. 252 и сл. дает собственную концепцию, затрагивающую и соотношение **tort* и **tьrt*. Его вывод о датировке завершения процесса «полногласия» (VIII и первая половина IX в.) можно полностью принять, но интеграционный процесс образования «восточного славянства» начался, конечно, раньше. Какую же роль в этом процессе могла играть данная изоглосса? Ведь ее можно интерпретировать двояко: а) как новообразование того периода, когда «восточное славянство» уже консолидировалось, но сохраняло старые **tort*, **tert*; б) как конвергенцию предшествующего периода, которая способствовала консолидации (хотя, конечно, не определяла ее). В последнем случае возможно выдвижение следующей гипотезы, на которой мы отнюдь не настаиваем, так как обоснование ее требует многих и многих фактических исследований. Эта гипотеза сводится к следующему. Если кривичи со своим особым погребальным обрядом («длинные курганы» западного происхождения) начали уже с VI—VII вв. внедряться с запада (из «пралехитской» области) в области с летто-литовским и западнофинским населением и позже (не ранее VIII в.) столкнулись с двигавшимися сюда же вверх по Днепру основными племенами буду-

щего «восточного славянства», — то не могло ли параллельное изменение **tort* в *torot* способствовать скорейшей ассимиляции разных частей славянства второй половины I тысячелетия, подобно тому как разное протекание этого процесса в прошлом до сих пор препятствует ассимиляции украинцев и словаков в Словакии (Ф. П. Филин указывает на это на стр. 240). Как же конкретно могла развиться эта конвергенция, и если кривичи уходят корнями в «пралехитскую» область, то какой общий предшествующий этап изменения **tort* мог объединять севернорусское (и в то же время общевосточнославянское) *torot* с польско-кашубско-поморским (но, может быть, не полабским) *trot*? Мы исходим из следующего гипотетического допущения:

1. * *tort* > * *tъrot* → *trot* (польск. и т. д.); → *torot* (сев.-русск.)
2. * *tort* > *torъt* > *torot* (южн.-русск.)

4. Исключительно содержательна и богата фактами глава «Развитие особой восточнославянской лексики» (стр. 275—290), где Ф. П. Филин продолжает исследование, начатое А. И. Соболевским и продолженное затем только в работах самого Ф. П. Филина («Лексика русского языка древнекиевской эпохи», Л., 1949). Как ни велико количество новых фактов, вводимых автором, оно в будущем будет еще больше, когда продвинется вперед работа над «Общеславянским лингвистическим атласом» и «Этимологическим словарем славянских языков» (ср. «Вопросник» атласа и «Проспект» словаря: уже они показывают, сколь многого здесь следует ждать).

Книга Ф. П. Филина дает повод и ко множеству других соображений, изложение которых заставило бы рецензию бесконечно вырасти. Это говорит только в ее пользу: давно уже в области исследования доистории восточнославянских языков не появлялось обобщающего труда, дающего такие «поводы». Многие вопросы давно перестали разрабатываться, и только Ф. П. Филин вновь напомнил о них, почти всегда дополняя результаты изучения их в прошлом новыми собственными изысканиями. Наши немногие критические замечания — это только пример того, на что́ наталкивает чтение книги, к которой еще много раз мы должны будем обращаться при любом вопросе, касающемся как образования языка восточных славян, так и вообще распадения общеславянского языка в целом.

Б. В. Горнунг

J. Filipec. **Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie.** — Praha, 1961. 384 стр. («Studie a práce lingvistické ČSAV», V)

Книга Й. Филипца «Синонимы чешского языка с точки зрения стилистики и лексикологии», уже получившая высокую и вполне заслуженную оценку как у себя на родине [1], так и за ее пределами, является первым серьезным монографическим исследованием по теории лексической синонимии.

Главной своей задачей Й. Филипец считает синхронный анализ лексических синонимов, важный для исследования лексико-семантической системы языка.

Синонимы как параллельные средства выражения одного и того же значения (одной и той же функции) автор отграничивает от смежных с ними других языковых параллелей: от антонимов, «тематических синонимов» (slov souřadných), т. е. слов, обозначающих разные видовые понятия, подчиненные одному и тому же родовому понятию [2], и иноязычных эквивалентов; от вариантов [3], дублетов (например, *měřiti — mířiti*, *brambor — brambora*) и суплетивных форм; наконец, от косвенных (аналитических) средств параллельного выражения: толкования, описания и сравнения. Лексические синонимы, под которыми понимаются лишь прямые номинативные единицы, т. е. слова и эквивалентные им устойчивые словосочетания, отграничиваются также от синонимов грамматических.

В соответствии с соссюровской антиномией языка и речи Й. Филипец делит синонимы на речевые (контекстуальные) и языковые (системные); с этим делением автор связывает различия между сти-

[1] См., например: I. Poldauf, Teorie české synonymiky, «Naše řeč», XLV, 9—10, 1962, стр. 305—312.

[2] Ш. Балли называет их «видовыми» и «родовыми» словами («Французская стилистика», М., 1961, стр. 131).

[3] В том значении этого термина, которое ему придают А. И. Смирницкий и О. С. Ахманова. Сам Й. Филипец под вариантами предлагает понимать также члены синонимического ряда, варьирующие доминанту.

листикой и лексикологией. Понятие лексической стилистики, противопоставленной лексикологии, у Й. Филипца сужается, таким образом, до понятия стилистики речи, что вряд ли целесообразно. С противопоставлением стилистики и лексикологии связано у Й. Филипца также разграничение лексических и номинативных единиц. Первые представляют собой единицы языковой системы, вторые — их употребление в конкретном тексте. Это противопоставление, выдвигаемое и некоторыми другими чешскими учеными [4], находится в противоречии с тем фактом, что любая лексическая единица выполняет номинативную (знаковую) функцию. Номинативная функция слова определяется его соотнесенностью не только с отдельным предметом (такая соотнесенность определяется обычно контекстом или ситуацией), как думают Й. Филипец, Н. Н. Амосова [5] и др., но и с любым другим предметом данного класса, а значит и с целым классом. Всякое наименование обязательно предполагает хотя бы элементарную классификацию и обобщение [6].

Й. Филипец пользуется преимущественно сопоставительным и дедуктивно-индуктивным методами, статистический метод применяется в работе как вспомогательный.

В стилистической части книги анализируются лексические синонимы чешского языка, извлеченные автором из разнообразных художественных, публицистических и специальных текстов. Синонимические ряды распределяются по частям речи, а внутри них по тематическим группам (выделяются, например, названия частей тела, глаголы движения и др.).

Различия между речевыми синонимами Й. Филипец рассматривает в двух планах: семантическом и стилистическом. В первом плане он выделяет синонимы без семантических различий (абсолютные синонимы) и синонимы с семантическими различиями. Последние подразделяются на идеографические, например *les* «лес» — *hvozd* «большой дремучий лес», интенсифицирующие, или количественные, т. е. различающиеся по степени проявления признака, например *práce* «труд» — *námaha* «напряженный труд», и частичные, т. е. тождественные не по всем компонентам значения, например: *zmatek* «смятение» — *nejistota* «неуверенность» (у Шальды). Идеографические, интенсифицирующие и частичные синонимы занимают промежуточное положение между абсолютными и «тематическими» синонимами, так как все их дифференциальные признаки можно свести, по мнению автора, к отношению рода и вида. В контексте различия между общим и частным иногда стираются, нивелируются, вследствие чего становится возможной синонимизация «видовых» и «родовых» слов, а также соподчиненных одному родовому понятию «видовых» слов.

Во втором плане автор выделяет стилистически маркированные и нейтральные синонимы. Первые различаются по сфере употребления, а также по экспрессивно-эмоциональным оттенкам. Термины могут быть стилистически маркированными лишь в неспециальных стилях, в специальных же стилях они нейтральны.

Весьма существенное значение в книге имеет противопоставление экспрессивных синонимов неэкспрессивным, т. е. чисто семантическим, понятийным. Под экспрессивностью (экспрессией) автор понимает «совокупность всех неинтеллектуальных (непонятийных) средств языкового общения» (стр. 112), являющихся составными компонентами лексических значений. Экспрессивные компоненты лексических значений действительно не входят в их понятийное содержание. Однако нельзя согласиться с тем, что они не связаны с мыслительной деятельностью. Если бы это было так, то экспрессивные средства не смогли бы выполнять образной функции, базирующейся прежде всего на представлениях — интеллектуальном компоненте сознания. Экспрессивные компоненты лексического значения — это по сути дела языковое выражение представлений. В таком узком понимании экспрессивность целесообразно отграничивать от так называемой эмоциональной окраски, тоже входящей в состав лексических значений [7].

Й. Филипец противопоставляет, таким образом, семантически или стилистически маркированные единицы их нейтральным, немаркированным синонимам. Классы номинативных единиц с одинаковым (в том числе нулевым) стилистическим признаком обозначаются термином «стилевые пласты». Стилевые пласты,

---

[4] См., например: K. Horálek, K teorii pojmenování, «Lexikografický sborník», Bratislava, 1953, стр. 15 (см. также стр. 20).

[5] Н. Н. Амосова, К вопросу о лексическом значении слова, «Вестник ЛГУ», 1957, 2, 1, стр. 157.

[6] Ср.: А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1955, стр. 34. В. И. Ленин цитирует в своих конспектах следующее высказывание Гегеля: «Название есть нечто всеобщее, принадлежит мышлению, делает многообразное простым» («Философские тетради», М., 1947, стр. 272).

[7] См.: Л. М. Васильев, К вопросу об экспрессивности и экспрессивных средствах, «Славянский филологический сборник», Уфа, 1962 [«Уч. зап. Башкирск. гос. ун-та», 9, Серия филол. наук, 3(7)].

имеющие системный характер, являются основой для образования единиц более высокого уровня — функциональных стилей, которые подчинены непосредственно языковой системе. Под функциональными стилями автор понимает «относительно замкнутые системы лексических и грамматических средств языка, отличающиеся специфическими нормами, носящими характер тенденций» (стр. 20). В соответствии с чехословацкой традицией (Ф. Травничек, Э. Паулини) он выделяет три стиля: специальный, художественный [8] и разговорный. Специальный стиль характеризуется тенденцией к употреблению нейтральных и книжных языковых средств, художественный — тенденцией к употреблению экспрессивных и других стилистически маркированных средств с самыми разнообразными признаками, и, наконец, разговорный — тенденцией к употреблению обиходно-бытовых, экспрессивных, разговорных и даже просторечно-диалектных средств. В связи с вопросом о стилях Й. Филипец затрагивает проблему языковых функций. Конкретизируя и уточняя функциональную теорию языка, разработанную Пражской лингвистической школой, он вслед за К. Горалком [9] считает необходимым различать главные и второстепенные языковые функции. К главным относятся коммуникативная и мыслительная функции, а к второстепенным — выразительная (экспрессивная), апеллятивная, эстетическая и др. Систему языковых функций в их отношении к структуре речевых актов Й. Филипец представил в виде интересной схемы (стр. 129). В виде хорошо продуманной схемы представлена также стилистическая дифференциация словарного состава (стр. 132).

Интересно рассматриваются принципы отбора языковых средств в процессе речи и факторы, его ограничивающие, взаимоотношение номинативных единиц и предложения, субституция и редукция (идентификация) синонимов, их семантическое сближение в речи и дифференциация (десинонимизация).

Анализируя синонимы как художественное средство в индивидуально-речевых стилях, автор подробно останавливается на контекстных связях синонимов с антонимами, а также на различных функциях синонимов (амплификативной, характеристической, композиционной и др.). Здесь же характеризуются различия между индивидуально-речевыми стилями. Лингвистическое изучение синонимов сближается в этом разделе с литературно-стилистическим.

В лексикологической части книги Й. Филипец, рассматривая основные лексикологические понятия, утверждает, что между формой и значением слова нет параллелизма, ибо одна форма может иметь несколько значений (полисемия), а одно значение может быть выражено несколькими формами (синонимия, или полионимия). Изучение полисемии является задачей семасиологии, а изучение синонимии — задачей ономасиологии, которые составляют две основные части семантической лексикологии. Формальная же сторона слова изучается формальной лексикологией, тесно связанной со словообразованием и с наукой о сочетаемости слов (с формальным синтаксисом). Лексическая семасиология связана также со словообразовательной и синтаксической семасиологией, а лексическая ономасиология — со словообразовательной и синтаксической ономасиологией [10].

При лексикологическом рассмотрении синонимов автор останавливается на вопросах внутренней структуры слова, отдельных компонентов лексической единицы, взаимоотношения полисемии и синонимии. Слово как номинативная единица конструируется следующими взаимосвязанными факторами: объективной реальностью, ее модифицированным посредством языка отражением в сознании (мышлении), звуковой (или графической) формой и ее отражением в сознании. Под номинативной единицей автор понимает внутренне спаянное единство формы и значения, которое связано с формами и значениями других номинативных единиц, а также с фактами внеязыковой действительности и их отражением в сознании. Сюда прибавляются еще различия между лексическими и номинативными единицами. Существенным недостатком предложенного понимания структуры слова является то, что различия в отношениях между формой и значением и между значением и предметом не выясняются до конца. Неясно также, что входит в состав значения и в каком отношении находятся составные части значения друг к другу. Разумеется, нет сомнения в том, что предмет (референт) не входит в значение слова, но этого нельзя сказать о его отражении в сознании, т. е. о понятии и его экспрессивно-эмоциональной атмосфере. Понятие (по

[8] Под художественным стилем, на наш взгляд, следует понимать лишь систему языковых (речевых) средств, характерных для авторского повествования. См.: Л. М. Васильев, Языковые стили и литературная норма, «Материалы VI межобластной конференции языковедов Поволжья, Ульяновск, 1962, стр. 15.

[9] K. Horálek, K otázce tzv. vedlejších jazykových funkcí, SaS, XXI, 1, 1960; ср. также: А. А. Реформатский, Что такое структурализм?, ВЯ, 1957, 6, стр. 33.

[10] Ср.: Ullmann, The principles of semantics, 2-nd ed., Glasgow — Oxford, 1957, стр. 36.

крайней мере частично) является ингредиентом значения слова [11]. Благодаря этому слово выполняет одновременно номинативную (знаковую) функцию и функцию отражения и познания действительности. Необходимо различать три семантических плана: план функциональной семантики (знаковая функция слова), план интеллектуально-эмоциональной семантики (значение слова) и план реляционной семантики (значимость слова)[12]. Значение слова, являющееся его абсолютным признаком, может включать три компонента: понятийное содержание (*оно не всегда тождественно соотносительному с ним понятию*), перцептивное содержание (экспрессию) и эмоциональное содержание (эмоциональную окраску) [13]. Первый из них является главным и в большинстве слов обязательным, два остальных — второстепенными и факультативными. В языке все компоненты существуют in abstracto, а в речи (тексте) они конкретизируются, модифицируются и возникают *под влиянием контекста* (*ситуативного или языкового*). Имеет место также, как правильно указывает Й. Филипец, и обратное воздействие значения данного слова на контекст.

При анализе лексических синонимов с точки зрения ономасиологии Й. Филипец останавливается на вопросе о типах синонимов и вопросе о системности в лексике. Предложенная в книге классификация синонимов (стр. 201—203) лишена *единых оснований*. Классификация синонимов должна быть иерархической и разноаспектной. Основными типами следует признать синонимы лексические и грамматические. Лексические синонимы могут подразделяться по следующим признакам: 1) по интеллектуально-эмоциональному содержанию; 2) по формальной структуре; 3) по реляционным свойствам. Получающиеся типы синонимов являются не противопоставленными, а *перекрещивающимися*. Синонимы *со смысловыми* различиями могут быть идеографическими, экспрессивными и эмоциональными (тождественные по значению синонимы можно назвать дублетами) [14]; синонимы с формальными различиями — собственно лексическими (*смелость — храбрость, práce — dílo*), лексико-словообразовательными (*столовая — столовка, borovina* «сосновый лес» — *borovisko* «сосняк»), лексико-фонетическими (*одежда — одёжа, měřiti — míříti*) и лексико-фразеологическими (*стремглав — сломя голову, utříti — strčit hlavu do rakve*); наконец, синонимы с реляционными различиями—стилистическими (с разными дифференциальными признаками по сфере употребления: стилевыми, жанровыми, территориальными, временными и др.), консоциативными (или дистрибутивными) и др. По номинативной функции синонимы всегда тождественны.

Гораздо удачнее решается Й. Филипцем вопрос о системности в словарном составе. Опираясь на последние достижения языкознания в этой области, автор критически пересматривает взгляды Й. Трира, Л. Вейсгербера, В. Порцига и др. и приходит к своеобразному пониманию лексико-семантической системы. Каждое слово, по мнению автора, представляет собой микроструктуру, связанную со словарным составом как макроструктурой. Наиболее важными межсловесными отношениями являются синонимические отношения, лежащие в основе выделения синонимических рядов — незамкнутых образований, пополняющихся по мере необходимости новыми членами. В результате перекрещивания синонимических рядов с антонимами возникают так называемые ступенчатые группы слов (skupiny stupňovité), например: *suchý vihlý — mokrý, vysoký — prostřední — nízký* и под. Отдельные ряды синонимов и соотносящихся с ними антонимов объединяются в более сложные лексико-семантические группы по логическим категориям вида и рода, т. е. в ряды подлинных и «тематических» синонимов, а также соотносительных с ними антонимов. Такие частные системы более или менее сложного характера называются полями. Между подлинными и «тематическими» синонимами языковых (семантических) полей происходит постоянное взаимодействие как в синхроническом (в процессе контекстовой реализации лексических единиц), так и диахроническом плане. Языковые поля образуют лексико-семантическую систему в целом. Закономерности этой системы, как и подчиненных ей частных систем, имеют характер статистических тенденций [15].

Труд Й. Филипца представляет собой серьезный вклад в науку о синонимах, а также в лексикологию и стилистику.

Л. М. Васильев

---

[11] См.: А. И. Смирницкий, Значение слова, ВЯ, 1955, 2, стр. 83—89.

[12] Ср.: В. А. Звегинцев, Семасиология, М., 1957, стр. 145.

[13] Ср.: K. O. Erdmann, Die Bedeutung des Wortes, Leipzig, 1925, стр. 103—153 (особенно стр. 107).

[14] См.: Л. М. Васильев, Несколько замечаний о лексико-фразеологической синонимике русского языка, сб. «Материалы и наблюдения по русскому языку», Уфа, 1961 [«Уч. зап. Башкирск. гос. ун-та», 8, Серия филол. наук, 2(6)], стр. 32—42.

[15] Такое понимание системности в лексике близко к взглядам Ф. П. Филина. См.: Ф. П. Филин, О лексико-семантических группах слов, сб. «Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов», София, 1957.

H. Brinkmann. **Die deutsche Sprache.** Gestalt und Leistung. — Pädagogischer Verlag Schwann, Düsseldorf, 1962. 654 стр. («Sprache und Gemeinschaft», I)

Последние годы знаменуются расцветом изысканий в области грамматической структуры немецкого языка. Помимо большого числа более частных статей и монографий, выходит в свет и ряд общих работ — как у нас, так и за рубежом [1].

Но и на фоне этого подъема особое значение имеет выход в свет рецензируемой книги. Ее автор, широко известный с 30-х годов своими работами в области исторической грамматики немецкого языка и средневековой литературы, с конца 40-х годов опубликовал ряд статей по вопросам грамматики современного немецкого языка, которые привлекли *всеобщее внимание глубиной и тонкостью* наблюдений, умением сочетать большую языковую конкретность с постановкой весьма общих вопросов языковой системы [2]. Х. Бринкман уже давно объявил о том, что он намерен опубликовать сводную работу по немецкой грамматике, но только в конце 1962 г. это намерение осуществилось.

Книга Бринкмана — это обширная, фундаментальная работа, наиболее полно *охватывающая строй* современного немецкого языка среди всех научных грамматик немецкого языка, появившихся за последние тридцать лет. Обилием материала и развернутостью ее превосходят только капитальные труды младограмматиков — немецкие грамматики Вильманса и Пауля, немецкий синтаксис Бехагеля, но в отличие от этих работ, исторических по всей своей направленности, грамматика Бринкмана *целиком ориентирована на современный* немецкий язык. В ней отсутствует и фонетика, играющая столь большую роль в книгах Вильманса и Пауля.

Работа Бринкмана имеет много точек соприкосновения с новыми направлениями в разработке строя немецкого языка, особенно с построениями Вейсгербера. Вместе с тем книга Бринкмана *отнюдь не противопоставлена* так называемой «традиционной грамматике». Напротив, она самым органическим образом продолжает ее. Это сказывается не только в последовательном употреблении традиционной терминологии, но и в общей тенденции к широкому, всестороннему обследованию грамматических явлений *без предвзятого* самоограничения какими-либо их аспектами. Бринкман применяет не один, а целый ряд критериев для определения грамматических явлений, устанавливает их противоречивость и переходность. Несмотря на оперирование таким термином «ориентированной на содержание» грамматики Вейсгербера, как «способ рассмотрения» (Sehweise), Бринкман фактически трактует обобщенное грамматическое *значение грамматических форм* и категорий в первую очередь как выражение реальных отношений действительности.

Отличие книги Бринкмана от новейших направлений в грамматике состоит еще в том, что он не предпосылает изложению материал длительных рассуждений о методике работы. Принципы его методики можно без большого труда извлечь из самой его трактовки *языковых явлений, но он не декларирует* и специально не обосновывает их. В противоположность многим новейшим работам, в которых весь центр тяжести лежит на выяснении того, как надо изучать грамматические явления, а конкретные результаты исследования оказываются лишь изложением в новых терминах давно известных вещей, книга Бринкмана ставит своей задачей прежде всего углубленное раскрытие строя изучаемого языка, *установление в нем* ранее незамеченных фактов и закономерностей.

То новое, что в значительных размерах устанавливается в книге Бринкмана,— это прежде всего многообразные явления сочетаемости грамматических форм и дифференциация лексического материала, охватываемого грамматическими категориями и формами. В отношении сочетаемости есть определенная *преемственность* между Бринкманом и младограмматическими синтаксистами, особенно Бехагелем, который был склонен рассматривать лексический состав грамматических категорий и форм весьма дробно и в какой-то мере в зависимости от различий в сочетаемости. Но Бехагель обычно четко не выявлял эту

[1] Назовем хотя бы важнейшие работы, выпущенные за последние годы немецкими учеными: J. Erben, Abriss der deutschen Grammatik, Berlin, 1958 (4. Aufl.— 1961); «Duden, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache», hrsg. von P. Grebe, Mannheim, 1959.

[2] Отметим среди них следующие статьи: Die sprachliche Gestalt. Versuch einer morphologischen Betrachtung der Sprache» («Muttersprache», 1, 1949); «Der deutsche Satz als sprachliche Gestalt» («Wirkendes Wort», 1, 1950—1951); «Der Umkreis des persönlichen Lebens im deutschen Dativ» («Muttersprache», 3, 1953), «Die Zusammensetzung im Deutschen» («Sprachforum», 3—4, 1957); «Die Struktur des Satzes im Deutschen» («Neuphilologische Mitteilungen», Helsinki, 1959); «Die *haben*-Perspektive im Deutschen» (сб. «Sprache, Schlüssel zur Welt, Festschrift für L. Weisgerber», 1959).

связь между сочетаемостью и основным принципом своей классификации — семантическим, а нередко фактически вообще ее игнорировал. Между тем у Бринкмана сложная система сочетаемости отдельных семантических разрядов внутри грамматических категорий и форм показана во многих случаях чрезвычайно отчетливо и развернуто. Назовем хотя бы очень тонкое и дифференцированное описание отношений между спрягаемой формой глагола и именными формами глагола (прежде всего инфинитивом) (стр. 281—306), анализ глагольных и субстантивных связей прилагательного (стр. 103—120) [3] и т. д. Хотя во многих из этих вопросов Бринкман может опереться на некоторые наблюдения, сделанные его предшественниками [4], все же исключительно велико то новое, что здесь вносит сам автор.

Семантические различия широко проводятся Бринкманом и с опорой на различия в морфологическом характере (в особенностях парадигмы и в словообразовательной системе) тех или иных категорий и форм. Так, устанавливаются различные «слои» (Schichten) прилагательных в зависимости от их участия в образовании степеней сравнения (стр. 133—134). Далее, с учетом различий в словообразовательных показателях прилагательных, а также в характере образующей основы и некоторых других факторов, Бринкман устанавливает шесть семантических разновидностей («словесных разрядов» — Wortstände) производных прилагательных (стр. 129—147).

Бринкман широко показывает и переходные, и спорные случаи между выделяемыми им разрядами, всегда стремясь все же подчеркнуть более существенные, основные виды значений, присущие большему числу прилагательных и четко противопоставляемые другим значениям тех же форм. Он различает также те формы, которые служат прежде всего для адъективации как таковой, без привнесения дополнительных значений, и которые образуются с помощью показателя *-ig*, от форм, образуемых с другими показателями, в которых обычно присутствует какой-либо дополнительный семантический оттенок. В связи с этим Бринкман отмечает и тот факт, что именно суффикс *-ig* был основным средством адъективации других частей речи на более ранних этапах развития немецкого языка.

В области чисто грамматической для трактовки языкового строя у Бринкмана показательно, например, подробное рассмотрение употребления существительного в сфере глагола. Укажу здесь лишь самое основное. Сначала (стр. 393—411) рассматривается разграничение между беспредложными падежами в их отношении к глаголу. Большое внимание уделено здесь винительному падежу в его противопоставлении именительному и дательному. В частности, широко освещается вопрос о разных видах объектного винительного с точки зрения его «обратимости», т. е. способности (или неспособности) преобразовываться в именительный при переходе глагола в пассивную конструкцию. Здесь устанавливается ряд типов необратимого винительного: винительный ориентирующий, винительный содержания, винительный субъектной сферы, причем особое внимание уделено конструкции с *haben*. Отмечается также ряд «словесных разрядов» глагола, при которых винительный обратим.

Далее подробно освещается роль глагольных приставок в качестве модификаторов субъектно-объектных отношений (стр. 411—428), вкратце характеризуются глаголы, действие которых тем или иным образом «объективизируется», т. е. те случаи, когда «действие человека приводит к чему-то иному, что существует и для других» (стр. 428—430). Затем подробно освещается дательный падеж с точки зрения его соотношения с винительным (стр. 431—432) и с предложными сочетаниями (стр. 432—434), а также разные виды ненеобходимого дательного (стр. 434—435) и роль дательного при разных разрядах глаголов. Особое внимание уделяется использованию дательного для выражения «сферы личной жизни», вообще выявления человека как личности. Бринкман намечает здесь пять основных семантических линий, реализующихся в различных словесных разрядах и в некоторых грамматических особенностях соответ-

[3] Заслуживает внимания, что эти проблемы независимо от Бринкмана в последнее время разрабатываются и в советской германистике. Система сочетаемости глагола *lassen* с инфинитивом рассматривается в работе В. П. Недялкова «О признаках служебности каузативных глаголов», сб. «Аналитические конструкции в языках различных типов» (в печати), вопрос о дифференциации прилагательных с точки зрения их субстантивных и глагольных связей был в общем виде затронут мною («Der deutsche Sprachbau», Л., 1960, стр. 136), а развернуто проанализирован в недавно законченной диссертации Г. И. Иноземцевой (см. ее статью «Основные случаи соотношения краткого прилагательного и однокорневого наречия в современном немецком языке», «Уч. зап. Горьковск. гос. пед. ин-та им. М. Горького», 47, 1963).

[4] В отношении сочетаемости именных форм глагола Бринкман неоднократно ссылается на работу Г. Бека (G. Beck, Studien über das deutsche Verbum infinitum, 1—2, København, 1955—1957),

ствующих предложений (стр. 439—454).

При всей детализованности семантико-грамматического анализа Бринкман в своей трактовке приглагольных падежей, как и во многих других местах своей книги, отмечает и некоторые общие структурные тенденции в развитии строя немецкого языка. Так, вытеснение родительного падежа из глагольной сферы связывается им с общим размежеванием группы глагола и группы существительного (стр. 393, 66 и сл., 71 и сл.).

Исходя из стремления к всестороннему рассмотрению грамматических явлений, Бринкман группирует весь материал вокруг двух основных единиц грамматического строя — слова и предложения, подразделяя всю книгу на две соответствующие части [5]. Но это ведет к тому, что такие важнейшие и обладающие специфическими чертами явления немецкой грамматической системы, как синтаксические группы (и вообще словосочетания) и порядок слов, не получают нигде суммирующей и обобщающей характеристики. Конечно, речь о них идет в книге неоднократно в связи с отдельными частями речи или с разными видами предложений. Так, о группе существительного важные замечания встречаются на стр. 4 и сл., 12 и сл., 42, 77, 98 и сл., 103 и сл., 509. На стр. 98 говорится о принципах построения этой группы. В некоторых местах, как я уже отмечал, характеризуются общие принципы построения синтаксических групп. Но все же цельная картина той роли, которую подчинительные словосочетания играют в строе немецкого предложения как посредники между предложением и словом, у читателя вряд ли получается.

Отсутствие специального раздела, посвященного синтаксическим группам, в частности группе существительного, является, может быть, одной из причин, почему в книге лишь в ограниченной мере оказалась выявленной роль монофлексии как одного из ведущих способов цементирования препозитивной части группы. Естественно, этот вопрос затрагивается у Бринкмана неоднократно — например, на стр. 7, 51 и сл., 97 и сл. В частности, Бринкман говорит о «детерминирующей» роли, которую играет артикль, местоимение и сильное прилагательное в деле выявления синтаксической функции существительного. Отвергая старую терминологию Я. Гримма, он даже специально обозначает сильное прилагательное как «детерминирующее», противопоставляя его слабому как «атрибутирующему» (стр. 97).

Но с явлениями монофлексии в сфере соотношения между существительным, с одной стороны, и артиклем, местоимением и прилагательным, с другой стороны, Бринкман никак не связывает аналогичные явления в сфере отношений между согласующимися существительными. Тенденцию к неупотреблению четкого падежного окончания у некоторых разрядов существительных при наличии четкого показателя у существительного, находящегося с ними в отношениях согласования (*Karl Müllers Buch, des Monats Mai* и т. д.), Бринкман склонен рассматривать лишь как «застывание» (Erstarrung) форм существительного (стр. 12—16), видя причину этого явления в усиливающейся роли «письменного образа» слова. Но не говоря уже о спорности самого положения о том, что, например, названия месяцев узнаются из календаря, а не из живого общения, широкое развитие неизменяемости данных разрядов слов в определенном синтаксическом окружении именно в немецком языке в его более новые периоды не может быть понято без обращения к тем сходным структурным процессам, которые происходят в это время в других разновидностях группы существительного. Ссылкой на общие психологически-коммуникативные предпосылки здесь вряд ли можно обойтись.

Из числа других наиболее спорных вопросов, затрагиваемых в книге, отметим лишь идущее от Порцига утверждение, что предложение является таким единством речи, в котором снимается время (стр. 456). Мне приходилось уже критиковать это положение на том основании, что время в своем протекании, напротив, является важнейшим фактором в построении предложения: при снятии времени было бы невозможно образование коммуникативно-психологического напряжения в предложении. Бринкман считает это мое возражение недоразумением и уточняет свою позицию, отмечая, что каждое предложение высказывается во времени и использует временную последовательность для регулировки потока слов, но что «даваемые (или развиваемые) в предложении отношения и высказываемый в предложении смысл независимы от времени» (стр. 456).

Но о каком же снятии временного момента может в таком случае вообще идти речь при трактовке предложения как живой единицы речи? И как можно согласовать эту формулировку Бринкмана, в которой отсутствие временного момента распространяется лишь на чисто смысловую и абстрактно-парадигматическую сторону предложения, с сочувственно приводимым им положением Порцига? И сама характеризующая природу предложения формула Бринкмана «последовательность во времени как одновременность» (Nacheinander als Miteinander) скорее должна была бы звучать в свете его собственного разъяснения как «последовательность во времени и одновременность».

[5] Такое же построение находим в книге Й. Эрбена (см. примеч. 1).

В книге Бринкмана есть, конечно, немало других вопросов, по которым хотелось бы поспорить с автором. Но удивительно не это: в высшей степени поразительны и поучительны многочисленные схождения между позицией Бринкмана и позицией ряда представителей советской германистики, уже раньше бросавшиеся в глаза при знакомстве со статьями Бринкмана, но особенно явственно выступающие при чтении его фундаментального труда.

Чрезвычайно велика близость концепций Бринкмана к тем концепциям, которые развивались советскими германистами — в частности автором этих строк, что в ряде мест книги отмечает и Бринкман — в таких важнейших для строя немецкого языка вопросах, как резкое размежевание между группой глагола и группой существительного, система именных форм глагола и модальности, система моделей предложения, функции порядка слов [6]. Особенно важно, что к такому сходству в концепциях Бринкман и советские германисты пришли совершенно независимо друг от друга, на путях самостоятельного развития, исходя из того уровня исследования строя немецкого языка, который был достигнут к концу 20-х — началу 30-х годов в трудах корифеев младограмматического языкознания (особенно Пауля и Бехагеля). Такое сближение результатов наших исследований в последние десятилетия, достигнутое несмотря на существенные расхождения в общих методологических позициях исследователей, не только делает более убедительными соответствующие выводы, но и свидетельствует о том, что сама логика работы над материалом на данном этапе объективно направляла внимание исследователей в определенную сторону. В частности, отсюда можно сделать и тот вывод, что важным условием дальнейшего углубления в языковой материал является не отбрасывание всего предшествующего опыта языковедческой работы (достижений так называемой традиционной грамматики), а систематическое, хотя и в высшей степени критическое продолжение ее изысканий — особенно в тех сферах исследования, к которым она еще только подвела на последних этапах своего развития.

Таковы общие выводы, которые хочется сделать после ознакомления с новой книгой Бринкмана, которая несомненно на долгое время станет одной из основных работ по строю современного немецкого языка.

В. Г. Адмони

[6] Основы некоторых из этих концепций были изложены еще в моих статьях середины 30-х годов. В развернутом виде эти концепции изложены в книгах: «Введение в синтаксис современного немецкого языка» (М., 1953) и «Der deutsche Sprachbau».

«Studia grammatica», I — Berlin, 1962; II — Berlin, 1963 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Arbeitsstelle Strukturelle Grammatik). I — 114 стр.; II — 188 стр.

Серия «Studia grammatica» представляет собой ряд публикаций работ группы молодых немецких ученых, работающих в Немецкой Академии наук над созданием структурной грамматики современного немецкого языка [1].

Первый сборник серии открывается тезисами, предложенными группой для обсуждения на совещании, состоявшемся 16—21 января 1962 г. в Берлине. В тезисах излагаются требования к лингвистической теории как строго формальному описанию предмета и вводится различие между предтеоретическим и теоретическим описанием языка. Теория языка, позволяющая не только описывать наблюдаемые факты данного языка, но и предсказывать новые, называется грамматикой этого языка. Вводится понятие уровней языка и показывается, как элементы одного уровня проецируются на элементы другого уровня.

В целом тезисы отражают новейшие идеи грамматического описания, связанные прежде всего с именем Н. Хомского, и в этом смысле представляют собой значительное явление не только в германистике, но и в общей теории языка. На том же уровне написаны и дальнейшие статьи первого сборника, развивающие отдельные аспекты предлагаемой теории. В статье В. Мотша обсуждаются проблемы словообразования. Автор показывает непоследовательность чисто классификационного подхода к словообразованию и те преимущества, которые дает предлагаемая порождающей грамматикой единая точка зрения как на слова, так и словосочетания. В частности, как показывает автор, в единой теории сочетаемости морфем могут разбираться как случаи образования или необразования мн. числа, так и сочетаемость основы

[1] Третий сборник «Studia grammatica» будет, как объявлено, содержать работу В. Мотша «Грамматика немецких адъективных комплексов» (Adjektivkomplexe).

с тем или иным словообразовательным формантом, причем разница между обоими случаями чисто количественная. Наконец, трансформационный метод позволяет четко выделять значения отдельных аффиксов и разрешить их многозначность.

Центральное место в сборнике занимает статья М. Бирвиша «О теоретическом статусе морфемы». В сущности, понятие морфемы является не столько предметом исследования, сколько поводом для сравнения разных языковедческих теорий с точки зрения их соотношения с порождающей грамматикой, а также с создаваемой на ее основе распознающей грамматикой (Identifikationsgrammatik).

Рассматривая теорию дескриптивной грамматики (в первую очередь З. Харриса как ее наиболее последовательного представителя), автор приходит к выводу, что предлагаемые этой теорией процедуры не являются эффективными в том смысле, что не всегда предписываемая З. Харрисом совокупность операций приводит в конечное число шагов к каким-то выводам (в качестве примера берется выделение границ морфов). Затем автор сравнивает идеи порождающей (соответственно распознающей) грамматики с учением Л. Ельмслева. Эта часть статьи представляет большой общетеоретический интерес, так как если сравнение идей Л. Ельмслева и идей дескриптивистов оказалось весьма плодотворным [2] для унификации круга понятий и даже языка лингвистики, то с идеями Н. Хомского, к которому Л. Ельмслев в некоторых отношениях гораздо ближе, чем к дескриптивистам, идеи копенгагенской школы, кажется, еще не сопоставлялись. М. Бирвиш показывает, что целый ряд идей Ельмслева может быть уточнен в терминах порождающей грамматики. Несколько менее удачно сопоставление порождающей грамматики с теоретико-множественной концепцией О. С. Кулагиной. С одной стороны, уместно было бы рассмотреть последнюю в связи с идеями дескриптивной лингвистики, так как обе концепции формализуют одну исходную ситуацию. С другой стороны, как мы увидим ниже, общая проблематика соотношения аналитических и синтетических грамматик не укладывается в рамки рассматриваемой концепции и поэтому включение соответствующей части вряд ли оправдано. Мы, конечно, не хотим сказать, что этот раздел неинтересен по существу. В нем есть тонкие замечания о соотношении семейств и окрестностей, интересные для всех, занимающихся теоретико-множественным моделированием языка.

Заключается сборник статьей В. Хартунга «Пассивные трансформации в немецком языке». Эта статья представляет собой очень хороший пример применения порождающих правил; так называемые пассивные трансформации — это трансформации par excellance. Как верно отмечено в статье, именно на этом примере представителям традиционной лингвистики легче всего понять идеи трансформационной грамматики.

Еще более содержательным представляется второй сборник серии, в котором опубликована работа М. Бирвиша «Грамматика немецкого глагола». Первую главу работы М. Бирвиша составляет «Введение», в котором излагаются общие принципы трансформационного подхода к немецкой грамматике, во второй рассматривается структура по непосредственным составляющим (Konstituentenstruktur), в третьей рассматриваются простые трансформации, в четвертой — «трансформации включения» (Einbettungstransformationen) и в пятой — вопрос о времени и модальности в трансформационной грамматике немецкого глагола.

Из вопросов, разбираемых во «Введении», наибольший общетеоретический интерес представляет проблема грамматической правильности (Grammatikalität), или, как говорят часто в нашей литературе, «отмеченности» предложений. Бирвиш правильно отмечает, что нельзя представлять дело так, будто бы в интуиции нам дано резкое разграничение на грамматически правильные и грамматически неправильные предложения, приводя, например, ряд фраз: а) *Diese Zeitung wird nur von wenigen gelesen*, б) *Das neue Buch ist kaum gekannt*, в) *Von uns wird angekommen*, г) *Der letzte Brief hat abgegangen* и д) *Bald Erfahrung du Neuigkeiten* (стр. 7), из которых (а) заведомо правильно построено, (д) заведомо неправильно построено; однако неясно, проходит ли граница между правильными и неправильными предложениями между (а) и (б) или между (б) и (в) или же между (в) и (г). Нельзя не согласиться с автором, что понятие правильного предложения есть необходимая идеализация, но остается известная трудность в том, чтобы два разных исследователя выбрали эту идеализацию однозначно [3]. Интересно также соображение Бирвиша о том, что вопрос о грамматической правильности должен решаться на основе рассмотрения более широкого кон-

[2] K. Togeby, Structure immanente de la langue française, Copenhague, 1951; ср. также известную статью Э. Хаугена «Направления в современном языкознании» (сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960).

[3] Соображения рецензента по этому вопросу были изложены на симпозиуме по машинному переводу в Ереване (см. отчет об этом симпозиуме в ВЯ, 1964, 2).

текста (стр. 8). К вопросу о грамматической правильности Бирвиш неоднократно возвращается на протяжении всей работы. Так, на стр. 68—69, объясняя механизм «нанизывания» модальных глаголов путем многократного применения одного и того же правила развертывания, Бирвиш приводит ряд фраз: а) *Er darf kommen*, б) *Er muß kommen dürfen*, в) *Er soll kommen dürfen müssen*, г) *Er wird kommen dürfen müssen sollen*, отмечая постепенное снижение грамматической правильности. На стр. 148, обсуждая трансформацию включения инфинитивного оборота, например во фразе *Ich fühle mich veranlaßt, zufrieden zu sein*, автор отмечает, что многократное применение соответствующего правила также понижает степень грамматической правильности. Автор не предлагает какого-нибудь разумного выхода из этого положения (в самом деле, вряд ли оправдано произвольное ограничение повторного применения правил некоторым числом). И это понятно, поскольку он вслед за Хомским совершенно исключает вероятностный аспект. Между тем если бы каждому правилу была приписана некоторая вероятность (например, правилу замены простого глагола на глагол + модальный глагол приписана вероятность 0,5, что означает, что такое правило применялось бы только в половине случаев), то мы бы могли естественно объяснить понижение грамматичности: предложение (а) было бы произведено с вероятностью 0,5, предложение (б) с вероятностью 0,25, предложение (в) с вероятностью 0,125 и предложение (г) с вероятностью 0,0625. Ясно, что соответствующие вероятности следовало бы установить, исходя из анализа текстов, но само отношение между ними хорошо объясняет разную степень грамматической правильности [4]. Это не противоречит идее автора о том, что не всякое повторное применение правил приводит к понижению степени грамматической правильности (ср. приводимый им на стр. 174—175 пример: *ich habe einen Freund, der ein Buch geschrieben hat, das der Verlag herausbringt, bei dem ein Lektor arbeitet, der...*; ср. также маршаковский перевод стихотворения «Дом, который построил Джек»).

Во второй главе очень интересны соображения автора о том, что в качестве исходного порядка слов в немецком предложении следует избрать порядок слов в придаточном предложении. Ниже мы еще остановимся на импликациях такой гипотезы, здесь же отметим, что, несмотря на ее необычность, она уже выдвигалась, правда, в связи с другими соображениями [5]. Обратный порядок составляющих автор выбирает и для именной группы (показатель падежа после именной лексемы), что интересно как для типологии (например, сравнения германских и славянских языков), так и для сопоставления синхронии и диахронии.

Интересно также предложение автора, состоящее в том, что уже на уровне непосредственных составляющих должен быть выделен специальный составляющий, указывающий на деятеля; это облегчает (например, по сравнению с методикой, изложенной в упомянутой статье В. Хартунга в первом сборнике) последующую формулировку пассивных трансформаций. Заслуживает специального упоминания очень тонкая трактовка различных функций слова *es*, следующая из правил на стр. 54. Для наших германистов представит также большой интерес обсуждение вопроса о синтаксической роли отделяемых приставок [6] (стр. 58—59). Вполне естественной представляется трактовка флексии вспомогательного глагола и инфинитива (и даже префикса причастия) как единого составляющего (стр. 67); автору следовало бы упомянуть, что в дескриптивной лингвистике подобные образования рассматриваются как «прерывистые морфемы» и поэтому в подобной трактовке нет ничего «на первый взгляд парадоксального» (die zunächst paradoxe Analyse). При обсуждении модальных глаголов, о которых мы уже говорили в связи с проблемой грамматической правильности, очень интересны наблюдения над особым местом глагола *wollen*, проявляющемся в том, что он допускает другие трансформации, чем другие модальные глаголы (стр. 75).

В заключение этого раздела приводится список лексических классов, выделенных в соответствии с теми трансформациями, в которых участвуют соответствующие слова. Интересно при этом, что чисто грамматические соображения приводят к выделению классов, объединяющихся общими семантическими чертами (у нас подобными проблемами плодотворно занимался Ю. Д. Апресян,

[4] Следует отметить, что идея введения вероятностей в порождающий процесс для объяснения степени грамматической правильности была предложена (правда, для другой модели) М. И. Белецким на упомянутом симпозиуме в Ереване.

[5] J. Fourquet, Strukturelle Syntax und inhaltsbezogene Grammatik, «Sprache, Schlüssel zur Welt», Düsseldorf, 1959, стр. 134—145.

[6] См., например, дискуссию о возможности считать их «полупрификсами» между М. Д. Степановой и К. А. Левковской, разбираемую в моей статье «По поводу рецензии К. А. Левковской на книгу М. Д. Степановой» (ВЯ, 1955, 5).

который, исходя из трансформаций, выделяет лексические классы [7]).

В третьей главе обсуждаются перестановочные трансформации (Permutationen), особенно важные для современного немецкого языка в связи с особенностями порядка слов в этом языке, а также пассивные трансформации и трансформации, связанные с прономинализацией. Общий лингвистический интерес представляет обсуждение вопроса о том, следует ли вводить особый уровень членов предложения (стр. 97—99).

В четвертой главе рассматриваются трансформации включения, и в первую очередь производящие различные инфинитивные обороты. Особый интерес представляет обсуждение промежуточной роли оборотов, традиционно именуемых «аккузатив плюс инфинитив».

Наконец, пятая глава посвящена вопросу о времени и наклонении. Автор исходит из общей предпосылки, что морфемы времени и наклонения представляют собой не глагольные морфемы, а «морфемы предложения» (Satzmorpheme), т. е. выделяет их в качестве особых составляющих (стр. 39). Он последовательно разделяет показатели, вызванные контекстом, с одной стороны, и показатели, диктуемые внелингвистической ситуацией, с другой. Особый интерес представляет трактовка предложений косвенной речи (стр. 155—157), причем автор последовательно проводит точку зрения, согласно которой бессоюзные предложения с конъюнктивом возникают из трансформации соответствующих придаточных с союзом *daß*, и делает тонкие замечания о семантике соответствующих предложений.

Здесь перечислены далеко не все вопросы, поднятые в рецензируемых сборниках, но и упомянутых вопросов достаточно, чтобы показать значительность работы, проделанной учеными ГДР по составлению структурной грамматики современного немецкого языка. Оба сборника оставляют впечатление очень цельной продуманной концепции. Единство терминологии и даже символики, столь редкое в наше время, когда многообразие терминов и символов грозит новым вавилонским столпотворением, также несомненное достоинство рецензируемых сборников. Последнее обстоятельство следует особо подчеркнуть, так как намеренно неформальное обсуждение в данной рецензии может создать впечатление, что и в работах сборника обсуждение ведется на том же уровне. На самом деле работы отличаются высоким уровнем формализации, и только отсутствие общепринятой символики помешало рецензенту вести обсуждение на том же языке.

Чувствуется глубокая убежденность авторов, что грамматики порождения позволят разрешить все спорные вопросы грамматической теории, в первую очередь отбросив ряд мнимых вопросов, связанных с неточностью их формулировки. И действительно, громадный методологический сдвиг, связанный с точной формулировкой идеи порождения Хомского, дает основания для оптимизма.

Все же хотелось бы обратить внимание на некоторые аспекты современного развития в области лингвистики, связанные с идеями моделирования. Прежде всего вряд ли можно надеяться, что существенные результаты, достигнутые при абстрактном моделировании языка, доказывают непосредственную применимость аппарата моделей к описанию конкретных языков. Здесь необходимо, правда, одно уточнение. В тезисах, приведенных в первом сборнике, под «моделью» понимается то общее, что есть у грамматики (в определенном выше смысле) отдельных языков (I, стр. 16). В. Мотш же вообще понимает под моделью систематизацию отдельных фактов данного языка (I, стр. 31). Думается, что ни модели Хомского, ни модель Кулагиной, ни другие модели, рассматриваемые, например, рецензентом в книге «Модели языка», такими моделями не являются. Модель целесообразнее всего понимать как определенную идеализацию, определенную гипотезу, а если это так, модель может между прочим предполагать нечто отсутствующее в любом из исследуемых языков. Дело здесь, разумеется, не в терминологии, а в подходе. Моделируя язык и далее интерпретируя модель на фактах некоторого, например немецкого, языка, мы можем получить существенные результаты, касающиеся языка вообще, некоторой группы языков и даже данного конкретного языка. Но это вовсе не значит, что всю грамматику (в старом смысле) данного языка целесообразно строить в терминах модели. Можно пояснить эту мысль следующим, может быть, странным приемом. Идеально было бы построить машину, которая бы могла, будучи включенной в человеческий коллектив, постепенно обучаться языку с тем, чтобы мы могли бы объективно установить, каков механизм порождения текста у этой обучившейся машины. Можно предполагать, что исследования моделей могли бы помочь в конструировании машины, однако исследования моделей вряд ли помогли бы нам заранее установить, какие конкретные преобразования будут работать в механизме порождения фраз, и в частности, будет ли слово *herrschaftlich* каждый раз производиться по формуле, предписываемой для его производства Мотшем (I, стр. 39), или же машина сочтет более удобным для

[7] См.: Ю. Д. Апресян, О понятиях и методах структурной лингвистики, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962.

себя хранить его целиком в словаре; то же относится и к правилам пассивных трансформаций, производимых Хартунгом (например, будет ли произведена фраза *ihm wird von mir geholfen* из *ich helfe ihm* — I, стр. 96). Нужно сказать, что критерий простоты, так же как и другие внутренние критерии, не дает однозначного ответа на вопрос, какие конкретные правила выгоднее. И, по-видимому, это не нужно. Заслуга Хомского не в описании отдельных трансформаций, а в общих далеко идущих выводах, сделанных из идеи порождающей грамматики. Отдельные конкретные трансформации не всегда убедительны. Если еще можно согласиться с примером, приведенным выше из статьи Хартунга, то очень большой разрыв с естественной интуицией возникает при производстве предложения *heute wird geschlafen* из *ihr schlaft* через неправильную форму **von euch wird heute geschlafen* (II, стр. 48) или же предложения *ich kenne sein Haus* из *Ich kenne das Haus. Er hat ein Haus* через *Ich kenne das Haus, das er hat*[8] (II, стр. 173). То же относится к предложениям типа *Gegeben sei ein Kreis* «Пусть будет дана окружность», которое Бирвиш возводит к предложению *Wir nehmen an, gegeben sei ein Kreis* (II, стр. 158), сопоставляя его, таким образом, с предложениями косвенной речи и рассматривая его как эллиптическое.

Здесь важно еще и следующее. Как показал Ж. Телегди [9], трансформационная грамматика вводит в синхроническое рассмотрение элемент диахронии, прослеживая историю возникновения некоторых конструкций. Моделируя поведение одного отдельно взятого индивидуума, мы должны отказаться от всяких диахронических соображений. Поэтому не все, что может быть результатом трансформации, обязательно является им в процессе порождения данной конкретной фразы данной совокупностью индивидуумов. Поскольку внутри порождающей системы критерии выгодности не всегда очевидны, большое значение приобретают процедуры нахождения порождающих правил. Авторы, по-видимому, придерживаются другой точки зрения, так как в тезисах говорится: «1.5. Процедуры, приводящие к созданию теории, не входят в саму теорию. Лишь результаты процедур исследования могут быть объектом формальной теории, но никак не сами процедуры» (I, стр. 11). Думаю, что стремление к операционности лингвистических определений требует нахождения в теории места для процедур. В частности, операцию субституции в готовых фразах, к которой прибегает, например, Мотш при введении классов (I, стр. 41), полезно исследовать в пределах самой теории. В ряде советских работ (в особенности в работах Цейтина и Фитиалова) это достигается созданием единой теории аналитических и синтаксических моделей, причем в синтетической модели (модели порождения) существенно используются понятия, полученные в аналитической модели.

Здесь важен и другой аспект того же самого вопроса о соотношении синхронных и диахронных моментов в порождающих правилах. В целом ряде исследований новейшего времени [10] было показано, что наиболее разумно выбранная последовательность порождающих правил соответствует преобразованиям, имевшим место в диахронии. Есть все основания считать, что эта гипотеза верна. Если же исходить из этой гипотезы, то надо считать, что порядок следования правил в любой разумно составленной порождающей модели дает нам возможность судить и об истории становления соответствующего языка. Рассмотрим с этой точки зрения порядок порождения в модели Бирвиша, где, как мы говорили, в качестве исходной принимается структура придаточного предложения. Это означало бы, что немецкий литературный язык нельзя возводить к той же основе, что и диалектную немецкую речь периода становления литературного языка, для которой исходным, по-видимому, следует принять обычный порядок слов. Вообще говоря, нельзя заранее отбрасывать и такую возможность, поскольку немецкий литературный язык типологически весьма сильно отличается от народной речи. Но вряд ли Бирвиш задумывался над такими импликациями своей гипотезы (заметим, что другая гипотеза

[8] Ср. в русском языке: *Я знаю дом, Он имеет дом → Я знаю дом, который он имеет → Я знаю его дом.* Можно говорить, что эти предложения имеют одинаковый смысл, но это еще недостаточная причина, чтобы считать, что фраза *Я знаю его дом* должна порождаться именно таким способом. Наоборот, можно было бы считать, что *Я знаю дом* как более абстрактное образование порождено из *Я знаю его дом.*

[9] Zs. Telegdi, Die Entzweiung der Sprachwissenschaft, AL, XII, 1—2, Budapest, 1960.

[10] А. А. Зализняк, О возможной связи между операционными понятиями синхронного описания и диахронией, «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем», М., 1962; M. Халле, Морфонология русского спряжения («American contributions to the V international Congress of Slavists»), Sofia, 1963; M. Halle, On the role of simplicity in linguistic descriptions, сб. «Structure of language and its mathematical aspects», Providence, 1961.

Бирвиша, по которой в модели порождения имени падежный показатель следует за лексемой, более оправдана с точки зрения диахронии).

Эти соображения показывают, насколько осторожно следует относиться к формулировке порождающих правил, если мы хотим, чтобы они имели глубокую объяснительную силу и действительно помогали проникнуть в механизм функционирования языка, используя все ценное, накопленное лингвистической традицией.

Сделанные замечания относятся не столько к данному сборнику, сколько к общим судьбам трансформационной грамматики и к возможным более общим и содержательным подходам к ней. В дальнейшей разработке моделей порождения заинтересованы как те, кто верит, что трансформационная грамматика разрешит все вопросы, так и те, для кого она лишь один хотя и достаточно важный круг лингвистических проблем.

И. И. Ревзин

Э. В. Севортян. **Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. Опыт сравнительного исследования.** — Изд-во восточной литературы, М., 1962. 644 стр.

Современное развитие советского языкознания выдвинуло задачу теоретической разработки актуальных проблем в области тюркологии — как известно, до настоящего времени наша наука не располагала фундаментальными исследованиями, посвященными решению общетеоретических вопросов на материале тюркских языков. Работы в области изучения и грамматического описания памятников древнетюркской письменности, а также средневековые памятники отдельных тюркских языков, явившиеся важной вехой в развитии тюркологии, носят большей частью характер материалов и не претендуют на теоретические, общетюркологические обобщения, равно как и научные труды, посвященные исследованию грамматического строя отдельных тюркских языков. Тем не менее ряд важнейших вопросов, общих для всех тюркских языков, ждет своего решения на основе глубокого сравнительно-исторического анализа. Одной из насущных задач в советской тюркологии является тщательное изучение проблемы словообразования.

В системе словообразования глаголообразование выделяется не только своим значительным удельным весом: главное заключается в том, что исследование этой проблемы позволяет ставить и решать целый ряд узловых, большей частью мало разработанных и спорных вопросов грамматики тюркских языков. Рецензируемая монография Э. В. Севортяна как раз ставит своей задачей теоретическую разработку комплексной проблемы глаголообразования. Определив основную цель книги в предисловии (стр. 3—8), автор во вводной части (стр. 9—34) подробно излагает принятую им точку зрения по вопросам словообразования. Отличие словообразования от словоизменения Э. В. Севортян справедливо усматривает в том, что при словоизменении обобщенные типы различных отношений между словами выражаются безотносительно к их конкретным значениям (стр. 13). Отсюда вытекает универсальность словоизменительных форм, в то время как словообразующие аффиксы не универсальны даже в пределах одной части речи. Словоизменительные формы за редким исключением не входят в семантическое строение слова, словообразовательная же категория «не только органически входит в семантическую структуру слова, но составляет ведущую часть этой структуры, так как именно значение словопроизводной формы позволяет объединять в отдельные ряды различные по своему материальному значению слова» (стр. 16). Для тюркских языков автор устанавливает следующие типы словообразования: а) аффиксацию, б) лексикализацию грамматических форм, в) десемантизацию, г) фонологическую альтернацию в корневых морфемах.

Предложенная Э. В. Севортяном схема классификации глаголообразующих аффиксов устраняет путаницу по этому вопросу, существовавшую в тюркологии; к тому же эта схема учитывает историчность рассматриваемых категорий. Следует особо отметить уточнение и разграничение автором понятий продуктивности — непродуктивности и производительности словообразующих аффиксов в тюркских языках; деление в монографии форм отыменных глаголов на продуктивные (глава I) и непродуктивные (глава II) является вполне обоснованным.

Первая глава посвящена продуктивным аффиксам отыменных глаголов (стр. 35—202); образованные посредством этих аффиксов глаголы группируются по значениям их основ и прослеживается историческое развитие каждой из этих форм, для чего привлекается автором материал не только азербайджанского, но и других тюркских языков. Убедительно аргументирует Э. В. Севортян необходимость выделения *-лан* и *-лаш*

в качестве самостоятельных глаголообразующих аффиксов (некоторые тюркологи продолжают еще трактовать их как сочетания отдельных аффиксов: *-ла-* + *-н-*, *-ла-* + *-ш-*). Стержневой для всего исследования является идея относительно источников значений производного глагола и структуры этого значения: Э. В. Севортян полагает, что «многозначность производного глагола имеет своим источником не только многозначность именной основы, но и многозначность функциональных отношений между значениями именной основы и глагола, кроме того, многозначность глаголообразующего аффикса, т. е. полисемантизм производного глагола есть результат взаимодействия трех факторов, а не одного» (стр. 88); это положение, *на наш взгляд, можно отнести* к словообразовательному процессу в целом.

Применяемый автором прием семасиологического анализа и наблюдения его над метафоризацией значений позволяют более уверенно обрисовать контуры семантического развития производных глаголов. Именно этим приемом можно пользоваться для историко-семасиологических исследований в области тюркского словаря.

Весьма богато оснащена фактами вторая глава книги, где дается описание и проводится группировка непродуктивных форм отыменных глаголов в предложенной автором исторической последовательности (стр. 203—345); сюда же приложено описание отглагольных форм глаголов (стр. 345—358). Приходя к выводу о том, что «почти все аффиксальные формы глаголообразования в азербайджанском языке, за редкими исключениями, *в сущности* повторяют друг друга в семантическом отношении, в результате чего наблюдается ряд лексических совпадений глагольных форм разного происхождения» (стр. 340), автор отмечает, что это особенно типично для аффикса *-ла-* (и его производных), который оказался наиболее гибким и семантически емким среди всех глаголообразующих показателей *тюркских языков* (*там же*). Э. В. Севортян заключает на основе произведенного анализа: «Система глаголообразующих форм азербайджанского языка, как и соответствующих форм любого тюркского языка, представляет прежде всего систему типов значений, присущих языку в определенную эпоху его существования, поскольку эта система обеспечивает снабжение словаря глаголами определенных типов значений» (стр. 546).

Древнейшему состоянию глагольных основ посвящена третья глава (стр. 359—447), где рассматриваются такие важные с точки зрения исторического изучения тюркского глагола вопросы, как грамматический синкретизм глагола-имени — первичных, вторичных, омоморфных глагольно-именных основ (при этом подчеркиваются весьма существенные различия между грамматическим синкретизмом в тюркских языках и конверсией в романо-германских), источники синкретизма корней и основ, причинная связь значений, явления внутренней флексии и вторичная сложность так называемых распространенных основ. Изучив в сравнительном и историческом плане материалы как азербайджанского, так и других тюркских языков, автор впервые в тюркологии приходит к выводу о том, что «глагольно-именной синкретизм исторически охватывал не только корни, но и аффиксы» (стр. 361). Вслед за П. М. Мелиоранским автор исходит из того, что «многие древнейшие корни, равно как и древнепроизводные основы, *синкретичны в отношении* глагола и имени» (стр. 425). Явления внутренней флексии в тюркских языках автор рассматривает как словообразовательный прием, реализующийся главным образом за счет чередования корневых гласных и согласных, при этом особо подчеркивается ее значение для выяснения ряда вопросов исторического развития фонетики тюркских языков.

Категории залога и переходности — непереходности глаголов в тюркских языках всегда были предметом дискуссий среди тюркологов; заслугой Э. В. Севортяна следует считать четкое разграничение категорий залога и переходности—непереходности и выявление их отличительных и сходных черт, чему посвящена в значительной своей части четвертая глава (стр. 448—545). Здесь эти категории рассматриваются в их тесной взаимосвязи и взаимовлиянии, с учетом их отношения к процессу словообразования и словоизменения. По мнению Э. В. Севортяна, «переходность и непереходность составляют лексико-синтаксические свойства непроизводных, производных и залоговых форм глагола. Залоги же составляют морфологические свойства глаголов...» (стр. 454). Вывод автора о том, что «переходность—непереходность и залог как формально, *так и семантически принадлежат* разным аспектам глагола и лежат в разных плоскостях» и что «они могут взаимно пересекаться, но они не совпадают» (стр. 454), приобретает общетюркологическое значение.

Подытожив существующие в тюркологии определения категорий залога и переходности — непереходности и проанализировав лексико-грамматическую функцию этих категорий, автор заключает, что залог выражает отношение действия к грамматическому субъекту, а переходность-непереходность — к грамматическому объекту (стр. 448—456). Здесь же приводится критическая сводка высказываний о субъекте и объекте в специальных тюркологических работах, в результате чего стало

возможным устранить терминологический разнобой, равно как и то «переплетение грамматических и „логических" критериев в учении о залоге», которое в этих работах «прежде всего начинается с распространения категорий предложения на категории суждения, с отождествления первого со вторым» (стр. 450). Исходя из своего определения содержания категории залога, Э. В. Севортян справедливо выступает против включения в категорию залога любых глагольных выражений, смысл которых сближается со значением возвратного или взаимно-совместного залога, ибо в этом случае грамматический анализ залога подменяется смысловым анализом выражения, в результате чего возникают грамматические фикции, наподобие того, что залоги могут выражаться лексическими и синтаксическими средствами (стр. 455).

Подробно разбирая каждую залоговую форму в отдельности на богатом фактическом материале, автор дает научную характеристику природы как самой категории залога, так и каждой ее формы, выясняет процесс становления и исторического развития залогов и переходности—непереходности, сочетая при освещении этих проблем приемы синхронного и диахронического изучения языковых фактов. При этом автор наглядно демонстрирует историческую нейтральность тюркских глаголов к категории переходности—непереходности, отмечая, что в ходе дальнейшего развития тюркских языков нарастала тенденция к строгому разграничению переходных глаголов от непереходных, реализовавшемуся посредством лексико-семантических и морфологических средств; «...морфологическая дифференциация глаголов на переходные и непереходные, — указывает Э. В. Севортян, — достигалась при помощи определенных глагольных показателей, впоследствии ставших залоговыми» (стр. 471).

Как известно, в тюркологии существуют противоречивые мнения о характере залоговых аффиксов: одни тюркологи относят их к словообразовательным, другие же — к словоизменительным. Для того чтобы решить этот вопрос со всей объективностью, Э. В. Севортян выясняет: «1) наталкивается ли залогообразование на ограничения и какие именно; 2) в чем залогообразование соприкасается с глаголообразованием» (стр. 456). В результате анализа автор приходит к выводу: «Формы залога складываются в тюркских языках вначале в значительной мере как словопроизводные. Лишь в дальнейшем залог постепенно освобождается от этой функции и развивается преимущественно как категория словоизменительная» (стр. 478). В то же время он подчеркивает, что в разных тюркских языках представлены разные этапы развития залоговой категории: не во всех языках и не во всех залогах она превратилась в грамматическую категорию (стр. 478), в частности, в азербайджанском языке Э. В. Севортян считает грамматически развитыми лишь понудительный и страдательный залоги (стр. 550).

В кратком «Заключении» (стр. 546—550) сжато суммируются наиболее важные теоретические выводы автора. Монография снабжена обширным «Алфавитным указателем слов и форм, встречающихся в тексте» (стр. 554—641), использование которого позволит лексикографу, равно как и лексикологу, существенно активизировать работу с этой насыщенной лексическим материалом книгой.

Разумеется, мы ввели бы в заблуждение читателя, если бы представили рецензируемую монографию как свободную от недостатков. Остановимся ниже на некоторых из них.

Отмечая, что исследование проведено на основе азербайджанского языка, автор, однако, не указывает, охвачены ли здесь также диалекты этого языка. Уточнение же этого вопроса имеет существенное значение. Так, например, некоторые из глаголов, которые автор не находит в азербайджанском и, иллюстрируя их, прибегает к другим тюркским языкам, на самом деле встречаются в диалектах азербайджанского языка. Спорадическое использование диалектных материалов (см., например, глаголы *сәмри-*, *качатда-*, *мавутда-* и некот. др.) не способствует наиболее полному отражению фактов азербайджанского языка в монографии.

Поскольку в книге нет библиографического указателя (имеется лишь «Список сокращений» — стр. 551—553), то неизвестен перечень привлеченных к изучению азербайджанских словарей. Использованные же автором словари иногда вводят его в заблуждение. Так, упоминаются как относящиеся к азербайджанскому языку глаголы, которых нет в этом языке: *арпала-* (стр. 14, 46), *алөвла-* (14, 41), *јарымла-* (14), *брошурала-* (44), *чиблә-* (49), *јастыгла-* (59), *көвлә-* (67), *аjыбла-* (95), *арлан-* (104), *зөөглән-* (104), *нифрәтлән-* (104), *мәғрурлан-*(105), *абырлан-* (105), *пахыллан-* (111), *бәjрамлаш-* (167), *дырнаглан-* (487), *салыш-* (357) и т. д.

Автор, в основном, прав, когда говорит о тождественности значений в формах *-ла-*, *-лаш-* и *-лан-*, но некоторые из приведенных автором примеров трудно считать семантически параллельными, таковы *сәфиһләшмәк* «становиться глупым» и *сәфиһләмәк* «болтать глупости» (стр. 157), *сарсаглamaг* «болтать глупости» и *сарсаглашмаг* «делаться глупым» (стр. 158).

Другим недостатком книги следует

считать отсутствие примеров из художественной литературы на употребление хотя бы тех глаголов, функционирование которых в азербайджанском языке вызывает сомнение [1] (это касается, наряду с указанными выше, глаголов *зөвгләнмәк* — стр. 116, *пахылланмаг* — стр. 116, *чолагланмаг* — стр. 117 и др.).

Говоря о глаголах типа *гамчыламаг*, *шилләләмәк*, автор утверждает, что большинство этих глаголов можно было бы заменить аналитическими образованиями *гамчы вурмаг*, *шилла вурмаг*; единственное отличие между аналитической и синтетической формами автор видит в том, что при аналитическом способе «смысловое строение их значений, скрытое за формой единого слова, выступило бы яснее» (стр. 65). Это утверждение вызывает возражение: в азербайджанском формы типа *гамчыла-* в отличие от аналитических форм типа *гамчы вурмаг* выражают не однократное, а многократное действие. Стало быть, в данном случае *-ла-* придает глаголу значение учащательности, о чем говорится на стр. 91 книги, но где не рассматриваются глаголы указанного нами типа. Точно так же и в глаголах *сүпүрҝәлә-*, *чалхала-* учащательное значение выражается, по нашему мнению, аффиксом *-ла-*, ибо *сүпүрҝәлә-* «подметать» образовано от *сүпүрҝә* «веник», а *чалхала-* «взбалтывать» от *чалха-* «взболтнуть» (ср. учащательное значение в глаголах *гармала-*, *дүртмәлә-* и т. п.), а не при помощи аффиксов *-кәлә-*, *-хала-*, как считает автор (стр. 349—350).

Утверждение, что аффикс *-да-*, образующий глагол от вторичных подражательных основ, является результатом диссимиляции сонорных звукосочетаний *-рл-*, *-лл-* (стр. 192), может быть распространено только на глаголы с неподражательными основами (*алда-*, *сыхта-* и т. п.); глаголы с подражательной основой образуются посредством аффикса *-ылда-*, который следует рассматривать как единый формант (ср. их именную форму с аффиксом *-ылты*: *зарылда-* → *зарылты*).

Несмотря на указанные выше отдельные недочеты, нельзя не признать, что капитальный труд Э. В. Севортяна по самой методике исследования, широте привлекаемого материала и теоретическому осмыслению проблемы является значительным вкладом не только в азербайджанское языкознание, но и в советскую тюркологическую науку.

М. Ш. Рагимов, В. И. Асланов

[1] См. об этом также в рецензии С. А. Джафарова, помещенной в «Изв. АН АзССР. Серия общественных наук» (4 1963).

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИНТАКСИСА НА V МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ

В ряде докладов V международного съезда славистов рассматривалась основная проблема современного синтаксиса — вопрос идентификации классов синтаксических объектов с помощью преобразований. В некоторых из этих докладов трансформационный метод был использован в качестве эталона для синтаксической типологии.

Сторонники трансформационного анализа считают, что трансформационный метод заменяет семантические обобщения традиционной грамматики чисто формальным описанием структуры языка. Следует отметить, что в большинстве традиционных исследований обычно используются, хотя и непоследовательно, различные преобразования синтаксических конструкций, а представители трансформационного анализа официально провозгласили трансформационные операции главным орудием исследования языковой действительности. Однако этим не удалось избежать интуитивности в науке о языке; «устранение семантики» не дает возможности создать способ подлинно формального описания языка, хотя несомненно последовательный учет трансформационных возможностей способствует более системному изучению языковой действительности и выявлению некоторых структурных связей, не замеченных традиционной грамматикой.

Главным недостатком трансформационного метода является, на наш взгляд, смешение формально-фонетической и семантико-синтаксической сторон языка. Трансформации дают в итоге группировки фактов, но их интерпретация невозможна без привлечения семантики, которую представители трансформационного метода отказываются изучать. Несомненно, сами по себе формы не могут находиться в отношениях зависимости, они обладают свойством следования друг за другом и находятся в отношениях различия или тождества. Поэтому все утверждения о возможности изучения структурных зависимостей между элементами языка вне семантики не могут быть доказаны. Представители трансформационного анализа вынуждены, таким образом, подсознательно учитывать семантико-синтаксическую сторону языка, думая, будто они имеют дело с «чистыми» формами. Кроме того, связывающей основой между исходной конструкцией и ее преобразованием (трансформами) является тоже семантика (понятие семантического инварианта).

Все это свидетельствует о необходимости поисков объективных методов изучения семантико-синтаксической стороны языка. О возможности такого изучения говорят достижения символической логики, которая, к сожалению, охватывает лишь небольшой отрезок семантического пространства и рассматривает его с точки зрения истинности или ложности высказываний.

Важной задачей для лингвистики является также исследование отношений между формальными единицами и взаимоотношений, существующих между формально-фонетической и семантико-синтаксической сторонами языка.

Другие трудности, на которые наталкивается метод трансформационного анализа, уже отмечены в научной литературе; в последнее время были предприняты попытки их преодоления [1]. В этой связи лишь укажем на необходимость подразделения множества различных трансформаций на однородные группы с точки зрения их идентификационных свойств, так как заключения, сделанные на основании неоднородных трансформаций, неуклонно приводят к недоразумениям. Весьма часто такое подразделение проводится интуитивно.

Попытку классифицировать трансформации предпринял Д. С. Уорт (США)[2].

[1] В поисках путей для преодоления ряда трудностей трансформационной модели была предложена аппликативная порождающая модель (см.: С. К. Шаумян, П. А. Соболева, Аппликативная порождающая модель и исчисление трансформаций в русском языке, М., 1963).

[2] D. S. Worth, The role of transformations in the definition of syntagmas in Russian and other Slavic languages

В его докладе на основе анализа интересного фактического материала высказан ряд мыслей, относящихся не только к структуре языка, но и к синтаксической типологии.

Между синтаксическими единицами, полученными с помощью трансформаций, существуют парадигматические отношения. Синтаксические парадигмы, представляющие собой сочетание лексических и грамматических морфем, должны отличаться по крайней мере одной грамматической морфемой. Сравнение морфологических и синтаксических моделей приводит в итоге к установлению изоморфизма между морфологическими и синтаксическими парадигмами и, таким образом, позволяет шире понять структурные свойства последних.

Докладчик различает простые линейные, простые нелинейные и сложные синтаксические парадигмы. Простая линейная парадигма возникает в результате изменения одного и того же предложения по грамматическим категориям лица, времени и т. д., например, *Я его видел, Ты его видел* и т. д. Если обозначим все предложение символом U, формы слов этого предложения буквами F^1, $F^2 \ldots F^n$, а грамматические категории этих форм с помощью g^1, $g^2 \ldots g^n$, то получим модель простой линейной парадигмы:

$$U = \ldots F(g) \ldots$$
$$\ldots F'(g') \ldots$$

Простой нелинейной называется такая парадигма одного и того же исходного предложения, в которой, кроме изменений по данной категории, некоторые предложения — члены парадигмы изменяются одновременно по другой категории, например, *Он учитель, Он был учителем, Он будет учителем*. В приведенном примере употребление прошедшего и будущего времени сопряжено с твор. (не им.) падежом. Докладчик обращает внимание на интересные различия между языками в этом отношении. Этот тип простой нелинейной парадигмы имеет следующую модель:

$$U = \ldots F^1(g^1) \ldots F^2(g^2) \ldots$$
$$\ldots F^{1'}(g^{1'}) \ldots F^{2'}(g^{2'}) \ldots$$

В отличие от простых парадигм, которые объединяют различные варианты одного и того же предложения U, сложные парадигмы являются результатом трансформации, объединяющей группу предложений. Примером широко распространенного вида трансформации с двумя основами может служить объединение предложений *Я считаю* и *Он учитель* в предложение *Я считаю его учителем*. Здесь парадигма *Он учитель* ~ *его учителем* возникает под влиянием *Я считаю*. Эта особенность отражена в модели сложной парадигмы

$$U_1 = \ldots F^1(g^1) \ldots, \text{ и т. д.}$$
$$U_2 = \ldots F^2(g^2) \ldots, \text{ и т. д.},$$

которая иначе может быть названа гиперпарадигмой, так как ее части образуют свои парадигмы.

Структура синтаксических парадигм изоморфна структуре парадигм морфологического уровня. Этот параллелизм дает основание разбить понятие о синтагме на три вида синтагматических единиц: аллотагмы (по аналогии с алломорфами), тагмы (по аналогии с аллословами, или словоформами) и гипертагмы (по аналогии с гиперсловами, т. е. группой производных слов, связанных синхронически, например, *белый, белеть, белизна* и т. д.).

Интересной и новой проблеме синтаксической типологии славянских языков посвящен доклад Р. Ружички (ГДР)[3]. Анализ ведется с помощью трансформационного метода на материале русского, чешского (иногда польского) литературных языков. Важно различать два вида отношений между языками: абсолютное различие и количественное различие, которые Р. Ружичка называет также «возможностями и/или». Докладчиком приведен подробный сопоставительный анализ конструкций с причастиями, отглагольными существительными и предложениями типа «*býti* + + infinitiv», целью которого является установление двух названных возможностей, могущих выступать не только отдельно, но и совместно, в смешанном виде. Это бывает в том случае, когда разные конструкции, выражающие одинаковые синтаксические отношения, различаются еще и частотностью употребления.

Причастные структуры рассматриваются как трансформы от глагольных ядерных предложений. Докладчик приходит к выводу, что русские причастные конструкции (номинальный тип предложения) часто соответствуют глагольным предложениям в чешском языке. Эти различия весьма важны для типологии всех славянских языков. Русский и чешский языки полярно противостоят друг другу в этом отношении. Образование значительных различий связано с влиянием латинского и немецкого на чешский, с одной стороны, и старославянского (греческой традиции) и отчасти французского на русский, с другой. Однако объяснение

(«American contributions to the V international congress of slavists»), The Hague, 1963.

[3] R. Růžička, Zur sytaktischen Typologie moderner slavischer Literatursprachen, ZfS, VIII, 6, 1963.

рассматриваемых синтаксических различий влиянием других языков нельзя считать доказанным. Лишь тщательные исторические и сравнительно-исторические исследования могут в итоге решить этот вопрос.

Югославский лингвист М. Ивич тоже применяет трансформационный метод при рассмотрении типов простого предложения в сербскохорватском языке [4]. Простое предложение (R) подразделяется на четыре типа. В качестве критерия берется взаимное отношение между подлежащим (S), исполнителем действия (A) и сказуемым (P). Так, к R_1 относятся предложения, в которых S выражает A, а P является вариантом связи $S + P$ (*Шевам* → *Ја певам*, *Свиће* → *Дан свиће* и др.). К R_2 относятся предложения, в которых S никогда не выражает A, хотя всегда может выступать при P (*Човек се кажњава због недела* → *Неко кажњава човека због недела*). К R_3 относятся предложения, в которых S всегда отсутствует, а P может быть выражено только формой 3-го лица ед. числа + *se*. Исполнителем действия является не конкретное лицо, а любой человек, люди вообще, так как нет трансформации *Прича се* →* *Он се прича* и т. п.

Такой подход вносит поправку в сербскохорватскую традиционную грамматику, объединяющую конструкции *Прича се*, *Иде се узбрдо* и др. с конструкциями типа *Смркава се* в один тип безличных предложений. Однако необходимо заметить, что разделение односоставных предложений на личные (определенно-личные, неопределенно-личные и др.) и безличные требует последовательного разделения двусоставных предложений на личные (определенно-личные, неопределенно-личные и др.) и безличные. Предложение *Ја певам песму* является двусоставным определенно-личным предложением в отличие от *Дан свиће*, которое является безличным. Среди односоставных и двусоставных безличных предложений можно тоже выделить группы определенно-безличных, неопределенно-безличных и, возможно, других предложений. Постоянное смешивание традиционной грамматикой семантико-синтаксического признака личности-безличности с формальным признаком односоставности является причиной основных недоразумений, связанных с классификацией простого предложения.

К последней группе (R_4) М. Ивич относит конструкции, в которых A никогда не выражено посредством S и всегда выступает в дат. падеже. Наличие S необязательно, но возможно. P всегда принимает форму 3-го лица ед. числа: *Спава му се*→**Спава се* (неадекватный трансформ). Эти предложения характеризуются обычной модальностью. В остальной части доклада М. Ивич в конструкциях R_1 выделяется ряд функций морфемы *се*, которые в основном совпадают с констатациями традиционной грамматики.

Уже отмечалось, что в трансформационных исследованиях на основании семантических преобразований делаются заключения о формах, которым неправомерно приписываются различные свойства семантико-синтаксического плана.

В отличие от этого в интересном докладе Т. П. Ломтева (СССР) трансформации используются для анализа семантико-синтаксического плана [5]. Синтаксический объект понимается как многосторонняя величина, находящаяся в отношениях противопоставления по множеству оснований с другими объектами. В основе операции противопоставления, с помощью которой устанавливается система лингвистических объектов, лежит логический критерий отделимости элементов: xRy, vRz, xRv, yRz [6], который может быть изображен графически в виде квадратной матрицы:

a_1	a_2
a_3	a_4

Операция противопоставления дает четкое разграничение двух сторон объекта (признакового тождества и признакового различия), которое является необходимым условием для построения элементарного квадрата отделимости членов.

Идентификацией семантического объекта является его отделимость по принципу квадратной матрицы. Так, страдательность можно идентифицировать лишь тогда, когда она входит в четверку противопоставлений по двум одиночным основаниям: страдательности — действительности по горизонтали и определенности — неопределенности лица-денотата по вертикали: a_1 (*Плотники строят дом*), a_2 (*Дом строится плотниками*), a_3 (*Дом строят*), a_4 (*Дом строится*). Другие объекты допускают полную идентификацию лишь в системе противо-

[4] М. Ивић, Један проблем словенске синтагматике осветљен трансформационим методом (граматичка улога морфеме *се* у српскохрватском језику), ЈФ, XXV, 1961—1962.

[5] Т. П. Ломтев, О методах идентификации синтаксических объектов и исчислении их значимостей, М., 1963.

[6] Этот общелогический критерий, введенный в лингвистику младограмматиками и казанской лингвистической школой и являющийся условием правильности анализа, в синтаксических исследованиях, к сожалению, «осознанно» почти не учитывается.

поставлений по множеству одиночных оснований, которая строится по предложенному алгоритму путем вписывания одного квадрата в другой. Докладчик приходит к весьма важному выводу, что полная и правильная идентификация синтаксических объектов возможна лишь в системе их противопоставления по множеству оснований.

Вторая часть доклада Т. П. Ломтева посвящена матричному исчислению значимости синтаксических объектов. В основе системы значимостей лежит тоже операция противопоставления (поляризация значимостей), но, в отличие от системы объектов, значимости могут противопоставляться не только по одиночным, но и по сложным основаниям. А это означает, что при исчислении значимостей анализу подвергается лишь одна сторона объектов — сторона признакового различия, в отличие от системы объектов, учитывающей также сторону признакового тождества. Поскольку р а з л и ч н ы е признаки членов противопоставляются только попарно, количество полярных значимостей относится к количеству членов как квадрат числа к числу (если учитывать нулевые значимости). Однако следует заметить, что такое количественное соответствие не является специфической чертой лингвистических объектов. Оно характерно для любой системы объектов, каждый из которых представляет собой определенный набор дифференциальных признаков. Лингвистический материал дает лишь интересное подтверждение отмеченного количественного соответствия, лежащего в основе матричного исчисления.

Идентификация классов синтаксических объектов является также основной проблемой доклада Ф. Д а н е ш а (Чехословакия) [7]. Докладчик предполагает, что синтаксическая система в своей основе изоморфна фонологической, и, следовательно, при составлении правил выделения классов синтаксических объектов можно воспользоваться достижениями фонологии. В связи с этим любой тип предложения [8] обладает функциональной особенностью иметь силу высказывания (быть минимальной коммуникацией), независимо от контекста или конституации речи. По этому принципу осуществляется отбор высказываний (предложений) из множества слов и словосочетаний.

[7] F. D a n e š, Syntaktický model a syntaktický vzorec, «Československé přednášky pro V mezinárodní sjezd slavistů v Sofii», Praha, 1963.

[8] Докладчик отличает понятие синтаксического типа (syntaktický vzorec) от термина «синтаксическая модель» (syntaktický model), используемого некоторыми лингвистами в логико-математическом смысле.

Критерием выделения типов предложений из множества высказываний является синтаксическая релевантность (по аналогии с фонологической релевантностью). Все показатели, не обладающие свойством синтаксической релевантности, включаются в отдельный список правил, который состоит: а) из правил развертывания, например, $S = S \rightarrow A$: *opravdová hudba* и др; б) из правил редукции ($S_1 \rightarrow V_f = V_f$: *otec se vrátil=vrátil se*), в) из правил сложения ($S = S^1 + S^2 + S^3$: *otec, matka a děti* и др.) и г) из правил субституции, например, $S = PRO$ или же $S/PRO/$ *otec-on* и т. п. В результате отбора таким образом всех нерелевантных показателей остаток будет содержать все синтаксические типы данного языка. Перечень основных типов глагольных предложений приводится в докладе.

Классификация глагольных типов предложений Ф. Данеша в основном совпадает с констатациями традиционной грамматики. Но использование результатов фонологии и введение символики, обычно способствующей более строгому мышлению [9], дало возможность докладчику подойти к новым интересным сторонам объектов, например к проблеме отбора нерелевантных показателей, к проблеме потенциального места в структуре предложения.

Нужно отметить, что основной критерий выделения типов предложений — синтаксическая релевантность, в отличие от принципа фонологической релевантности, не обладает достаточной точностью, и поэтому трудно, а порой и невозможно им пользоваться. Различаемые с помощью звуковых оболочек значения слов (*дом — том* и др.) обладают непосредственной предметной соотнесенностью. Констатация различия между разными предметами (в этом, собственно, и заключается фонологическая релевантность) обладает необходимой точностью, так как можно это различие проверить эмпирически. Понятие же синтаксической релевантности не обладает такими свойствами. Для того чтобы признак «быть предложением» (предикативность) получил предметную отнесенность, а тем самым и необходимую точность, следует ввести понятие функции $f(x)$, связывающее в одном предикате (f) предметные переменные (x) или ($x + x_1$) и т. д.

Важное место в синтаксисе занимает проблема изучения словосочетаний. В традиционной грамматике принимаются разные классификационные признаки по отношению к отдельным группам сло-

[9] Однако следует иметь в виду, что простое перемещение лингвистических фактов в символы ничего не дает для более глубокого понимания этих фактов.

восочетаний. В отличие от этого правильная идентификация объектов предполагает наличие определенной модели, которая совместно с правилами идентификации составляет мета-язык системы. Предварительный опыт построения такой модели предложен в работе Ф. Папа (Венгрия)[10]. Автором учтено несколько признаков, которые обозначены индексами: 1) неподчиненность (A) и подчиненность (a — подчиненное слово, представленное той же частью речи, что и главное, b — подчиненное слово, представленное отличной от главного слова частью речи) слова в словосочетании; 2) связь флексии между членами словосочетания (x) и между словосочетанием и остальной частью предложения (y); 3) зависимость константы (т. е. одной и той же грамматической формы внутри данного словосочетания) от главного члена (K_A) и зависимость константы от подчиненного члена, совпадающего по части речи с главным (K_a); 4) значимость порядка слов (—) и отсутствие значимости порядка слов (+). Части речи считаются установленными и обозначаются обычными символами: C — существительное, I — глагол и т. д. Ф. Пап устанавливает девять моделей для основных типов словосочетаний (кроме словосочетаний с количественным числительным в качестве главного члена), сгруппированных по частям речи, например, $by \pm A_x$ (*большой дом* и др.), A_x — A_{k_A} (*книга мальчика* и др.). Однако непонятно, почему автор, приняв вначале общие параметры для всех словосочетаний, потом делает уступку и вводит принцип группировки по частям речи, противоречащий логике принятой модели. В связи с этим в докладе пришлось объяснять повторения моделей, которых в классификации не должно быть.

Отдельно ставится вопрос о словосочетаниях с количественными существительными. Докладчик приходит к выводу, что вопрос о главенстве — подчиненности является неразрешимым для этого *вида словосочетаний*, так как пропуск любого члена словосочетания в предложении превращает это предложение в неотмеченное (например, *Мать купила два метра ткани*: *мать купила метра ткани* и *мать купила два ткани*).

Интересной и пока не разработанной проблеме отрицания посвящен доклад И. Грицкат (Югославия)[11], в котором рассматривается глагольное отрицание на современном и отчасти историческом материале сербскохорватского и некоторых других языков. Отрицание рассматривается как отношение между семантическими элементами. Докладчик проводит различие между отрицанием личного глагола, когда отрицается все предложение со всеми его членами, и неглагольным отрицанием, когда отрицается следующий за отрицательной частицей член предложения. Под влиянием *контекста* или *конситуации* речи это различие часто не ощущается.

Важно указание И. Грицкат на разницу между глагольным и неглагольным отрицанием, но понимание сущности отрицания нуждается в уточнении. Отрицание, как правильно отмечает И. Грицкат, будучи по своей семантике многозначным, представляет собой обратную операцию по сравнению с утверждением. Но подобно тому, как нельзя утверждать отдельные члены предложения, так и нельзя их отрицать. Утверждается или отрицается лишь функция этих членов, которая заключается в сказуемом. Предложение *Он не пишет письмо* в семантико-синтаксическом плане можно разбить по меньшей мере на два отрицательных предложения: *Не он пишет* и *Не письмо пишет*. Предложение *Не он пишет письмо* семантически равно по меньшей мере сумме двух предложений, из которых одно отрицательное, другое утвердительное: *Он не пишет письмо* и *Кто-то пишет письмо*. Таким образом, между так называемым глагольным и неглагольным отрицанием существует разница, но отрицается всегда целое предложение.

Интересны наблюдения И. Грицкат о различных способах отрицания в разных славянских языках. Особенностью сербскохорватского языка является преобладание глагольного отрицания, что в свою очередь связано с тенденцией ставить отрицательную частицу в начале предложения. Характерными для современных сербскохорватского и русского языков являются следующие способы отрицания: «*не* + глагол» и «*не* + отрицаемый член + противопоставленный член» (*Не један, већ више случаева било је*). Но, в отличие от сербскохорватского, в русском языке наличествует еще один тип: «*не* + отрицаемый член + глагол + противопоставленный член». Чешский язык в этом отношении присоединяется к сербскохорватскому, в то время как способы отрицания в польском языке сходны с русским. Слабой стороной доклада является его историческая часть. Выводы относительно праславянского и даже праиндоевропейского, сделанные на основании небольшого фактического материала из нескольких языков, не представляются убедительными.

[10] Ф. Пап, К построению одной структурной модели системы словосочетаний современного русского языка, «Studia slavica», IX, 1—4, 1963.

[11] И. Грицкат, О неким проблемима негаци *је* у српскохрватском језику (с освртом на стање у руском језику и у неким другим словенским језицима), ЈФ, XXV, 1961—1962.

Доклад К. Пóпова (Болгария) [12] посвящен сопоставительному изучению составного сказуемого в современных болгарском и русском языках. Докладчик отмечает, что прежде всего развитие аналитизма заметно увеличило степень различия болгарского составного сказуемого по сравнению с русским.

*

Несколько докладов было прочитано на тему исторического и сравнительно-исторического синтаксиса славянских языков. Важным условием успешного развития сравнительно-исторического синтаксиса является подробное изучение синтаксиса отдельных славянских языков с учетом большого фактического материала и выявлением прежде всего тех направлений, которые имеют существенное значение для развития системы в целом. Этой последней проблеме посвящен интересный доклад З. Клеменсевича (Польша) [13]. По мнению докладчика, теоретически можно предположить, что развитие синтаксиса осуществляется в двух планах: функциональном и формальном. Однако фактически изменения проходят лишь в формальном плане. Так, в истории польского языка заметно расширилось употребление предложных форм за счет беспредложных, выражающих дополнение (*gniewać się komu → gniewác się na kogo*). Этот процесс коснулся и обстоятельств, но в последнем случае более характерным была замена одних предложных форм другими (*poginą od głodu → poginą z głodu*). В древний период в сочетаниях количественных числительных с существительными управляющим членом было числительное. Но изменения шли в направлении увеличения синтаксической и семантической роли существительного за счет числительного, пока существительное в ряде случаев не стало управляющим членом (например, *w pięciu domach*). В истории составного сказуемого со связкой от *być* твор. падеж вытеснил им. падеж, включая и примыкающие к существительному определения (*Piotr jest mój przyjaciel → Piotr jest moim przyjacielem*). Обороты с несклоняемым кратким действительным причастием на *-ę*, *-ąc*, *-szy*, которые широко употреблялись в древний период, уступили место склоняемым формам действительного причастия в позициях при второстепенных членах предложения (*Uczynił się obraz p a n n y, trzymając na łonie dzieciątko w koronie → Uczynił się obraz p a n n y, trzymającej na łonie dzieciątko w koronie*). Начиная с XVI в. наступило также синтаксическое разграничение прямой и косвенной речи. В истории сложных высказываний наблюдается тенденция количественного ограничения союзов без уменьшения коммуникативной способности сложного высказывания.

В докладе А. Галлиса (Норвегия) [14] рассматривается беспредложный дательный направления при глаголах движения в славянских языках в связи с аналогичными явлениями древних индоевропейских языков. По мнению докладчика, в праславянском дательный направления заменил более древний винительный вследствие широкого совпадения последнего с именительным. Иначе следует рассматривать беспредложный дательный направления при глаголах движения от названий лиц, который восходит к соответствующему дательному в праиндоевропейском. Этот тип дательного, редко встречающийся в древних славянских языках, в более позднее время получает развитие в сербскохорватском языке (*Nećes mu otići, vodim te kapitanu*).

Интересно, что во всех остальных докладах, посвященных сравнительно-исторической проблематике, рассматривался один и тот же тип сложноподчиненных предложений. В докладе Л. Бедпарчука (Польша) [15] делается попытка реконструировать гипотактические союзы, в настоящее время не употребительные, но распространенные в древний период развития славянских языков. Раннее исчезновение и сравнительные соответствия позволяют предполагать наличие этих союзов в праславянском. После рассмотрения грамматических показателей различных гипотактических функций с помощью приемов, обычно применяемых для восстановления морфологических объектов, докладчик устанавливает три хронологические группы гипотактических и паратактических союзов (последние приведены лишь для сравнения, их рассмотрение дается в ином исследовании [16]).

В древнейшую группу, кроме унаследованных союзов от праиндоевропейского языка *a* (*et*, *sed*), *ni* (*neque*, *quam*), *a(t)če*, **koj*, входят и праславянские инновации *ali*, *ale*, **akoj*, *neže(li)* и др. К средней по древности группе относятся *li* (в значении «ли, если, или»), *ljubo*, *lě*, *no* (*nъ*, *nu*), *pakъ* (*paky*), *jedinako*

[12] К. Пóпов, За някои особености на българското съставно сказуемо, съпоставено с руското, сб. «Славянска филология», III, София, 1963.

[13] Z. Klemensiewicz, Główne tendencje rozwojowe składni polskiej.

[14] А. Галлис, Дательный падеж направления в славянских языках, «Scando-slavica», IX, 1963.

[15] L. Bednarczuk, Z zagadnień składni prasłowiańskiej, «Z polskich studiów slawistycznych», ser. II, Warszawa, 1963.

[16] См. «Studia linguistica in honorem Thaddei Lehr-Spławiński» (в печати).

и др. Рассматривая союзы периода диалектной дробности праславянского языка, докладчик обращает внимание на синтаглоссы, аналогичные известным фонетическим изоглоссам: севернословенскую, западно-украинско-белорусскую, восточно-болгаро-македонскую. Менее заметны связи южной группы с чешским и украинским [17].

Полученные Л. Беднарчуком результаты говорят о том, что уже в средний период праславянского языка многие отношения в сложноподчиненном предложении выражались союзами и союзными словами. Л. Беднарчук считает, что в период диалектной дробности все основные типы синтаксических функций выполнялись союзами, а также могли выражаться местоимениями и наречными словами. Асиндетон играл незначительную роль. От этого мнения резко отличается точка зрения Я. Бауэра, который к праславянскому языку относит лишь один союз *jako*. По его мнению, в праславянский период существенную роль играл грамматически невыраженный тип сложноподчиненного предложения, в котором отношение подчинения выражалось его смысловой стороной. Отдельные части сложного предложения соединялись асиндетически [18].

В отличие от чисто ретроспективного характера доклада Л. Беднарчука, целью которого было установление фактов праязыка, в докладе О. С. Мельничука (СССР) главное внимание уделено развитию сложного предложения, переходам одних союзов к другим, начиная с древнейших времен доисторического периода и кончая памятниками славянской письменности [19]. Докладчик считает сложноподчиненные предложения поздним образованием праиндоевропейского периода. Сравнительно позднее возникновение способствует более глубокому изучению этих предложений по сравнению с другими конструкциями, так как в памятниках письменности зафиксированы следы, отражающие процесс их становления.

По мнению докладчика, наиболее древними были относительные слова и подчинительные союзы, образованные от корня' — (ларингальный) указательных местоимений: *amo*, *eli*, *akъ* и др. В период распада праславянской общности возникли также союзы с корнями *b-*, *d-*, *l-*, *ž-* и др. (*bo*, *da*, *li*, *že* и др.). Однако первые союзы с корнем ' — были вытеснены относительными словами других этимологических групп, в частности словами с местоименным корнем *j-* (*jiže*, *jakъ*, *jakovъ* и др.). Процесс вытеснения свидетельствует о том, что самыми древними были союзы с корнем на ларингальный. В разряд союзных слов переходили также определенно-указательные (но не вопросительные) местоимения и наречия с корнем *k-* (*č-*) (к ним восходит др.-русск. *къто*, *чьто*), которые со временем вытеснили часть союзов с корнем *j-*. Состав подчинительных союзов пополнялся также за счет других ресурсов языка.

Докладчик считает, что сложноподчиненные предложения зарождались в процессе взаимодействия различных древних синтаксических форм. Их нельзя вывести из сложносочиненных конструкций. Типы придаточных предложений, соответствующие различным простым предложениям, были уже с самого начала предопределены структурой простого предложения. И поэтому в исторический период они не подверглись никаким существенным изменениям.

В интересном докладе Я. Станислава (Чехословакия [20]) на основе данных памятников письменности и достижений сравнительной морфологии устанавливается древность современной словацко-сербскохорватской синтаглоссы. Это словацкие сложноподчиненные предложения с союзом *ked'* (диалект. *kod'*, *kod*), например *Nebude vidiet' ked'*, *príde*, и соответствующие сербскохорватские предложения с союзом *kad*, например, *Ne bude vidjeti, kad pride*.

Большое значение для сравнительно-исторических исследований имеют исторические синтаглоссы, сравнение которых приводит к выявлению направлений в развитии синтаксиса, т. е. к установлению отмирающих и развивающихся явлений, а также конвергентных и дивергентных процессов, происходящих между языками. На основании памятников письменности Я. Станислав устанавливает ряд исторических синтаглосс, отражающих судьбу сложноподчиненного предложения. Докладчик приходит к выводу, что сочетание метода лингвистической географии с сравнительно-историческим методом помогает проникнуть в доисторическую эпоху и способствует установлению хронологии синтаксических явлений.

В докладе Я. Бауэра (Чехословакия [21]) подводятся итоги различным исследованиям, посвященным теоретическим проблемам сравнительно-исторического синтаксиса, а также высказываются по

[17] Ряд изоглосс, не отмеченных Л. Беднарчуком, рассматривает в своем докладе Я. Станислав (см. ниже).

[18] См.: J. Bauer, Úkoly a metody rekonstrukce praslovanské syntaxe, «Československé přednášky...», стр. 80.

[19] О. С. Мельничук, Основні лінії розвитку складнопідрядних речень у слов'янських мовах («V Міжнародний з'їзд славістів»), Київ, 1963.

[20] J. Stanislav, Poznámky' zo slovenskej a slovanskej historickej syntaxe, «Československé přednášky...».

[21] См.: J. Bauer, указ. соч., стр. 76.

этому поводу разные замечания и предложения. При реконструкции следует учесть отмеченную Г. С. Кнабе[22] возможность комбинированного использования двух приемов, один из которых (сравнение не изолированных фактов, а определенных синтаксических тенденций) применял А. А. Потебня, другой (выведение синтаксических значений из анализа фонетических, морфологических и этимологических данных) — Б. Дельбрюк.

Существенную роль в синтаксической реконструкции может сыграть последовательный учет структурных взаимоотношений между элементами системы. Важно также указание чехословацкого лингвиста на необходимость вовлечения в орбиту исследований всех славянских языков и их диалектов, а также на умелое использование данных других индоевропейских языков. Следует осторожно относиться к текстам старославянского языка и тем памятникам письменности других славянских языков, которые подверглись неславянскому влиянию (греческому, латинскому и др.). Такой подход поможет отличить исконные явления от заимствований. Так, выражение действия неопределенного лица невозвратной формой 3-го лица ед. числа считалось раньше заимствованием. Докладчик отмечает, что в современных моравских говорах сохранился этот тип предложений: *Tudy přijde do města* вместо литерат. *Tudy se přijde do města*. Это указывает на их исконный характер.

К замечанию Я. Бауэра можно добавить, что древнерусские и древнепольские памятники письменности светского характера («Русская Правда», договорные грамоты и др.) отражают употребление в живом языке невозвратной формы 3-го лица ед. числа в значении действия неопределенного лица. Эти предложения сохранились, по-видимому, во всех славянских языках в виде устойчивых выражений. Поэтому мнение о том, что они заимствованы, нельзя считать обоснованным.

Для сравнительно-синтаксических исследований весьма важное значение имеет изучение взаимоотношений между семантико-синтаксической и формально-фонетической сторонами языка. Известно, что между этими сторонами существует условная связь. Но важно указать на границы этой условности. Отношения между отношениями единиц семантико-синтаксического плана, с одной стороны, и отношениями между формальными единицами, с другой, часто обусловлены. Например, обязательному противопоставлению в предложении субъекта прямому объекту должно соответствовать какое-то противопоставление в формально-фонетической стороне: историческое совпадение им. и вин. падежей некоторых основ привело в славянском к появлению так называемого родительного-винительного[23].

В языке могут быть и свободные отношения между указанными отношениями обеих сторон; причем в каждом языке количество потенциальных свободных отношений и количество возможных «переходов» от одних единиц формально-фонетической стороны к другим может быть изучено. Установление в языке всех видов обусловленных и свободных отношений будет существенным образом способствовать устранению при реконструкции ряда сомнений.

Обусловленные и свободные отношения в языке могут быть выявлены с помощью типологических (установление лингвистических универсалий) и исторических исследований.

В сравнительно-исторических и типологических исследованиях особое место занимает проблема совершенствования приемов реконструкции и предугадываемости явлений. Речь идет об испытании способов реконструкции на материале, который может быть проверен с помощью памятников письменности. Наиболее удобны в этом отношении восточнославянские языки, так как их праязык представлен памятниками письменности различных жанров. Можно также проводить опыт с включением всех славянских языков. Тогда на основании сравнительных данных придется реконструировать, а затем проверять отдельные явления в том или другом языке. Такие опыты могут в итоге внести не только существенные коррективы в методику реконструкции звеньев доисторического развития, но могут также привести к установлению новых приемов реконструкции.

К сожалению, мы не имели возможности учесть в статье все материалы съезда, затрагивающие синтаксическую проблематику. Но из рассмотренных докладов видно, что на V международном съезде славистов подверглись обсуждению важные проблемы синтаксиса.

С. И. Сятковский

[22] См.: Г. С. Кнабе, О применении сравнительно-исторического метода в синтаксисе, ВЯ, 1956, I.

[23] Правда, формальной стороне часто на помощь приходит сама семантика (ее лексический уровень): в русск. *Человек забил гвоздь* не требуется формального различия между им. и вин. падежами, так как не возникает двусмысленности.

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 15 по 19 октября 1963 г. в Черновицком госуниверситете была проведена I Межвузовская конференция, посвященная вопросам стилистики украинского языка в его взаимосвязях с другими славянскими языками Советского Союза. В работе конференции приняли участие лингвисты и литературоведы УССР, Российской Федерации и Молдавской ССР.

Работа конференции проходила по двум секциям: секции общих вопросов стилистики и секции индивидуальных стилей и языка художественной литературы. На пленарных и секционных заседаниях было прослушано и обсуждено свыше 50 докладов и сообщений. Активное участие в работе конференции принимали также преподаватели и аспиранты всех лингвистических кафедр Черновицкого университета, студенты и учителя города.

На первом пленарном заседании были прослушаны: сообщение акад. Укр. АН И. К. Белодеда «Об итогах V международного съезда славистов в Софии» и доклады проф. А. И. Ефимова «Задачи сравнительной стилистики восточнославянских языков», проф. И. Г. Чередниченко «Современные проблемы стилистики украинского языка» и канд. филол. наук М. А. Жовтобрюха «Обзор исследований по вопросам стилистики украинского языка». Взаимовлияние языков, и в первую очередь восточнославянских, в советское время обусловливает необходимость создания сравнительной стилистики русского, украинского и белорусского языков. В числе первоочередных теоретических задач в области советского языкознания должно быть изучение стилей как разновидностей литературного и общенародного языков, а также жанровых и индивидуальных особенностей произведений художественной, научно-публицистической и деловой литературы. Конференция обратила внимание на необходимость аналитического изучения конкретных грамматических и семантико-стилистических средств художественного языка.

На секции общих вопросов стилистики были прослушаны доклады А. В. Степанова (Москва) «Научный стиль как категория стилистики литературного языка», В. Н. Туркина (Днепропетровск) «К вопросу о специфике языка и стиля древнерусских юридических памятников XI — XV веков», З. Т. Франко (Киев) «Стилевая дифференциация устно-разговорной речи». Частным вопросам стилистического использования лексических и грамматических средств языка были посвящены 8 докладов. Вопросы стилистического анализа межъязыковых связей нашли свое отражение в 4 докладах, а также в 2 сообщениях по русской и украинской топонимике. Стилистическим особенностям устно-бытовой и диалектной речи были посвящены 3 доклада. На секции индивидуальных стилей и языка художественной литературы было прочитано 24 доклада.

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги конференции и намечены конкретные задачи в области дальнейшего развития науки о стилистических возможностях русского и украинского языков. Большой интерес вызвали у слушателей доклады проф. Н. И. Кравцова (Москва) «Из наблюдений над поэтической образностью в художественной литературе» и А. И. Ефимова «К вопросу о реформе русского правописания». Участниками конференции было высказано пожелание, нашедшее свое отражение в резолюции, — созвать Вторую конференцию по вопросам стилистики через два года в Днепропетровском госуниверситете.

Ю. Г. Скиба, К. Ф. Герман (Черновцы)

Научный совет по теории советского языкознания при Отделении литературы и языка АН СССР провел в течение 1962—1963 гг. ряд совещаний по координации теоретической работы с лингвистическими учреждениями гг. Алма-Ата, Баку, Ташкент, Фрунзе.

23—24 октября 1963 г. состоялась выездная сессия Совета в г. Тбилиси, организованная при участии Отделения общественных наук АН ГрузССР (академик-секретарь Г. В. Церетели) и филологического факультета Тбилисского университета (декан факультета проф. В. Н. Панчвидзе).

В первый день совещания председатель Научного совета член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский сделал вступительный доклад об очередных теоретических проблемах советского языкознания и о перспективах работы Научного совета. Докладчик остановился более подробно на задачах преодоления последствий культа личности в советском языкознании и на критической оценке наследия так называемого «нового учения о языке», уделив при этом специальное внимание вопросам социальной дифференциации языка («социальной диалектологии») и сравнительно-историческому методу в языкознании в его соотношении с проблемами типологии.

Заместитель председателя Совета проф. М. М. Гухман, касаясь вопросов методологии лингвистического исследования, доложила совещанию о сборнике по теории структурализма и проблемам структуральной лингвистики, подготовленном

к печати группой общего языкознания Института языкознания АН СССР. Ученый секретарь совета канд. филол. наук Г. А. Климов сообщил о работах по структурально-математической лингвистике, ведущихся в научных учреждениях АН СССР. Член совета проф. В. Н. Ярцева посвятила свое выступление проблемам сопоставительного изучения родственных языков, которые будут предметом рассмотрения на очередном совещании советских германистов в Москве. Информацию о работе на филологическом факультете Московского университета по теории языкознания сделали затем проф. Н. С. Чемоданов (зав. кафедрой германской филологии МГУ) и доц. Ю. С. Степанов (зав. кафедрой общего языкознания МГУ).

Второе заседание было посвящено теоретической работе языковедческих учреждений АН ГрузССР (Институт языкознания и Институт востоковедения) и филологического факультета Тбилисского университета. С сообщениями о работе этих учреждений и своей лично и с замечаниями по докладам предшествующего дня выступили акад. Г. С. Ахвледиани (зав. кафедрой общего языкознания Тбилисского университета), акад. А. Г. Шанидзе, проф. Т. С. Шарадзенидзе (зав. отделом общего языкознания Института языкознания АН ГрузССР), д-р филол. наук Т. В. Гамкрелидзе (зав. отделом древних восточных языков Института востоковедения АН ГрузССР) и проф. В. Н. Панчвидзе (декан филологического факультета). Зачитано было также письмо по этим вопросам акад. А. С. Чикобава, находившегося в отпуске.

С заключительным словом выступили проф. М. М. Гухман и председатель совета В. М. Жирмунский.

Совещание показало широту тематики и высокий уровень лингвистической работы в ГрузССР и позволило, на основе критического обмена информацией, установить непосредственный контакт Научного совета с лингвистами Тбилиси в целях их активного участия в научных мероприятиях по теории языкознания, руководимых Отделением литературы и языка АН СССР и Научным советом.

В работе Топонимической комиссии Московского филиала Географического общества за 1962—1963 гг. наиболее значительными для Топонимической комиссии были два совещания — «Принципы топонимики» и «Топонимика в вузах СССР»[1], а особенно проведение в 1963 г. I Всесоюзного топонимического семинара[2], в работе которого приняли участие многие молодые топонимисты.

В 1962 г. изданы сборники статей «Географические названия» и «Топонимика Востока», подготовленные Топонимической комиссией. В 1964 г. выходят труды совещания «Принципы топонимики», сборник статей «Исследования по топонимике Востока» и библиографический указатель «Топонимический минимум».

Новой интересной работой Комиссии было создание рабочей группы по машинному анализу топонимии и транскрипции. Руководили работой В. А. Никонов, В. И. Данилов-Даниелян и С. П. Малинин. И. И. Убин разработал алгоритм и программу машинного анализа гидронимии Новой Гвинеи. А. Г. Чернышев подготовил машинное транскрибирование с испанского языка.

Ряд новых гипотез выдвинули в докладах А. П. Дульзон (Томск) «Древнейшие индоевропейские гидронимы юга Сибири», Э. М. Мурзаев (Москва) «Центральноазиатские топонимические миниатюры», М. М. Маковский (Москва) «Вопросы древнеанглийской топонимии», Ю. А. Карпенко (Черновцы) «Становление восточнославянской топонимии», А. К. Матвеев (Свердловск) «Субстратная гидронимия русского Севера».

Интересным методологически был доклад В. А. Никонова «Язык неизвестен», на материале топонимии Африки методом фоностатистического анализа воссоздающий фонетические системы языков. В оживленной дискуссии высказались Г. Ф. Дебец (Москва), Г. С. Кнабе (Москва), А. Б. Долгопольский (Москва), В. Б. Андрианов (Москва) и др.

Многие заседания Комиссии проводятся совместно с различными научными институтами. Это позволяет привлечь к обсуждению докладов большое количество специалистов. Несколько заседаний было проведено совместно с Институтом народов Азии АН СССР. Обсуждены доклады В. И. Савиной (Москва) «Некоторые особенности словообразования иранских топонимов» и Г. И. Донидзе (Москва) «Специфическая форма тюркской топонимии». В обсуждении докладов приняли участие Л. С. Пейсиков (Москва), Н. А. Баскаков (Москва), Т. М. Гарипов (Уфа) и др.

Насколько важны и нужны для топонимиста географические карты (особенно крупномасштабные), показано в докладе Е. М. Поспелова (Москва) «Материалы к топонимической карте Севера Европейской части СССР». М. В. Витов (Москва) отметил, что топонимии-

---

[1] Отчет о совещаниях см.: ВЯ, 1962, 6 и ИАН ОЛЯ, 1963, 1.

[2] Подробный отчет о семинаре см.: ВЯ, 1963, 6.

ческий ареал названий на *-ус* совпадает с этнографическим и антропологическим ареалами.

Ю. А. Карпенко прочел доклад «О региональном топонимическом исследовании». Большое внимание докладчик уделил сбору топонимического материала. Выступавшие в прениях П. Н. Черменский (Лебедянь), Г. З. Шакирбай (Сухуми), В. П. Тимофеев (Шадринск), А. К. Матвеев, А. В. Никитин (Новгород), А. А. Абдрахманов (Алма-Ата), О. Купчинский (Львов) рассказывали о своих региональных исследованиях. По мнению В. А. Никонова, топонимисту пагубно начинать с регионального обзора топонимии. Э. М. Мурзаев отметил, что территории с различной плотностью населения имеют различные топонимические системы.

М. Н. Морозова (Москва) провела сопоставительный анализ словообразования Калужской и Тамбовской областей. И. А. Воробьева (Томск) изложила свои наблюдения над диалектной русской топонимией Сибири. Г. Е. Корнилов (Чебоксары) очертил тюркский ареал *ворон*, вопреки ошибочному связыванию названий *Ворона*, *Воронеж* с русскими основами «ворон, ворона». По топонимии Севера ценные материалы доложили Э. И. Косова и Р. П. Лесникова (Свердловск).

Очень живо прошло выездное заседание Комиссии в Рязани, посвященное топонимии Поочья. По докладам В. А. Никонова, П. Н. Черменского, Г. П. Бондарук высказались В. М. Никитин (Рязань), О. Н. Трубачев (Москва), В. Г. Руделев (Оренбург), И. Д. Воронин (Саранск), М. Н. Морозова и др.

По истории русской топонимической науки прочтены доклады об А. Х. Востокове (В. А. Никонов) и В. П. Семенове-Тянь-Шанском (Е. М. Поспелов).

Г. П. Бондарук (Москва)

25—26 декабря 1963 г. в Институте языкознания АН СССР состоялась научная конференция аспирантов, на которой были обсуждены вопросы фонологического, грамматического и лексико-семантического анализа на материале языков разных систем.

В своем вступительном слове зам. директора Института Ю. Д. Дешериев отметил актуальность данной конференции.

Вопросам фонологии были посвящены доклады В. А. Виноградова и Г. П. Мельникова. В докладе В. А. Виноградова «Представления моделей фонологических систем и просодические микроструктуры» была описана просодическая модель порождения слова. Основной тезис доклада выражается следующим образом: модель фонологического порождения слова (микроструктура) оказывается идентичной модели порождения фразы (макроструктуры). Это позволяет говорить о более глубоком смысле лингвистического изоморфизма, именно о динамическом изоморфизме, обнаруживаемом из сравнения порождающих моделей слова и фразы.

В докладе Г. П. Мельникова «Классификация гласных, способы их описания и причины перебоя татарско-башкирских гласных» показана возможность отражать в геометрических моделях гласных не только фонологические противопоставления, как в получивших распространение кубических моделях, но и степень артикуляционно-акустической противопоставленности. Эти уточненные модели (напоминающие перевернутую усеченную пирамиду) позволяют, в частности, показать, какие процессы в системе татарско-башкирского вокализма могли привести к перебою гласных: артикуляционная зависимость степени подъема гласных от их длительности делает возможным превращение признака длительности в фонологический при дефонологизации признака подъема.

Вопросам лексико-семантического анализа были посвящены доклады С. Е. Никитиной, Э. А. Натансона, Э. Р. Гаджиевой, М. С. Мусаева, Л. П. Новиковой, Ф. Р. Байрамова, А. И. Курбанова. С. Е. Никитина в докладе «Об одной разновидности эллипса» предложила считать выражение эллиптичным, если в него можно ввести дополнительные слова, не меняющие и не дублирующие смысловую информацию, извлекаемую из этого выражения. При таком подходе удается, например, выявить семантику русских предлогов и наметить пути составления алгоритма машинного перевода эллиптичных конструкций. В докладе Э. А. Натансона «Технические термины профессионально-просторечного словообразования и их классификация» была предложена классификация технических терминов профессионально-просторечного словообразования по четырем основным признакам: морфологическим, семантическим, этимологическим, по причинности генерации.

В докладе «Общедагестанский лексический фонд в рутульском языке» Э. Р. Гаджиевой говорилось об исконно общем лексическом фонде генетически родственных дагестанских языков, выявленном в рутульском языке. Автором установлены главнейшие звуковые соответствия между рутульским и другими дагестанскими языками. В докладе «Заимствованная лексика даргинского языка» М. С. Мусаев прослеживает источники и характер заимствований в даргинском языке. Л. П. Новикова

в докладе «Функциональные эквиваленты предлогов в современном французском языке» поставила вопрос о классификации аналитических конструкций, имеющих грамматическое значение предлога, по степени их предложной эквивалентности. Автор предлагает выделять: 1) потенциальные и 2) реальные предложные эквиваленты, соотносительные с предлогом на уровне значения.

Доклад Ф. Р. Байрамова был посвящен вопросам глаголообразования в языке одного из произведений азербайджанского эпоса — «Книга моего деда Коркуда». В докладе А. И. Курбанова «Выражение пространственных отношений в цахурском языке» было показано, что в цахурском языке — одном из малоизученных бесписьменных языков Дагестана — основным средством выражения пространственных отношений является система трех серий локальных падежей, по четыре падежа в каждой. Кроме того, в языке имеется ряд послелогов и служебных имен для выражения более конкретных отношений.

Ряд докладов был посвящен различным вопросам грамматики. В докладе В. Н. Телия «О термине „фразема"» делается попытка определить некоторые понятия теоретической фразеологии. Автор исходит из предположения, что законом формы фразем является не модель (когда в языке заданы лишь отношения между элементами, выбор которых происходит в речи), а формула (где заданы и отношения, и элементы). В докладе автор дает свое определение фраземы. В докладе Н. А. Матвеевой описаны два оператора обработки словосочетаний с «сильным управлением» в английском языке для автоматического синтаксического анализа текста. Г. И. Андреева в докладе «Способы относительного подчинения в скандинавских языках» раскрыла основные этапы развития относительных придаточных предложений в скандинавских языках. Были представлены схемы всех возможных относительных конструкций и отмечена общая для скандинавских языков закономерность: относительные слова постепенно из сигнала о наличии относительной связи превращаются в средство выражения субъективных отношений между этим словом и глаголом придаточного предложения.

В докладе А. Н. Сильникова были изложены современные точки зрения по вопросу о видах перевода (Р. Якобсон, С. Рабин) и отстаивалась идея о возможности рассматривать перевод в качестве самостоятельной научной дисциплины. Е. К. Молчанова в докладе «К характеристике формы претерита в среднеперсидском языке (книжном пехлеви)» рассматривает происхождение и развитие среднеперсидской конструкции с причастием от переходного глагола и приходит к выводу, что данная конструкция происходит из древнеперсидского причастного оборота с пассивным значением. Пассивность среднеперсидской конструкции разрушается, о чем свидетельствуют факты контаминации с номинативной конструкцией. Сообщение В. И. Постоваловой было посвящено вопросам сочетаемости дифференциальных элементов фонем в русском языке.

Выступая по поводу докладов В. А. Виноградова и Г. П. Мельникова, Е. Л. Гинзбург заметил, что в первом из них представлено конструктивное направление, и идея глубокого изоморфизма языковых уровней очень плодотворна, а на материале второго можно видеть, что распространенный тезис о линейности речи верен лишь в грубом приближении. А. А. Леонтьев, возражая В. А. Виноградову, утверждал, что изоморфизм языковых уровней пока что доказан на моделях, а не на фактах живых языков.

Э. А. Макаев согласился с тем, что было бы очень заманчиво положить в основу модели языка просодические признаки, как это делает В. А. Виноградов, однако для достижения заметного успеха на этом пути может потребоваться еще очень большая работа. Что же касается доклада Г. П. Мельникова, то тут настораживает то, что антропофоническим факторам придается чуть ли не решающее значение при анализе развития фонологических систем. Ю. Д. Дешериев отметил, что из звуковых соответствий, приводимых в докладе Э. Р. Гаджиевой, следует, что по некоторым фонетическим особенностям рутульский язык сближается с такими языками, как, например, хиналугский. Материал, представленный М. С. Мусаевым, интересен тем, что приводимые примеры переосмысления слов, заимствованных даргинским языком, демонстрируют много общего с аналогичными процессами в других дагестанских языках. Подводя итоги конференции, Ю. Д. Дешериев высказал пожелание, чтобы проведение подобных научных конференций аспирантов стало традицией Института.

З. П. Костикова, Г. П. Мельников, В. И. Постовалова (Москва)

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Бюллетень научной информации. Общественные науки. 1, 2, 3, 1963.

Вопросы русского языкознания. Сб. статей, «Ученые записки», XXX. Вып. кафедры русск. яз.— Рязань, 1962. 271 стр.

Материалы по татарской диалектологии. 2.— Казань, 1962. 316 стр.

Latviešu valodas jautājumi.— Rīgā, 1963. 340 стр.

Р. Рустамов. Структурные типы глагола в диалектах и говорах азербайджанского языка.—Баку, 1963. 108 стр. (на азерб. яз.).

И. С. Тышлер. Словарь омонимов современного английского языка.— Саратов, 1963. 232 стр.

Bibliographie der Namenforschung in der DDR.— Leipzig, 1963. 116 стр. (ротапринт).

Dutch contributions to the Fifth international congress of slavicists Sofia, 1963.— The Hague, 1963. 164 стр.

EOS. Commentarii Societatis philologae polonorum. LII, 2 — Wratislaviae — Varsaviae — Cracoviae, 1962. Стр. 221—456.

Glurmime albanologjike. E përkohshme shkencore e Katedrës albanologjike të Fakultetit filozofik të Prishtinës. 1.— Prishtinë, 1962. 296 стр.

Известия на Народната библиотека и библиотеката на Софийския държавен университет. III (IX). Посветен на Петия международен славистичен конгрес.— София, 1963. 460 стр.

Język polski. XLIII, 3, 1963. 113 стр.

Revista de psihologie. IX, 3, 1963. стр. 333—471.

Slovo a slovesnost. XXIV, 4.— Praha, 1963. Стр. 221—288.

Studii clasice, V, 1963. 474 стр.

F. Cocron. La langue russe dans la seconde moitié du XVII siècle (Morphologie).— Paris, 1962. 278 стр.

R. Fischer. August Schleicher zur Erinnerung. Mit einem Diskussionsbeitrag von Joachim Müller und einer Bibliographie von Joachim Dietze. 1.—Berlin, 1962. 52 стр.

R. Fischer, E. Eichler, H. Naumann, H. Walther. Namen deutscher Städte.— Berlin, 1963. 138 стр.

I. Fónagy. Die Metaphern in der Phonetik. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des wissenschaftlichen Denkens.— The Hague, 1963. 132 стр.

P. Garde. L'emploi du conditionnel et de la particule *by* en russe. («Publications des annales de la faculté des lettres Aix-en-Provence», nouvelle série, № 36.)— Aix-en-Provence, 1963. 364 стр.

H. Gipper, H. Schwarz. Bibliographisches Handbuch sur Sprachinhaltsforschung. Schrifttum zur Sprachinhaltsforschung in alphabetischer Folge nach Verfassern mit Besprechungen und Inhaltshinweisen. Lief. 4 (Droste — Fourquet); Lief. 5. (Fowkes — Gipper).— Köln — Opladen [б. г.]. Стр. 385—640.

Z. S. Harris. Discourse analysis reprints.— The Hague, 1963. 73 стр.

K.-L. Harth. Deutsche Sprechübungen mit Ausspracheregeln.— Weimar, 1963. 173 стр.

Dr. F. Hinze. Die deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen).— Berlin, 1963. 18 стр.

R. Kienast. Das Hartmann-Liederbuch C².— Berlin, 1963. 86 стр.

M. Lehnert. Schreibung und Aussprache im Englischen.— Berlin, 1963. 43 стр.

M. Romportl. Zvukový rozbor ruštiny (K akustické klasifikaci ruských hlásek).— Praha («Acta Universitatis Carolinae». Philologica monographia III. 1962).

W. P. Schmid. Studien zum baltischen und indogermanischen Verbum.— Wiesbaden, 1963. 123 стр.

H. Schulte-Herbrüggen. El lenguaje y la vision del mundo.— Santiago (Universidad de Chile), 1963. 170 стр.

H. Schönfeld. Slawische Wörter in den deutschen Mundarten östlich der unteren Saale.— Berlin, 1963. 75 стр.

A. Tietze. Turkish literary reader.— Bloomington — The Hague, 1963. 275 стр.

V. Vildomec. Multilingualism.— Leyden, 1963. 262 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

В. В. Виноградов (Москва). Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Б. А. Серебренников (Москва). О взаимосвязи языковых явлений и их исторических изменений. 19
Ю. Д. Апресян (Москва). О сильном и слабом управлении. 32
Р. Мразек (Брно). Синтаксическая дистрибуция глаголов и их классы. . . 50
В. И. Григорьев (Москва). Статистическое распознавание и дифференциальные признаки фонем. 63
П. Я. Скорик (Ленинград). К вопросу об аналитических конструкциях . . 70
Об общеславянском лингвистическом атласе. 78

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Й. Хамм (Вена). Сербская и хорватская редакции общеславянского литературного языка 84
Ю. Я. Глазов (Москва). Морфофонемика и синтактофонемика классического тамильского языка (на материале «Тируккурала», IV—V вв. н. э.). 88

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Г. А. Лесскис (Москва). О зависимости между размером предложения и его структурой в разных видах текста. 99

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

В. В. Шеворошкин (Москва). Новые исследования по хеттологии. . . 124

Рецензии

Б. В. Горнунг (Москва). *Ф. П. Филин.* Образование языка восточных славян. 133
Л. М. Васильев (Уфа). *J. Filipec.* Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie. 138
В. Г. Адмони (Ленинград). *H. Brinkmann.* Die deutsche Sprache. 142
И. И. Ревзин (Москва). «Studia Grammatica», I, II. 145
М. Ш. Рагимов, В. И. Асланов (Баку). *Э. В. Севортян.* Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. Опыт сравнительного исследования. 150

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

С. И. Сятковский (Москва). Основные проблемы синтаксиса на V международном съезде славистов. 154
Хроникальные заметки. 162
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию. 166

Т-06479 Подписано к печати 6/V—1964 г. Тираж 5675 экз. Зак. 348
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Печ. л. 14,7 Бум. л. 5¼ Уч.-изд. листов 16,3

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

CONTENTS

Articles: V. V. Vinogradov (Moscow). Problems of correct usage in speech and some tasks of Russian linguistics; **Discussions:** B. A. Serebrennikov (Moscow). On the interrelation of language phenomena and their historical changes; Y. D. Apresjan (Moscow). On the strong and weak rection; R. Mrazek (Brno). Syntactic distribution of verbs and their classes; V. I. Grigoriev (Moscow). Statistic study and distinctive features of phonemes; P. Y. Skorik (Leningrad). On the problem of analytical constructions; On the Slavonic linguistic atlas; **Materials and notes:** J. Hamm (Vienna). The Serbian and Croatian version of the Slavonic literary language; Y. Y. Glazov (Moscow). Morphophonemics and syntactophonemics of the classic Tamil (based on the study of «Tirukkural», IV—V centuries A. D.); **Applied and mathematical linguistics:** G. A. Lesskies (Moscow). On the relation between sentence length and its structure in different types of texts; **Critics and bibliography; Scientific life:** S. I. Siatkowskij (Moscow). Principal syntactic problems at the V International Congress of slavists.

SOMMAIRE

Articles: V. V. Vinogradov (Moscou). Problèmes du language correct et quelques tâches de *linguistique russe*; **Discussions:** B. A. Serebrennikov (Moscou). Sur l'interrelation des phénomènes linguistiques et leurs changements historiques; Y. D. Apresjan (Moscou). Sur la rection forte et faible; R. Mrazek (Brno). Distribution syntactique des verbes et leurs classes; V. I. Grigoriev (Moscou). L'étude statistique des phonèmes et leurs raits distinctifs; P. Y. Skorik (Léningrad). Sur le problème de constructions analytiques; Sur l'atlas linguistique slave; **Matériaux et notices:** J. Hamm (Vienne). La version serbe et croate de la langue littéraire slave; Y. Y. Glazov (Moscou). Morphophonémique et syntactophonémique du tamil classique (basé sur l'étude de «Tirukkural», IV—V siècles de notre ère); **Linguistique appliquée et mathématique:** G. A. Lesskies (Moscou). Sur la relation entre la longueur de la phrase et sa structure dans les différentes types des textes; **Critique et bibliographie; Vie scientifique:** S. I. Siatkowskij (Moscou). Principaux problèmes syntactiques au V Congrès International des slavistes.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *А. И. Ефимов, Н. И. Конрад* (зам. главного редактора), *М. В. Панов, Г. Д. Санжеев, В. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. С. Чикобава*

Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55